

ISSN 2221-9331



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
ХАРЬКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Основан в январе 2010 г. Выходит 6 раз в год

**Том 6-7
2011**

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. – председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. – сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. – секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель – А.Г. Романовский

Главный редактор – Л.И. Мачулин

Отдел прозы – И.Н. Глебова

Отдел поэзии – В.Р. Воргуль

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.

Переписка с читателями по усмотрению редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru

тел./факс +38 (057) 700-40-25

Александр ГОЛУБЕВ

КОГДА МОЛЧИТ НАД МИРОМ СЛОВО...

ДУМА О КУЛИКОВОМ ПОЛЕ

Горели избы и метались кони,
редел колчан в забавах азиата.
И холодел Спаситель на иконе
в зеркальном отражении булата.

О, Русь! Кто отведет погибель
от стен твоих, обугленных пожаром?
Доколь тебе позориться на дыбе
и горе буйным застилать угаром?

Твой щит умельцами еще не кован,
но в сумраке порочной
княжьей смуты
уже восходит солнце Куликова
и кони гордо сбрасывают путы.

«За землю рус-скую! За землю!» —
раздался глас, гудит набатом эхо.
Осенний луч, люд-скому зову внемя,
блистая, пробежался по доспехам.

И рать пошла, пошла лавиной черной,
в бессмертном захлебнувшись крике.
На темь степную хищно и проворно,
сверкая гневом, опустились пики.

Топор, круша, ударил по кольчугам,
по шлемам золоченым басурманов.
И, кажется, не поле — вся округа
одной багряной озарилась раной.

А ближе к ночи в темном междуречье,
среди костров,
ронявших наземь тени,
поднялись павшие в той жуткой сече
и стали после смерти на колени.

Над ними голос рокотом молитвы
поплыл бесшумно в высь за облаками.
Не с тех ли пор плакучие ракиты
зеленой скорбью мне тревожат память?

Я снова там, с дружиной
храброй вместе,
восторженно восход Руси встречаю.
О доблести ее пою я нынче песни
и в лад напеву головой качаю...

ВОЛОГОДСКАЯ ОСЕНЬ

Опустели заречные чащи,
и к воде на холодный рассвет
эхо утра походкой шуршащей
по траве устремило свой след,
чтоб лучом обогреть одиноких,
кто надежд золотых не копил,
и шутивому «сбоку-припеку»
верен был, как собака цепи.
Не с того ли, ругая напасти,
бьюсь об истину жалким птенцом:
нет, не клеятся радость и счастье
с неприкаянным словом — «Рубцов».
Он ходил по земле, как загадка,
как на истину божью намек.
Неприятно, почти что украдкой,
у судьбы и у смерти в залог.
Жизнь ему ощерялась зубасто,
не боясь, что он тоже зубаст,
и, как старец, шептала бесстрастно:
«Бог подаст, бог подаст».

Только бог не всегда был надежен,
а порою невысказанно глух.
И лишь гуси с небес непогожих
в утешенье роняли свой пух.
Пахла осень настоем калины,
и в низине, у кромки песка,
выгнув к небу уставшую спину,
загорала без солнца река.
Да вдали над покатым угором,
где, нахлясь, темнели дома,
лаял пес на колхозного вора,
что продал за бутылку корма.

В СТАРОМ ВОРОНЕЖЕ

Пучеглазый мужик на площади
бил жену кулаками всласть.
Пахло дегтем, храпели лошади,
тычась мордами в коновязь.

От хмельного слегка икая,
он угрюмо кипел лицом:
«Люди добрые, тварь такая...
Нонче утром пристиг с купцом».

А она — в золотинках пота,
озирала толпу в упор,
и искала вокруг кого-то,
кто бы этот унял позор.

И когда паренек в поддевке,
что принес на продажу птиц,
вдруг наотмашь заехал ловко
мужу грозному меж ресниц —

поднялась она и без слова,
мимо лошади без седла —
непокорную сраму голову
к тихой улочке понесла.

Шла побитая и босая
мимо дворников и господ,
шла, как пьяная, спотыкаясь,
и смотрел на нее народ.
А у парня в железной клетке,
грустно крылья поджав свои,
на сухой, подневольной ветке
кенарь пел о большой любви.

* * *

Мы в детстве редко улыбались.
Мы в детстве без отцов остались...

К нам не пришли совсем. А Генкин
явился в робе, клеши — волны.
И — бух счастливцу без примерки
штаны с застежкой на «молнии».

Мы табуном за Генкой шлялись,
а он, сияющий и модный,
чтоб нас, друзей, не отпугнуть,
давал, таясь, поочередно
штаны замкнуть и разомкнуть.

Беда всегда приходит разом,
как гром с небесной вышины:
порвал пацан на старом вязе
те иностранные штаны.

И чья жестокость в том повинна,
теперь отчетов не дают.
О, как же бил сигнальщик сына,
так никогда детей не бьют!

Пылал отец в жестокой порке,
к земле парнишку люто гнул.
И ахал Генка горько-горько,
обняв руками венский стул.

А в этот час смеялись вишни,
плескались воробьи в золе.
И возле хат почти не слышно
бродило детство по земле.

КАШАРЫ

Анатолию Гриценко

По левадам
цветут подсолнушки.
В речке узенькой
синь-вода.
Как живешь ты
под русским солнышком —
украинская слобода?
Петухи здесь
у самых сенцев
носят зори
на гребешках,
кукарекают
с полотенец
и дерутся
на рушниках.
Пахнет степью
в белых хатах,
где душицей
усыпан пол.
Мне бы девушку
тут сосватать,
может, счастье б
я здесь нашел.
Что ж, я с виду
еще не старый.
Но зачем мне
считать года...
Если есть на земле
Кашары,
удивительная слобода.

КОПАЮТ КАРТОШКУ

Заходится мальчик плачем.
Над поймой ленивый дождь.
Он сеется на удачу,
откуда — не разберешь.
Дымок от ботвы сгоревшей
устало струится ввысь.
Так вот где из тьмы кромешной
однажды мы родились!

Плывут над землей столетья.
Суров их холодный лик.
И вряд ли с небес заметят,
услышат наш жалкий крик.

Так было и вечно будет:
один на земле итог,
копают картошку люди
и сыплют ее в мешок.

А мальчик исходит плачем.
В вечерней лиловой мгле
ручонкой,
от слез незрячей,
все ищет тепло в золе.

* * *

Хочу простора и тепла —
подайте лошадь.
Пускай ворвутся удила
на луг, что скошен.
Хочу простора и надежд,
устал до жути
среди подонков и невежд,
что воду мутят.
Я им в ответ не говорю,
лишь брови хмурю.

Хоть некурящий, но курю,
то есть халтурую.
О, как пороки нам унять?
О, где то средство?
И я отчаянно опять
впадаю в детство.
Где есть смущение и такт,
и вера в слово.
Вези меня, мой конь, на тракт,
на тракт почтовый.
Пусть надо мной кружат стрижи
в веселье диком.
Скорей от подлости и лжи
под песни с гиком.
Скорее к солнцу, в чистоту,
на луг, что скошен.
Чтоб за верстой догнать версту —
подайте лошадь.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Я вожак из неведомой стаи.
На поляне, под купами верб,
в полуночном снегу умираю
и смотрю на оплавленный серп.

А вокруг ни единого звука.
На морозе блестят тополя.
Лишь волчица, как старая сука,
бродит рядом, надрывно скуля.

Эх, волчица, товарка-волчица,
не скули на исходе конца.
Лучше в чашу сходи облегчиться
или жди молодого самца.

Я в сугробе лесном умираю,
душит глотку свирепая злость:
ведь никто из покинутой стаи
не швырнет мне спасения кость.

Я один в этой жути унылой,
жмет мороз, до костей леденя.
Жизнь прошла, завершаются силы,
я прошу вас: «Убейте меня».

* * *

Вода ушла в речной предел,
деревьев обнажились ноги.
Я поднял взор и обомлел,
увидев чудо у дороги.
В низине яблоня цвела
метельно-розовым отливом.
Она цвела, она ждала
свой миг единственно счастливый.
Завороженные скворцы
над нею пролетели мимо.
Летите, милые гонцы,
скажите миру: я — любима.
Под бело-розовым дичком
я онемел от удивленья,
и подступает к горлу ком
при виде этого цветенья.
Прекрасно! Жизнь еще жива —
совсем не зря в апрельской рани
роняет белые слова
лесное чудо на поляне.
Клубятся вешние лучи
на глади утреннего дыма...
Раздольно над землей звучит:
«Скажите миру — я любима».

* * *

Тишь восходная нерушимая.
Сладок сон заревой земли.
В белых ветках густой крушины
еле слышно жужжат шмели.
Милый край, луговые дали!

Чуть торжественно, на весу
держит клевер на шапках алых
бирюзовых огней росу.
Хорошо бы сейчас косою,
чтоб в размахе загривок взмок.
И к обеду ногой босою
осторожно спуститься в лог.
Там внизу, под столетним вязом,
у корней, что лежат впритык,
неторопко ведет рассказы
вековой чистоты родник.
Может, в этом людское счастье?
Помозгуй, мужик, разберись.
Под тобой мирозданье настужь
и земная открыта высь.
Цвет крушины висит над логом,
небеса из конца в конец.
В этот миг ты посланец Бога,
если сам на земле творец.

* * *

Поют в Задонье кочета.
Над яром вербы
низко-низко.
Река, как вещая черта,
где все вокруг
до боли близко.
И этот луг,
и рыбный плес,
табун колхозный
на раздолье,
и песня, нежная до слез,
над скошенным недавно полем.
В ней что-то
от больших утрат,
любви единственной,
быть может...
Бесшумно истины итожит
над тихим Доном листопад.

* * *

Тишина. Снегов узоры.
Дачи, словно терема.
С веток легких, белокорых
сыплет жемчугом зима.
Сыплет «русского» трехрядка
у крыльца высокого.
Хорошо на сердце, сладко,
как в стихах у Бокова.

* * *

Ты зачем спешишь, дорога,
в дальний край?
Логом, пыльным и пологим,
через молочай?
Я спешу судьбе навстречу
экий год.
К вишне
в платье подвенечном,
там, где поворот.
Где у речки
с темным руслом,
возле хат,
пал в бою
солдат безусый
много лет назад.
Лесом, полем и поляной
все бегу.
Может быть,
живым застану,
может, помогу.

* * *

Полыхает калина в леваде,
и над степью алеет заря.
Вот и снова пора листопада
улетает птенцом сентября.

Мимо хаты и сада в низине,
где, смирившись от давних невзгод,
пожилая казачка в корзину
кисти спелой калины кладет.
Ей сегодня припомнилась радость
и теплом заиграла в глазах.
К ней когда-то тропинкой вдоль сада
приходил на свиданье казак.
Приходил из вечернего мрака...
Только было ему суждено
возле Ельни в жестокой атаке
выпить смертной разлуки вино.
И теперь над низиною голой,
улыбаясь разливу зари,
как заветной фуражки околыш,
у забора калина горит.
Польхай же, багряная сила!
Грей пожаром озябшую кровь!
Ни слеза, ни дожди над могилой
не потушат седую любовь.

* * *

И скажет вслух земное слово:
«Во тьме ночи, в сияньи дня —
вам, люди, не дано иного,
как только слушаться меня.

Я ваша память и основа.
И вы поймите это впрок,
когда молчит над миром слово,
тогда свирепствует порок.

В бореньях гнева не смущайтесь,
пусть не грозит вам кровью век.
Почаще слову покоряйтесь,
ведь слово — божий человек».

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА

С чего это всё началось? С Владлены. Вы не знали Владлены? Жаль, ах как жаль! Вот нет её – и мы все осиротели. А я, наверное, горше всех..

Не знаю, сколько ей было лет, когда мы с ней познакомились. Категория возраста к ней просто неприменима.

У неё было ясное лицо девочки-подростка, прелестное пионерское лицо, летучие пионерские, легко кудрявящиеся, волосы («Жора сам меня стрижет!»), звонкий, светлый голос, и роста она была пионерского – и вообще вся какая-то первомайская. Мне она напоминала жаворонка: такая же маленькая, такая же трепетная и тоже вся – как подарок тебе!

Вот попробуйте – представьте себе жаворонка, хоть на минутку! Как он журчит в весеннем небе – маленький, отважный, праздничный – и весь струится, трепещет короткими, словно детскими, крылышками. Он может быть голоден, может быть, ему холодно там, в небе; может даже, он вот-вот, окоченев, упадёт камушком на землю – мне случалось в дни весенних заморозков подбирать их, замёрзших. Одних удавалось отогреть, других доводилось хоронить в саду – но пока жаворонок жив, он дарит тебе радость...

Вот такой была Владлена. Теперь вы знаете, какой она была.

Мне кажется, она меня тоже любила. То есть меня, может быть, и нет – она любила мои рассказы.

Нет, вы не думайте – она их строго любила. У неё было удивительное чувство слова, звука, интонации, и если она, просматривая текст, походя поставит на полях беглую «галочку», – можешь быть уверена: в этой строчке обязательно сидит какая-то блоха, и ты её непременно найдёшь.

Надо сказать, мы не всегда сходились в оценке. Это естественно: ведь рассказы твои и стихи – это же твои дети, и, как дети, они рождаются разными и – увы! – совсем не обязательно все умники и писанные красавцы. Но и тот, который не очень удался – он же не виноват, что таким уродился! Бывает, Оно запросилось на выход, написалось – ну, вот такое вышло! Есть такое слово украинское – «недолуге». Очень точное слово, я такого русского не знаю. Ты и раздражаешься порой, и стыдишься его немного – неловко тебе! – но ведь всё равно оно твое, родное, хоть и неудалое – вот и жалеешь его.

Бывало, спрашивают тебя, что ты написала за последнее время – покажи! И ты его украдкой в сторонку – «недолуге» же! А Владлена – цап! «А это что?» Ты мямлишь: да так, мол... «Нет-нет, давайте сюда – оно мне как раз ложится в передачу!»

Ты отдаёшь с неохотой и сомнением. Владлена делает передачу – да, я ведь и забыла сказать, что была она главным редактором отдела художественного вещания областного радио. Ну вот, делает она передачу – и так как-то подает твоего бедного детёныша, что тебе буквально обрывают телефон взволнованные слушатели, и ты вдруг понимаешь, что нечаянно сказала в нём что-то драгоценное, чего и сама не заметила – а она сразу ухватила.

Зато бывало и так: приношу я Владлене очередное детище и с тайным чувством удовлетворения кладу перед ней на стол, как курочка-несушка, только что положившая тёплое, смуглое яичко, – а она быстро пробегает текст глазами и со скучным лицом, скучным голосом говорит: «Ну да, ну да, – это как-нибудь в другой раз...» Значит, в бойко написавшемся рассказике чего-то – может быть, одной единственной нотки, слова одного, мелочи какой-то – не хватает, но без нее он не живёт, И я забираю его с досадой, и потом, с досадой перечитывая в пятый или двадцать пятый раз, вдруг отчётливо вижу, чего Владлена от меня хочет.

Помните, как у Сурикова, когда он писал «Переход Суворова через Альпы» – там у него один немолодой солдат срывается в пропасть? Так вот, не хотел он падать – и всё тут! Сто раз художник его переписывал – не падает окаянный, хоть убей! Сидит на краю обрыва, как курица на нашесте. И тут Сурикову пришло в голову: вывернул ему локти – несуразно, неестественно – и полетел голубчик в пропасть как миленький!

Вот так – найдёшь эту мелочь, эту драгоценную нотку – и заиграет всё. А если бы не Владлена...

Так вот, полюбилась Владлене моя новелла об итальянцах – об армии *Alpini*, альпийских стрелков, которая в полном составе заявила, что выходит из войны, и, бросив фронт по Среднему Дону, пошла домой. Немцы жестоко наказали вчерашних союзников. Расстрелять целую армию, согласитесь, было как-то неудобно – союзники всё-таки! У них отобрали всё продовольствие, все транспортные средства – тупорылые «фиаты» и кротких ушастых мулов, отобрали оружие, и по всей оккупированной территории объявили: итальянцев на ночлег не пускать, еды им не давать – за нарушение приказа расстрел. В выборе меры наказания оккупационные власти, как известно, не затруднялись: либо повешение, либо расстрел – *tertium non datur!* Зимы стояли лютые – морозы до сорока градусов, вот и брели по Украине упрямые,

отчаянные южане в хлипких шинелишках на рыбьем меху, обмотанные бог весть какими тряпками – и люди, ходившие на менку, рассказывали, что повсюду вдоль дорог, как мухи в молоке, темнеют на снегу трупы в зеленых итальянских шинелях. Но наши горемычные бабы, рискуя жизнью, всё-таки порой пускали бедняг ночевать и делились с ними последним куском, потому что это были уже не враги, а просто чьи-то дети, чьи-то сыновья, голодные, обмороженные, погибающие ни за что в чужом краю.

Как-то так получилось, что вроде бы до меня никто еще об этом не писал – я, оказалось, первая – и осторожное начальство сказала Владлене, что для такой передачи надо запрашивать разрешения МИДа. А кто, скажите, станет беспокоить МИД ради получасовой передачи?

Ну, погорчались мы – и решили жить дальше. А что оставалось делать?

Прошло некоторое время, прошли некоторые передачи – и вдруг звонок! Владлена! «Немедленно несите! Сказали, можно. Сейчас можно – а вдруг опять будет нельзя?»

Я и завтракать не стала – так, глотнула чайку и побежала.

Прибежала, принесла, начитала (я всегда себя сама читаю, не люблю, чтобы другие) – полдела сделано! Теперь, говорит Владлена, надо такое предисловие сочинить, чтобы никто из наших не придрался: почему вдруг сейчас о войне? И почему об итальянцах? Тут, сами знаете, «не так паны, як паненята». У них главный принцип: лучше перебдеть, чем недобдеть – а то как бы чего не вышло! Короче, надо подумать о мотивации .

Ну что ж, будем думать!

Пошла домой. Иду и старательно думаю. Ничего в голову не приходит. Ну почему сейчас? Да потому что раньше не давали!

И тут идёт мне навстречу ветеран один знакомый – шустренький такой, ему за восемьдесят, а он как огурчик, и щечки розовые.

– Что это, – спрашивает, – Инночка, у вас вид такой озабоченный?

– Не озабоченный, – говорю, – а озадаченный. В обоих смыслах.

И объясняю ему, какая передо мной задача поставлена.

– Ну, тогда, – говорит, – считайте, что меня вам сам Бог послал.

И рассказал мне, что не так давно в город наш приезжало трое итальянцев – их в сорок третьем году спасла какая-то женщина – точь в точь как в моей новелле: полуживых пустила в хату переночевать, отогрела, накормила, и вот теперь – через сорок лишним лет! – они приехали сюда, чтобы отыскать ее, поблагодарить, подарки привезли – а им не разрешили её разыскивать, потому что жила она в посёлке Лиман, а это вроде бы то ли за пределами дозволенной иностранцам зоны, то ли объект там какой-то стратегический. Словом, как всегда, – как бы чего не вышло!

Интурист отфуболил их в общество культурных связей с заграницей. Кончилось тем, что они оставили свои подарки в этом обществе с просьбой передать по назначению – и уехали ни с чем. Короче, надо мне идти на улицу Скрипника, в Дом Учителя, где помещается это общество, и там, на тарелочке с голубой каёмочкой, ждёт меня мотивация для нашей передачи.

Я, конечно, галопом на Скрипника, а там, оказывается, их аж два: общество культурных связей с заграницей и общество борьбы за мир и дружбу народов, или еще что-то в этом роде – прямо близнецы-братья. И оба помещаются в одном зале, только в разных углах: один стол побольше и посolidней, другой – поменьше и поскромней. И там, и там начальствуют дамы. Мне повезло: той, что посolidнее, не было – на месте оказалась та, что поскромней. Она мне всё подробно рассказала. Оказывается, итальянцев было действительно трое, двое постарше, один помладше – в войну ему было восемнадцать. Так вот, тот, что помладше, уже пять писем прислал после отъезда: всё спрашивает, не нашли ли ту женщину. Никто её, конечно, не искал, а подарками распорядились сами – то есть та дама, что посolidнее. Подарков было два: большая шаль, изумительной красоты, и синяя бархатная шкатулка с серебряной розой. Шаль начальница куда-то пристроила, а серебряная роза осталась в обществе, как символ дружбы наших народов.

Одним словом, к тому времени, когда, наконец, явилась главная дама, я уже была во всеоружии, ибо недаром говорят: информирован – значит, вооружен.

Дама оказалась величественной пергидролевой блондинкой с пышной причёской а ля Бабетта, – правда, вышедшей из моды, но вполне соответствующей её комплекции и статусу, – и со столь же пышным именем Жанна. Я представилась ей как корреспондент областного радио и сказала, что нам стало известно всё сказанное выше, и я хотела бы узнать, что предпринято Обществом, чтобы найти упомянутую женщину и вручить ей упомянутые подарки. Дама набухла малиновым румянцем и строго-бдитительно спросила, откуда у меня такие сведения, на что я, авторитетно задрвав подбородок, ответила, что, согласно журналистской этике, не обязана оглашать источник информации.

Дама заёрзала на стуле, как кошка в засаде, но сдержалась и сказала, что, поскольку адресата найти не удалось, шаль вручили другой русской матери, у которой сын погиб на войне. Я поинтересовалась фамилией и местом проживания этой русской матери, и по градусу накала заподозрила, что по всей вероятности шаль осела в гардеробе самой начальницы – тем более, что фамилию ошастливленной она назвала после некоторого колебания.

А роза?

Розу мне показали: она была прелестна и трогательна, но больше самой розы меня потрясло приложенное к ней письмо. Оно было написано по-русски – или, вернее, писавший его думал, что пишет по-русски – и по всему периметру листа, по самому краю его, были нарисованы крохотные цветочки. От этого, честное слово, перехватывало горло! Вот оно, это письмо, – я переписала его очень старательно, со всеми его особенностями, и можете быть уверены – сохраню навсегда:

Письмо Луиджи Вигано из Милана Русской Маме

Спасибо тебе русская мама!

Мы не забыли твою доброту!

«Ты в нас увидела своих сыновей,
истощенных от голода, изнеможенных,
страдающих, нуждающихся в помощи»

Прими эту розу

в знак благодарности

от итальянского солдата.

1943 – 1985

ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКОЙ МАМЕ, КОТОРАЯ В ДАЛЁКОЙ ДЕРЕВНЕ ЛИМАН ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ, СТАЛА ДЛЯ НАС, ХОТЬ И НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, МАМОЙ

Были чужеземцами, врагами против нашей воли, и, все же, сколько доброты в твоих глазах, мама!!!

Твой сын, плоть твоего тела, солдат, как и мы, защищая страну от вражеского нашествия, пропал без вести. Уже много месяцев не было от него никаких известий. Может быть погиб от вражеской пули, и все же ты по отношению к нам, не смотря на то, что мы считались вражескими захватчиками, твое сердце, смогло преодолеть все барьеры, человеческое негодование, и увидела в нас несчастных сыновей другой матери, страдающей, как и Ты, по своему пропавшему сыну, чувствующей ту же самую боль.

Твои слезы слились с нашими, Ты обняла нас, как может обнимать только Мать своего собственного сына!

Накормила и приютила на ночь в той же комнате, рядом с твоими детьми, потому что в нас ты не видела чужеземных врагов, а видела сыновей, истощенных от голода, изнеможенных, страдающих, нуждающихся в помощи.

Ты маленькая Мать неизвестной далекой деревни Лиман, которую мы трое никогда не забудем, помогла нам со всей сердечной добротой и, надеюсь, судьба вознаградила тебя, дала тебе счастье вновь обнять Твоего живого и

здорового сына, о котором Ты пролила, в то далёкое время, не мало слез.

Не спросили твоего имени, Ты для нас была и останешься МАМОЙ.

Где бы Ты ни была, будь благословенна!!!

Пока я, вежливо испросив разрешения, переписывала это, дама, не скрывая раздражения, перекладывала какие-то бумаги, звонила куда-то по телефону, всячески демонстрируя занятость по меньшей мере государственной важности. Но дело надо было доводить до конца, поэтому я, поставив последний восклицательный знак и подавив волнение, снова приняла официальный вид и тон, и заявила, что хотела бы также ознакомиться с письмами, которые приходят из Милана.

– С письмами! – высокомерно фыркнула дама. – Так они по-итальянски!

– Ничего, – небрежно обронила я, – это не проблема.

Уязвлённая дама прикусила губу: такого нахальства она не ожидала. Честно говоря, я от себя – тоже, но что поделаешь: назвался груздем – полезай в кузов! Смелость, как говорится, города берёт!

Писем было пять – по числу прошедших месяцев. Опираясь на сохранившиеся в памяти крохи французского факультатива и скудную университетскую латынь, я всё-таки кое-как их одолела. Писал их всё тот же Луиджи Вигано – и ни на одно, по-видимому, не получил ответа.

– А что вы хотите, – рванулась в контратаку дама, – в Харьковской области пять посёлков под названием Лиман, К тому же мы не знаем ни имени, ни фамилии этой женщины. Как прикажете ее искать?

– Ну, положим, вернее всего, это Лиман Змиевского района, – так они шли, – бодро возразила я, – но это не так уж важно. Можно обратиться в районные газеты, объявить в нашей передаче по областному радио, рассказать эту историю...

– Только попробуйте, – взвилась дама, – только попробуйте – и это будет ваша последняя передача! Может, эта женщина не погибающих пожалела, а сознательно оказывала содействие врагу!

Ох, определенно шаль у нее пригрелась – иначе откуда такая страстная бдительность? Ну, ладно – я сдержанно попрощалась и ушла, оставив даму в растрёпанных чувствах. Теперь, в конце концов, можно было и позавтракать.

Предисловие к новелле (вступление к передаче) я написала в тот же день, но решила не дразнить гусей – написала вполне обтекаемо. Сами подумайте: разве я могла подставить под удар моего жаворонка? Уж больно агрессивно эта дама была настроена – «не чіпай лиха», как говорится! Но для себя я составила чёткий план действий: я найду её, эту женщину! Если нет её в живых, детей её найду! И всё очень просто: этот Вигано (кстати, у

него оказалось аж три имени – живут же люди!) – так вот, этот Луиджи Мария Виктор Вигано написал, что у хозяйки было четверо детей – двое сыновей и две дочери. Старший сын где-то на фронте – от него не было вестей с начала войны, а старшая дочь Дуся, двадцатилетняя красавица, перед войной была учительницей младших классов сельской школы. Мой план был прост, как дважды два: имя Евдокия не такое уж частое; надо обратиться в архивы рай- или облоно и искать учительницу младших классов по имени Евдокия, которой в то далёкое время было двадцать лет. И начинать с посёлка Лиман Змиевского района. Вот и всё.

Передача прошла с успехом и без осложнений. Грозная дама не подавала никаких признаков жизни, Владлена цвела как майская роза – и ей, и мне слушатели просто обрывали телефон. Последний звонок прозвучал вечером, с вокзала..

Звонила столичная журналистка. Имя ее было мне знакомо: она училась в нашей школе, несколькими классами старше меня, а после школы как-то быстро продвинулась куда-то наверх по комсомольской линии.

– Это твой рассказ передавали по радио?

Я подтвердила: мой.

– Целый день не могла к тебе пробиться. Успех! А ты ее разыскивать не собираешься, эту женщину?

Ну как это не собираюсь! Я чётко – и, честно говоря, не без тайной гордости – изложила свой план, на что она не менее чётко отреагировала:

– У меня через двадцать минут поезд. Ты без меня ничего не предпринимай. Я через неделю приеду, и мы ее найдём.

Признаться, меня несколько озадачили командные нотки в ее голосе – руководящий работник, понятное дело! – я хотела было сказать, что и сама справлюсь, всё продумано – но в трубке зазвучали гудки. Ну конечно: ей же на поезд!

Через неделю она приехала. План мой сработал: мы без особого труда нашли учительницу младших классов Евдокию Скубинь, а с ней и всю семью. Матери, к сожалению, уже не было в живых, но пропавшего было без вести сына она еще успела дожидаться и даже успела помянуть внука. Дуся по-прежнему работала в школе. Ни она, ни младшие брат и сестра не слышали нашей передачи, но без труда вспомнили тот далёкий зимний вечер, когда к ним в окно постучались трое – три обмороженных, оголодавших чужака в зелёных шинелях, и как мать, взглянув на младшего, всплеснула руками – ой, лышечко! – и заплакала, и кинулась в чулан за картошкой, а потом, глядя, как они стыдятся, торопливо и жадно ели, всё вздыхала и вытирала глаза краешком платка.

Дуся дала нам две фотографии – довоенную всей семьи и послевоенную, матери с внуком на руках – и мы послали их в Милан, благо я заблаговременно списала адрес, когда читала письма. Собственно, «мы послали» звучит не совсем точно – столичная журналистка сразу провозгласила словами Великого Комбинатора: «Командовать парадом буду я!» Ещё бы: как журналисту упустить такой сюжет! Я всё понимала и, честно говоря, испытывала некоторую ревность к ходу событий: ведь это с моей подачи, по моему плану они развивались, – но, в конце концов, какая разница, кто стоит во главе угла? Главное, что план оказался успешным – мы ее нашли! Письмо полетело в Милан, и вскоре пришёл взволнованный ответ: Луиджи, он же Виктор, он же Мария узнал на фотографиях Дусю и её мать, и непременно приедет! И не случайно – нет-нет, не случайно его спасительницу зовут так же, как его мать и как Матерь Божию – Мария! И сам он, как многие итальянцы, тоже носит это имя – это тоже не случайно! Он приедет, он должен приехать и возложить цветы на её могилу, и сказать ей все слова, которые столько лет носит в своей душе!

В большой столичной газете вышла большая волнительная статья под названием «Серебряная роза». Справедливости ради должна сказать, что в ней упоминались и я, и моя новелла, с которой всё начиналось, но, правда, только так – в качестве элементов композиции.

Прошло ещё некоторое время – и в моей квартире настоятельно зазвучал звонок междугородки. Это была Ирина, та самая журналистка: «Такого-то числа мы приезжаем. Будь готова.» Кто – мы? «Ну, как кто – я и Луиджи!». Двое других, старших, приехать уже не смогли

Ну вот – конечно, всё правильно! Разве я сумела бы так быстро добыть переводчика, вытребовать у городских властей две машины, чтобы повезти Луиджи в Лиман и организовать ему торжественную встречу в школе, где работала Дуся? И всё-таки немножко обидно, что мне было сказано: «А ты садись во вторую машину» – так, что до самого Лимана я не успела даже парой слов обменяться с гостем. Он ехал в первой машине с Ириной, переводчиком и каким-то не то районным, не то городским начальством. Во второй – я, завуч лиманской школы и кто-то ещё. По дороге завуч рассказала, что незадолго до нашего приезда Дуся скоропостижно умерла, и похоронены они с матерью на разных кладбищах. Вот почему за задним стеклом идущей впереди машины маячат два огромных букета желтых роз: прежде чем заехать в посёлок, Луиджи хотел поклониться обеим могилам.

На первом кладбище, где была похоронена Мария, к могиле мы подошли все вместе, нас провела завуч, но в первые же минуты мной овладело мучительное чувство неловкости: наше присутствие здесь, при встрече этих двоих, было не просто неуместно – оно было почти кощунственно. Я невольно

попятилась – вместе со мной без слов отошли и другие. Мы стояли в стороне и молча смотрели, как взволнованно и нежно немолодой, невысокий, седой человек гладил выцветшую фотографию на памятнике, как оправлял цветы на могиле и бормотал на голубином своём языке им одним понятные тихие слова. Наговорившись с Марией, он обратился к Богу. Он говорил с Ним так страстно и убедительно, прижимая руки к лацканам серого пиджака, что было ясно: Тот должен услышать его молитву!

Потихоньку, стараясь не хрустеть гравием, мы отошли к машинам, чтобы не мешать. Минут через пятнадцать Луиджи присоединился к нам. Размягчённое, помолодевшее от волнения лицо его горело пятнами румянца.

Еще одно кладбище, ещё одна могила. Ещё один букет желтых роз и долгая молитва. На этот раз мы благоразумно остались у машин: пусть поговорят наедине – им есть, что сказать друг другу. А нам было о чём подумать. Да, нам было о чём подумать и что и с чем сравнить..

Прямо с кладбища нас повезли в школу. На пороге нас встретила кучка нарядных женщин – директриса, завуч младших классов и несколько учительниц разного возраста, но удивительно похожих друг на друга праздничным – нет, парадным выражением лица. Одна из них, явно волнуясь, выступила вперёд: это была Дусина сестра Рая, самая младшая в семье, теперь уже тоже учительница. Вы бы видели Луиджи в эту минуту! Растерянно всплеснув руками, он отступил было на шаг – и бросился обнимать её, что-то восклицая и оглядываясь на нас, словно призывая нас быть свидетелями чему-то невероятному.

– Он говорит, – подсказал нам переводчик, – он говорит, что когда впервые её увидел, ей было шесть лет. Измученные, замёрзшие, они, уже без надежды, постучались в окно, где, как им показалось, в щёлочке мелькнул слабый свет. На стук чья-то маленькая рука отогнула уголок одеяла, которым было занавешено окно, и они увидели детскую головку в светлых кудряшках. Луиджи говорит, он подумал, что наверное уже умер и видит ангела на пороге рая.

Кто-то засмеялся, но мне почему-то не было смешно.

Нас повели в Дусин класс – так попросил Луиджи. После Дусиной смерти класс приняла Рая.

Дети во все глаза смотрели на первого в их жизни настоящего иностранца, слушали его быструю, взволнованную речь, которую через пень-колоду торопливо передавал им переводчик. По команде учительницы несколько записных отличников очень громко и очень старательно продекламировали какие-то стихи, из которых гость, конечно, ничего не понял; потом ему поднесли альбом, в котором он как почётный гость должен был что-то написать им на память. Тут он совсем разволновался – он так ответственно

отнёсся к этой обязанности! Весь класс, затаив дыхание, следил, как он, прикусив губу и поминутно о чем-то советуясь с переводчиком, царапал страницу непослушным пером. А потом, совсем неожиданно – для меня, во всяком случае – произошло нечто, наверное, не предусмотренное сценарием: гость водрузил на стол большую сумку, которую всё время таскал за ним переводчик – класс немедленно насторожился! – и стал раздавать детворе подарки в память о Дусе – о первой учительнице, ушедшей от них навсегда. Класс зашевелился и зажужжал, как потревоженный улей. Ещё бы – вдруг какие-то подарки, да еще заграничные! И притом разные – кому что достанется? Хотя подарок – любой – вот так, ни за что – всё равно приятно! Хотя непонятно – ну, пустили его когда-то погреться, ну, накормили картошкой – и что? Чтобы вот так, через столько лет ехать куда-то за тридевять земель, тратить кучу денег на подарки каким-то чужим детям? Зачем?

Однако постепенно на некоторых мордашках радостное оживление стало сменяться напряжённой работой мысли: почему у этого странного гостя срывается голос и дрожат губы, когда он гладит их стриженные головёнки?

У меня тоже сдавило горло и предательски защекотало в носу, и я поняла: нет, недаром этот человек – этот Человек сюда приехал! И может быть, недаром не только для себя – для нас, и для этих детей...

А потом мы сидели за столом, в той самой хате – добротнo её выстроил хозяин перед тем, как ушёл на войну! – и Луиджи снова, волнуясь, вспоминал над тарелкой со стынувшим винно-золотым борщом, как они шли в трескучий голубой мороз по мёртво молчащей стылой деревне. Ни голоса, ни лая собак – только хруст снега под ногами да натруженное дыхание из простуженной груди. И вдруг – щёлочка живого света в окне, как последний луч надежды... Вот в этом? Нет, в этом, наверное...

И Рая, удивляясь, подтверждает: да, в этом... Кажется, в этом.

Наш переводчик с трудом продирается сквозь путаницу их воспоминаний. Да он, оказывается, и не переводчик вовсе, а так – мелкий бизнесмен, как это модно сейчас называть. Просто отец у него был итальянец: они с матерью познакомились в Германии, куда она была угнана на работу. Отсюда имя – Марио, да кой-какое знание итальянского языка. Откуда Ирина его выудила, не знаю – всё-таки она молодец! Куда там мне до её оперативности!

На столе появляются вареники – и тут вдруг все почему-то оборачиваются ко мне. А-а, это Луиджи спросил, с чего всё началось – откуда узнали о том, что они втроём приезжали в Харьков, о шали, о серебряной розе, и как удалось разыскать Марию и Дусю.

И я рассказываю, как родилась моя невыдуманная новелла: как в далёкую, суровую, голодную зиму сорок третьего довелось мне заночевать у своей подружки. С наступлением комендантского часа, то есть после четырёх,

ходить по городу не разрешалось. У подружки топилась «буржуйка», и воду они брали не из проруби – сравнительно недалеко была колонка, так что меня даже напоили чаем из вишнёвых веточек с парёнками вместо сахара. Знаете, что такое парёнки? Это харьковское изобретение. Зимой сорок первого сорок второго фронт стоял под Роганью, в каких-то двадцати километрах, из города никого не выпускали, и свёкла в прифронтовых полях так и осталась необранной. Потом фронт откатился, и люди, кто посмелее, стали выкапывать эту перезимовавшую свёклу. Ну, какая погнила, а какая всё-таки уцелела – так вот эту, перемёрзшую, нарезали соломкой, как для борща, и пекли, а потом с кипятком – вместо сахара...

Одним словом, почаявали мы, угрелись и собрались было уже и спать ложиться, чтобы копилку зря не жечь – как вдруг стук в дверь. Спрашивается, кто это может быть – в такое время? А стук всё настойчивей. Немцы, что ли? Или полицаи? Этим не откроешь, сломают двери! А зима ведь – как проживёшь без дверей? Бедная тётя Шура, сама не своя от страха, открыла – а там итальянцы. Двое! Тряпками какими-то обмотаны, грязные – но карабины при них. А как увидели, что «буржуйка» топится – у них аж слёзы на глаза навернулись! Ну что с ними делать? Впустить – так за это ж расстрел. Нет – так у них же карабины! Не знаю, что уж там взяло верх – страх или жалость, только оставила их тётя Шура, и кипятку дала с парёнками – больше-то и не было ничего, и даже воды дала умыться. А потом они расстелили на полу у печки свои шинелишки и улеглись спать, счастливые. А рано утром, ещё затемно, ушли, чтобы не накликать на нас беды. Уходя один из них поцеловал тётю Шуре руку и, сняв с себя распятие, надел тётю Шуре на шею.

Вот, собственно, и вся история. Не знаю, насколько полно Марио её перевёл, но у Луиджи навернулись слёзы. Он что-то заговорил – быстро-быстро, взволнованно, оборачиваясь то ко мне, то к переводчику, прижимая руки к груди: оказывается, он просит – он очень хочет повезти этот рассказ в Италию! Неважно, что он не может читать по-русски: там найдутся люди, знающие язык. Его обязательно переведут: это очень важно для Alpinì, для тех, кто ещё жив! Его товарищи – те, что приезжали с ним, – они уже не в состоянии приехать, у самого старшего был инсульт, второй тоже болеет – но как они будут рады! Как это важно, чтобы мы – здесь – поняли их! Ведь мы наверное не знаем – а ветераны Alpinì, те, что ещё живы, обратились к правительству Италии с тем, чтобы их не хоронили на общих воинских кладбищах – они не хотят лежать рядом с фашистами!

Господи, как хорошо, что я случайно прихватила с собой свою книжку! Да нет, не случайно – я её для Ирины захватила, но обойдётся Ирина, как-нибудь в другой раз подарю!. Я передаю её со своего дальнего конца стола,

небольшую, неказистую – и если бы вы видели, как вспыхивает, как освещается радостью его лицо! Как ребёнок, он гладит мягкую серую обложку, поднимает на меня глаза – и на секунду возникает ощущение, что мы с ним одни здесь из того страшного, того священного времени, непостижимо породнившего нас. Он что-то произносит – беззвучно, но я читаю по губам: *grazia!* Спасибо! И меня обдает горячей волной, как глоток церковного вина – святое причастие! Короткая пауза – словно полёт в машине времени – и вдруг Луиджи стремительно срывается с места, бежит куда-то к двери – нет, к своей сумке, приютившейся в уголке, – что-то достаёт, и оборачивается к нам, нестерпимо сияя мохнатыми глазами. В руках у него тощенькая тетрабочка – что это? Прижимая тетрабочку к груди, он обрушивает на переводчика поток счастливо взволнованных слов.

Марио-переводчик беспомощно барахтается в этой лавине, но главное мы понимаем: эта тетрабочка – ксерокопия дневника, который восемнадцатилетний солдат пытался вести в то грозное время. Тут даже есть фотография: такими они пришли домой! Он думал подарить эту тетрабочку Дусе, но теперь он дарит её мне, чтобы я донесла до людей всю правду о том, как это было.

Я смотрю на эту фотографию: три темных фигуры на тусклом сером фоне – то ли ксерокс никчемный, то ли фотография плохая; лиц не различить, но мне кажется, что это скульптурная группа – монумент под названием «Возвращение с войны»!

Ирина непроизвольно передёргивает плечами – видимо, её задело, что она вдруг оказалась не в фокусе. Голос её звучит резковато и громче, чем нужно, когда она хвалит вкусный обед и благодарит хозяйку; к ней присоединяются остальные, а я смотрю на Раечку – и мне видится детская головка в освещённом окне, какой её увидел Луиджи сорок с лишним лет назад.

Марио предлагает: он попросит мать перевести эти записи – она лучше его владеет итальянским – и тогда уже я смогу привести их в порядок. Луиджи благодарно трясёт его руку и оборачивает ко мне растроганное лицо. Я киваю: да-да, конечно, я постараюсь! Я обещаю, я сделаю всё, что смогу!

Всё, что говорится потом, как-то стирается в сознании – не то чтобы оно было незначительно, а просто оно служит фоном основному. Потом Ирина поднимается: пора возвращаться. Серебряная роза наконец обретает положенное место: Раечка любовно кладёт её на полочку перед портретом матери.

Мы выходим на темнеющую улицу, рассаживаемся по машинам, но на этот раз Луиджи просит, чтобы я ехала с ними. По дороге он рассказывает мне о своих внуках, показывает их фотографии – удивительные детские лица

с прекрасными, горячими глазами – словно с картин старых итальянских мастеров. Вот этот, старший, уже хорошо играет на скрипке. Дед, оказывается, сам скрипач – вот откуда пронзительная тональность его писем!

Мы обмениваемся адресами – но я ведь не знаю итальянского!

– Ничего, – говорит Луиджи, – я выучу английский.

Марио, наш переводчик, смеётся.

Всю дорогу Ирина молча слушает наш разговор. Я рассказываю Луиджи о городе и немного – совсем немножко – о себе. На углу Совнаркомовской Ирина останавливает водителя и говорит мне:

– Выходи. Тебе ведь отсюда недалеко? Мы поедем дальше. Водителю пора возвращаться.

Я несвязно, торопливо прощаюсь и вылезая из машины, машина трогается – но дёрнувшись останавливается снова. С коротким восклицанием Луиджи выскакивает из машины, хватая меня за руку и двумя руками зажимает в моей ладони какой-то мягкий комочек. Я не успеваю ни понять, ни сказать ничего – ещё секунда, и махнув мне рукой, он захлопывает за собой дверцу «Жигулей». Ариведерчи!

Я растерянно раскрываю ладонь. На ладони, в слабо пахнущем незнакомыми духами скомканном носовом платке – распятие. Строгое распятие на цепочке белого металла, ещё сохраняющее тепло другой, не моей, груди.

Николай ЗИНОВЬЕВ

«СУД НАЧИНАЯ НАД СОБОЙ...»

БЕСОВЩИНА

Жизнь в объятьях заката.
Став не ближе к Христу,
Я смотрю виновато,
Что лишь тенью расту.

Сердце бьется так глухо.
Вот пришла полоса:
Нет ни зренья, ни слуха
Лишь чутьё, как у пса.

Деловито и сухо
Шепчет на ухо бес:
«У соседа, по слухам,
Сохранился обрез».

Бес сживает со свету,
Хочет душу взять в ад:
«Ты сходил бы к соседу,
Чем так мучиться, брат...»

НОЧЬ

Лежу, свернувшись как в утробе,
За окнами такая тьма,
Какая может быть во гробе
Иль в недрах моего ума.

И в страхе сердце моё бьётся,
Наверно, слышно за версту.
И ничего не остаётся
Как всей душой припасть к Христу.

Уже не раз пишу об этом:
Отечества не сладок дым...
Я стал безвременья поэтом
И буду проклят вместе с ним.

Накануне Апокалипсиса
Нет, это никакая не истерика.
Несхожесть наша глубока и не проста:
Спокойна ждёт Антихриста Америка,
Россия с Божьим страхом ждёт Христа.

Псевдоинтеллегенция
Всегда, всегда была ты стервой,
В чаду своей богемной скуки,
Народ ты предавала первой,
На пепелище грея руки.

Была ты рупором разврата
И верной подданной его.
И поднимался брат на брата
Не без участия твоего.

По заграницам ты моталась,
Всю грязь оттуда привозя...
Такой ты, впрочем, и осталась.
И изменить тебя нельзя.

ПРИКАЗ

Солдат любой приказ исполнит
И это надо понимать.
Солдат всегда об этом помнит,
Но чтоб стрелять в родную мать?!

Ужасный холод сердце студит,
Меняет небо свой окрас.
Стреляй, солдат! Грехом не будет
Убить отдавшего приказ.

НАРОДУ МОЕМУ

Опять чужой хомут на вые,
Ты и Герасим, и Муму.
Свелись законы мировые
К порабощенью твоему.

Не Божью заповедь блаженства
Тебе подсунул Сатана...
Далёк мой стих от совершенства,
Как жизнь, что в нём отражена.

Стих мой и короток и сух,
Похож на щёлканье затвора.
Недаром, видно, вражий слух
В нём ловит нотки приговора.

НА КЛАДБИЩЕ

Здесь небо землистого цвета,
Здесь матери ходят без сил,
И дьявол им «Многая лета»
С издёвкой поёт средь могил.

Надгробья, детей(!) фотографии.
Дал Бог бы мне право на мечь,
Для всех главарей наркомафии
Она совершилась бы здесь.

Суд начиная над собой,
Я думал: тут всё неподкупно.
Но я ошибся очень крупно –
У адвоката хвост трубой.

Печально это, господа.
Нет, кроме Божьего, суда.
На нём оправдываться поздно
Вот и хожу я с миной постной.
Хожу в раздумье невесёлом:
Где после стану новосёлом?

Екатерина КОРОТКОВА

ВНУЧКА РУЗВЕЛЬТА И ДРУГИЕ

Я давно заметила, что ни у кого из моих приятельниц нет знакомых военных. Приятельницы мои – дамы интеллигентные, перечитывают классику, а там чуть не на каждом герое военный мундир.

Я не спрашиваю у них, заметили ли они исчезновение из жизни главного героя. Мне кажется, я знаю их ответ. Все Печорины и Вронские погибли или изгнаны во время Гражданской войны. Остался нам на память поручик Голицын.

Ну а те, кто носит погоны сейчас, это люди не нашего круга. Армия очень изменилась. Изменилась, согласна. Но изменились и мы. Интеллигенты, пожалуй, побольше военных. И уместнее, наверно, спрашивать меня. Почему все эти странности? С офицерами дружишь, сочиняешь батальные сцены, роешься в отцовских военных дневниках?

Сама не знаю. Такой уродилась. Может быть, небеззаботное детство оставляет более глубокий след. Казачьи песни с детства слушаю. До чего ж он нежен, украинский язык. Даже войну называют «вийнонька». И себя – уменьшительно, ласково. «Засвистали козаченьки в похід о пивночи, заплакала Марусына в свои кари очи». Ночной поход, горят костры, мелькают тени всадников в высоких шапках – воевать собрались козаченьки. И тополь гнется на ветру над одинокой казацкой могилой.

Кроме казачьих и ямщицких, что пел мне дядя, в моем детстве зазвучали и песни ожидаемой войны. «Если завтра война, если завтра в поход...» Как-то на даче, в открытом кинотеатре я увидела фильм, который пленил меня на всю жизнь. На экране был красавец, мужественный и добрый. Улыбка – солнце. Как ослепительно они улыбались: Крючков, Алейников, Николай Баталов. В том дачном фильме герой Николая Крюčkова, уже повоював, вернулся к мирному труду. Но с ним была гармонь, и тишину степной украинской деревни пронизывали грозные раскаты: «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» До чего ж это нам нравилось!

Скажу честно, слушая полюбившиеся нам песни, мы совсем не ожидали, что вскоре начнется война. Но нам показали нашего защитника – доброго и сильного.

О войне не думали, но идея всё же была запущена, и девочки постарше меня, сами того не зная, уже готовились стать санинструкторами и

радистками. В пионерском лагере, куда и маленьких брали, нас учили ползать по-пластунски, водили в походы, затеяли военную игру.

Тогда и взрослые играли в эти игры. Выходной день, солнышко на ясном небе, и вдруг гудки, тревога. Все торопливо натягивают маски с хоботом, не то объявят тебя отравленным и на носилках унесут. Я до сих пор помню, как их натягивают – эти маски. Уже в эвакуации, в жаркой Средней Азии военрук накрепко вдолбил: подбородок вперед.

Большим успехом в те предвоенные годы пользовались девушки спортивного типа. Ну, а девочки? Девочки моего поколения не так уж много играли в куклы, а больше в подвижные игры, которые легко переходили в драку. Озорные они были – «девчонки с нашего двора». И я от них не отставала. И даже в чём-то обогнала, но озорство мое носило особый, выборочный характер.

Девочка я была тихая, вежливая, законопослушная. Никогда не говорила неправду. С ужасом и негодованием отвергла предложение подделать мамину подпись в дневнике. И уж, конечно, никого не обижала и не мучила.

И в то же время какой-то настойчивый внутренний голос то и дело толкал меня на отчаянные, порой опасные для жизни поступки. Причем опасны они были только для меня самой.

Совсем маленькая, я взбиралась на высокий забор к ужасу бабушки, тщетно умолявшей меня спуститься.

Свой первый бой я приняла в возрасте пяти лет через несколько дней после возвращения в Киев, уж не помню, в который раз вернулась. Битва была нешуточной – воевали с соседним двором, стенка на стенку. Это когда уже не кулаками лупят, а швыряют камни. В своем первом сражении я оказалась потерпевшей – угодили камнем в голову, вполне закономерно, ибо была маленькая, неопытная и неувертливая. Жалеть меня сбежались и взрослые, и дети с обоих дворов. Киев, хоть и не Одесса, но тоже тёплый южный город, всегда готовый посочувствовать. Меня обильно полили йодом и не запретили бегать во двор. Вот такое приобщение к военному делу.

А там уж началось!

То я лечу на санках в обществе таких же умников по наклонной Караваевской улице и врезаюсь в самую гущу автомобилей, которые мчатся в обе стороны по оживленной улице Саксаганского. Милиционер тут же отлавливает меня – самую мелкую – и начинает «внушать». Кто-то из мальчиков отвязывает веревочку, я хватаю санки рукой за холодную металлическую перекладину, с которой снята веревка, и улепетываю, не выслушав наставлений.

То я вдруг ни с того, ни с сего чуть ли не с первого класса начинаю сбегать с уроков и не домой иду, а в кино на страшный фильм о Стеньке

Разине, с пытками. Эти пытки меня доконали. Я выскакиваю из кинотеатра вся в слезах, в равной степени угнетенная своей греховностью и наказанием за неё – ничего подобного я до сих пор в кино не видала, конечно, это результат моих безумных действий. Я бегу по улице столь зарёванная, что даже хулиганы мальчишки отказываются от идеи поддразнить меня и отпускают со словами: «А, ну её!». И наконец я дома и утешаюсь после всех этих ужасов некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хорошо» - моё главное в том году утешение.

Но лиха беда начало. С уроков я продолжаю сбегать, и это превращается в приятный и безобидный обычай, сохранившийся до окончания института.

Добавим сюда ещё семечки, которые, возвращаясь из школы, мы с подружками сгребаем у торговков на бегу. Чуть попозже, в эвакуации я и по чужим садам шуровала.

Впрочем, были в нашем довоенном детстве и умирительно скромные забавы. Мы чуть ли не часами могли смотреть, как работает на соседней улице продавец газировки. Вода брызжет, стакан наполняется мигом, пузырьки мечутся в стакане, сталкиваются, стремятся вверх. А потом продавец поворачивает краник в баллоне с соком, и вода в стакане окрашивается в темно-красный или золотисто-желтый цвет. Чистая стоит одну копейку, с сиропом – три, а с мандариновым – пять, только он не всегда бывает. Вкус божественный – я один раз попробовала. У нас есть с собой какие-то копейки, но воду мы покупаем редко, обычно чистую. Нас интересует процесс.

Возраст наш далек от переходного, но, в каком-то смысле, переходный: от неуправляемой зверюшки к примерной девочке. Это интересно отражается на посещениях Ботанического сада. Нам повезло. Ботанический сад, «Ботаника» начинается на нашей улице. Справа наши дома, слева ограда «Ботаники». Мы выскакиваем из нашей длинной, тёмной подворотни, словно стая диких обезьян. Не оглядываясь, перебегаем улицу - по ней редко ходят машины – перелезаем через узорчатую металлическую ограду, и вот уже под ногами шуршит сухая прошлогодняя листва. И мы носимся с жутким шорохом по пригоркам и оврагам. Киев город холмистый, Ботанический сад – тем более.

Но временами в наших юных душах берет верх другая ипостась – примерных девочек. Мы осторожно переходим улицу, опрятные и чинные, сворачиваем за угол и направляемся к кассе у входа с целью купить билеты в Ботанический сад. Нас обычно пропускают и без билетов и подробно объясняют, что нам надо посмотреть в саду, и мы степенно движемся к бассейну с золотыми рыбками.

Оба эти варианта, как правило, кончаются тем, что мы оказываемся в

дальнем конце сада – путь не близкий – и наблюдаем там, как делается мороженое. Процесс намного сложнее, чем налить газировку. Мы следим за ним, не отрывая глаз. Чего он только не проделывает, этот мороженщик, и механизм у него хитроумный. Он крутит белую снежную массу в своём бачке, сыплет соль, не в бачок, конечно. Мы спрашиваем, зачем соль, он нам все объясняет, продолжая работать: крутит, вертит, что-то подкладывает, подливает, и происходит чудо – в бачке не белый снег, а желтоватое, сливочное, самое вкусное на свете мороженое.

Вот с такой гремучей смесью законопослушности и беззакония я встретила свалившуюся всем нам на голову войну. Стоит ли удивляться, что когда при ночных налетах пионервожатая будила нас и вела в щель, я останавливалась, чтобы полюбоваться предрассветным небом.

В Киеве то же самое – в убежище ни ногой, стою, разинув рот, и наблюдаю падающие, правда, где-то совсем далеко, черные бомбочки и маленького парашютиста. И мне очень стыдно, что дядя Василий – глава семьи, казак – спит теперь не на кровати, а под кроватью.

Но пришла пора напугаться и мне.

Мы очень поздно покинули Киев. Из тех, кто сразу же решил эвакуироваться, большинство давно уже было в пути. А мы ведь тоже сразу же решили, но всё не уезжали, тянули неделю за неделей, ожидая, когда же выпишут из больницы тетю Марусю, и мы все вместе повезем её в её далёкий Казахстан... Её муж и сын давно уже туда уехали. Ждать больше было нельзя. Бабушка ни за что на свете не покинула бы больную дочку, и дядя Василий остался с ней. В дорогу собрались мы с мамой и тетя Женя. Раскололась семья.

Но тут же снова обросла, и не чужими, а родными. К нам присоединилась папина тётя, Мария Савельевна Беньяш, она же тётя Малина – домашнее прозвище, прилипшее к ней ещё в детстве, как говорили мне, за ослепительный цвет лица. С ней и её покойным мужем мы постоянно виделись, дружили. Сопровождала тётю Малину компаньонка Тина, высокая молчаливая немка, бывшая бонна её внука Юры, который уже призван в армию.

Жить в товарном вагоне мне ещё не приходилось, но в моей короткой жизни было столько перемен, что к новой обстановке я привыкла легко. Ехали киевляне, общительный, разговорчивый народ, ещё не замученный военными тяготами. Быстро завязывались дружбы, и мама особенно подружилась с одной женщиной. Мы и устроились рядышком. К этой даме часто подходил человек, с которым она тоже познакомилась лишь в этом вагоне. Почему-то они говорили друг другу «ты». В те времена у

интеллигентных горожан такого принято не было. Я спросила маму, почему они на «ты», и мама коротко и веско пояснила: «они коммунисты». Я удовольствовалась этим ответом. 41-й год – дух революции еще витал в атмосфере.

Дверь-задвижка товарного вагона приоткрыта. Мы пока ещё не попрощались с Украиной. То лесок мелькнёт, то речка, то «садок вишневый коло хаты». Но это лишь мелькнёт, а постоянны и необозримы золотые поля пшеницы. Красивы они – глаз не отвести, налитые, спелые колосья, золотое море. Какой роскошный урожай нам выпал в лихую годину. В вагоне то и дело говорят, что такие урожаи всегда бывают в первый год войны. А 45-й будет неурожайный год. Но мы ещё не знаем, что война закончится так не скоро.

«Белоруссия родная, Украина золотая, наше счастье молодое мы стальными штыками оградим», – пели идущие на фронт красноармейцы. Через много лет я обнаружила, кто первым нашел эти слова: «Золотая Украина». Иван Алексеевич Бунин.

Тётя Женя постоянно выходила па станциях и очень часто появлялась в вагоне, когда поезд уже шел полным ходом. Было много волнений, я сердилась на тетку и с бессердечием, свойственным легкомысленному детству, от души желала ей отстать насовсем.

Ехали мы себе, ехали, и вдруг оказалось, что нам очень скоро предстоит расстаться. Тетя Малина с Тиной направлялись к родственникам на Северный Кавказ. Это о ней написал мой отец в своих чудесных воспоминаниях «Добро вам!», назвав её там Рахилью Семеновной. Он не только имя изменил, но и личность, и семью, и судьбу этой вымышленной семьи. Оставил только факт: его тётя действительно ехала этой дорогой. Интересное исключение, над которым стоит подумать: единственный абзац во всей повести, где автор прибег к вымыслу. К чему бы это?

А у мамы вдруг появилась совсем не светлая мысль. Она узнала, что Виктор, её муж и, соответственно, мой отчим, в Днепропетровске, и решила завернуть к нему: повидаться и заодно аттестат оформить. Аттестаты, как я знала, можно и письменно оформлять. А заворачивать поближе к немцам ради встречи с Виктором, который за год сумел развить у меня к его особе острую неприязнь, нет, совсем не по душе была мне эта идея. А мы ведь ещё не знали, что ждет нас в Днепропетровске.

Ожидало же нас нечто такое, что вошло в историю Великой Отечественной войны, как один из самых трагических её эпизодов. Стремительным ударом немцы прорвались к Днепропетровску и лишили город возможности пользоваться железной дорогой. Между тем на путях, идущих от вокзала, стояло множество эшелонов с воинскими частями и с беженцами.

В город мы попали вечером и остановились у родственницы, тети Домны, помню, бабушка называла её Домахой. В 30-е – 40-е годы у всех было много родственников. У тети Домахи было множество внуков, и я с ними играла в прятки, а потом мы забрались в отлично оборудованную щель и там тоже начались игры: зажгли восковую свечу и гадали – капали растопившийся воск в кружку с водой. Ничего внятного нам не нагадалось.

В эту ночь, проведенную не в вагоне, а на перинах у гостеприимной Домахи, очевидно, и осуществился этот роковой прорыв немецких воинских частей, лишивший всех, кто находился в городе, возможности его покинуть. Ну, а пока мы там играли и гадали, противник, вероятно, закрепил захваченный рубеж. Мама за это время успела разыскать Виктора и оформить этот самый аттестат.

Днем, торопливо перекусив, мы попрощались с нашей славной хозяйкой и, подхватив свои вещи, отправились на вокзал.

Вокзальная площадь битком была набита народом и гудела голосами. В середине площади возвышалась гора из чемоданов, узлов, свернутых одеял и всевозможной тары, пригодной для переноски вещей, включая вёдра. Мама с тётёй пристроили туда и наше имущество.

Мы присели на ступеньку у входа в вокзал. Но никто туда не входил. Люди метались по площади, лица тревожные, испуганные, все что-то кричат. Я прислушалась. Ой, что ж это они кричали! «Вы же слышали, сказали ясно: отправления не будет», «То есть как, а воинский эшелон?», «Воинский – другое дело», «Немцы рядом, в восьми километрах стоят», «Дорога перерезана, не выбраться нам отсюда», «Говорят, станцию на тот берег перенесли».

Немцы в восьми километрах! Ну и ну! Надо было нам так уж сюда торопиться.

В воздухе возник какой-то новый звук, и все бросились в центр, к чемоданной горе. Мама с тётёй потащили меня за руки, и мы плюхнулись на наши чемоданы и узел. Звук нарастал. Я уже слышала его не раз, но не так близко. «Бомбить... бомбёжка» – шелестели голоса. Как же это может быть? Здесь же только женщины, старики и дети. Неужели они прилетели, чтобы нас бомбить? «Это артобстрел», успокаивала я себя. Невыносимо было думать, что прямо на меня бросают бомбу. Пальба из пушек и минометов почему-то представлялась мне более безобидной.

Вой, грохот, треск. Казалось, небо раскололось, весь воздух раскололся до самой моей головы. Тётя накрыла меня подушкой. Какой он страшный, этот грохот, уши лопаются, тело болит.

А тетя что есть сил прижимает ко мне подушку. Смешно – разве подушка спасёт? Но в этом грохоте, что обрушился вдруг на площадь и терзает и мучает всех, только они и были из человеческой жизни, из нормальной, доброй,

прежней жизни – подушка и прижимающая её ко мне тетина рука.

Самолеты улетели, а на площади творилось такое, страшней чего я не видала никогда. Люди мечутся, как сумасшедшие, кричат, зовут кого-то, у всех испуганные, стеклянные глаза. Я увидела мертвых. Вот женщина несет неподвижное тело девочки. Старушка наклонилась к мужу и уговаривает, как маленького: «Васенька, родненький, ну что же ты, что?», а он не двигается и не отвечает.

И наконец-то я увидела такое, что уже не надо было больше спрашивать: «Бомбежка?» «Обстрел?» Большой четырехэтажный дом без стены. Груда кирпичей под домом и облако пыли над ними. Чьи-то комнаты, мебель, струйки пыли от оставшихся стен.

– Это бомба! Это бомба! – твердила я в ужасе.

Постепенно всё затихло. Те, кого не затронула бомба, разыскивали свои вещи и, усталые, сидели на них. Очень скоро появился Виктор и присел на чей-то рюкзак. Мы разговорились с какой-то женщиной и она нам предложила переночевать у неё. «Дом у самого вокзала. Бомбить, правда, всю ночь будут. Зато идти недалеко».

Как чудесно было очутиться в этой квартире. Уютно, как до войны. Ворсистые пестрые кресла, такой же диванчик. Много книг и много ламп. Лампы красивые, все разные и все чудные. Наверное, старинные. Я забилась в уголок дивана и не двигаюсь, постепенно отхожу. Интересно, что за книги там на полках? Я выбралась из своего убежища в углу ворсистого дивана с проплешинами. Видно, здесь богатые люди живут: мебель мягкая и книги стоят не на полках и этажерках, а в книжных шкафах. Я двинулась вдоль шкафов с книгами, разглядывая корешки. «Бегущая по волнам» - прочла я на одном из них. «Можно мне почитать эту книжку?» - умоляюще спросила я хозяйку. «Конечно, деточка, но ты ведь её всю не прочтешь». «Да я совсем немножко посмотрю». Книга так к себе и тянула. «Бери, бери, сколько прочтешь, столько прочтешь». Когда случалось что-нибудь плохое, я всегда находила утешение в книгах. Но такого ужасного, как сегодня, со мной никогда ещё не бывало. Поможет ли мне эта «бегущая?»

Я открыла книгу и ушла в чудесный и волшебный мир. Оказывается, после самого страшного наступает самое прекрасное. Затаив дыхание, я впитывала каждую строчку. Впоследствии я прочла её целиком. От того чарующего впечатления и следа не осталось.

А потом меня укладывали на постель, подсунули под голову подушку. «Вмиг сварилась. Неудивительно. Такой денек», – услышала я и совсем уж провалилась в сон.

Спала я крепко. Я слышала, всю ночь я слышала оглушительные разрывы бомб. Но я слышала их сквозь сон. Иногда, тоже сквозь сон, пробивались

голоса: «Может, отнесем её в убежище? Весь дом спустился». «А кто её угадает, эту бомбу? Может быть, она на лестнице нас настигнет? Вы спускайтесь, спускайтесь, а я тут побуду». Я слышала всё: бомбежку, голоса, но ни разу не проснулась. Так мы и провели всю эту ночь вдвоем с мамой, на верхнем этаже пустого дома.

Виктор явился не так уж рано – мы все уже успели попить чаю, когда он затрещивал в дверь. Он сиял, он столько сделал за утро, что нам и не снилось. Вещи уже у моста. Откомандирован боец, который переправит нас через мост. Вот ходатайство в эвакуопункт за подписью начальника штаба с просьбой оказать содействие семье командира. Боец ждёт нас у моста, там же ждёт сюрприз.

У моста топталась такая толпа, что к нему, казалось, и за сутки не пробраться. Виктор поставил чемодан на чемодан и, взгромоздившись на них, внимательно оглядывал толпу. «Вот он!», – сказал он и слез с чемоданов. «От меня не отставать», – строгим голосом распорядился он и стал двигаться сквозь толпу, повторяя этим новым строгим, командирским голосом: «Разрешите», «Позвольте пройти». По очень узенькой и не прямой дорожке мы довольно быстро пробились сквозь всю эту массу людей.

А там уж был сюрприз из сюрпризов. Телега с настоящей лошадей. И правил этой лошадей боец, которому Виктор вручил ходатайство из штаба и сказал: «Я на Вас очень надеюсь, Лагутин». «Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант», – слегка окая, ответил боец Лагутин. Он был худенький, с голубыми глазами. И хотя я не особенно понимала, как это взрослые делятся на пожилых и молодых, но на сей раз поняла, что боец Лагутин молодой.

Телегу быстро нагрузили нашим и еще чьим-то имуществом. Меня втиснули между узлами, так что я немного возвышалась над толпой. Люди громко, возбуждённо кричали, у меня прямо в ушах звенело.

Примерно через час мы были уже на мосту. В самом, самом его начале. Ухали и свистели снаряды, но не долетали до моста. Лошадь Ромашка перебирала ногами и, казалось, она совсем не продвигается вперед. Немного впереди виделась черная «эмка» и, казалось, она неподвижно стоит в толпе.

Слышалось сплошное шарканье подошв. Мост был плотно забит людьми, так плотно, что, хотя они все время шаркали ногами, казалось, что никто не продвигается вперед – ни идущие пешком люди, ни телега, ни черная «эмка».

Я вдруг заметила, что люди, шаркавшие по мосту, все, как по команде, задрали головы и смотрели на небо. «Наши. Наши. Ястребки» – шелестело в толпе.

– Прикрывают нас, как вы считаете, товарищ Лагутин? – окликнула ездогового тётя. Я уже знала, что в своей сегодняшней должности боец Лагутин

называется ездовой.

– Похоже, так, – отозвался Лагутин. – Надо же народ оборонить.

И стало жарко от страха. Снаряды выли и плюхались в воду по обе стороны моста, то недалёт, то перелёт. Но, наверно, всё-таки не из-за них появились над мостом истребители. Не из-за них бредущие понуро люди задирают головы и смотрят в небо. Будет еще что-то, от чего нас собираются оборонить.

А всё же, если смотреть на перила, видно – есть движение. Вон та доска с жирным черным пятном была впереди, а теперь она сзади.

И вот тут-то он раздался, знакомый вчерашний гул.

Я подняла голову и увидела, как засуетились в небе «ястребки», как, постепенно делаясь всё больше, приближаются немецкие бомбардировщики. Их было три.

Я не отрываясь, смотрела на тот, что впереди. Вот он, большой и жуткий, словно не замечая истребителей, оказался прямо у меня над головой. И я увидела, как когда-то в Киеве: из пуза самолета вывалилась черная бомбочка, и я тотчас же уткнулась головой в колени.

Бомба с воем ринулась вниз и плюхнулась в воду. Потом снова вой, и снова, и ещё. Бомбы, как какие-то железные киты, сигали в Днепр с тяжелым оглушительным всплеском, поднимая фонтаны воды. Воют бомбы, плещется вода, трещат, захлебываясь, пулеметы. А на мосту и крик, и плач. «Вот дают ястребки!», – услышала я сквозь шум голос Лагутина.

Я не поднимала головы, я ждала: вот какая-нибудь из них попадет в мост и конец нам всем, и маме, и мне, и тёте, и всем, кто рядом с телегой, и всем, кто далеко.

А потом шум передвинулся в сторону, я не сразу это поняла.

«Отогнали, слава Богу, отогнали», – гомонили вокруг голоса.

Я подняла наконец голову и огляделась. Мне казалось, прошло ужас сколько времени, но мы совсем недалеко продвинулись вперед. Мы наверно, ещё и до середины моста не доехали. Я глянула вперед: народу бездна. Назад обернулась: там тоже целая толпа. Где всё-таки больше – впереди или сзади?

По правую сторону от телеги бубнили поющие голоса – двое приятелей, они идут рядом с нами и вспоминают кинофильмы. Всю дорогу, до начала бомбежки не слезали с этой темы. Улетели «мессеры» и вновь я слышу: «Вот Крючков жизни дает!»

Худенькая старушка-одуванчик вздыхала, опираясь на бортик телеги: «Ой, этот Антон, ой, этот Антон! Погубит он бедную девочку!»

Каждый про свое, и никто про бомбежку. Но ведь смотрели только что на небо, весь мост головами вертел.

Я поглядела вокруг. Никто не вертит головами. Кто молчит, большинство разговаривает. Шаркают подошвы. Неужели никто не думает о бомбежке?

Ясное дело: думают только о ней. Просто взрослые затеяли какую-то свою игру.

А мне во что играть в моем возвышенном одиночестве? Ведь перекрикаться я ни с кем не смогу. Надо думать о чём-то хорошем, решила я. Самое хорошее, наверное, вчерашний вечер. Уютная комната со старенькой ворсистой мебелью и эта девушка, бегущая по волнам. Вот было бы здорово, если бы мы все умели так бегать. Спрыгнули бы с моста и побежали по волнам. А немцы бы палили в нас из пулеметов. Нет, лучше уж идти по мосту. Я смотрела то на небо – там не было сейчас самолетов, то на быстрые днепровские волны, разбиваемые снарядами, то на людей, бредущих по мосту. Они уже не кричали, как утром, в самом начале. Шли, понурившись, молча, хотя порой невнятно шелестели голоса.

Люди утомились, прошаркав полтора километра. Вошли в притихший, неразговорчивый, усталый ритм. Даже, когда снова налетели «мессеры», в нашей части моста было намного спокойней, чем во время первой бомбежки. Волновались те, кто недавно вступил на мост. А здесь устали не только от ходьбы. Устали и от беспокойства.

Мне приснилось, что я уснула в классе, во время большой перемены. Класс наш был экспериментальный: половина детей домашних, моего возраста, а половина – бывшие беспризорники, парни лет шестнадцати-семнадцати. Наш староста Андрей, здоровенный детина, увидел, что я сплю, и принялся орать: «Пошла вон из класса, чтоб ноги твоей тут не было! Дома будешь дрыхнуть! Убирайся вмиг, а то убью!» Очень громко он орал, так громко, будто не один, а много людей кричат.

Я вздрогнула и открыла глаза. Вокруг все громко говорили. Ромашка стояла на месте, и все стояли. Ногами никто не шаркал.

– Перед концом всегда затор, обычная вещь, – успокоил меня Лагутин. – Минут через двадцать будем на твёрдой земле.

Ух ты, мы подошли к концу моста. Вон он, берег, прямо перед глазами, домики, деревья. А солнце уже коснулось земли, значит, прорываться в эшелон нам в темноте придется. Что в эшелон придется прорываться, это я твердо знаю. Это будет уже третий эшелон. Как-никак у меня опыт.

Тот же опыт мне говорил, что в эшелон мы рано или поздно прорвемся.

Я устала за этот бесконечный день и мечтала, чтобы прорыв остался позади, и мы все очутились наконец в вагоне. Мама и тётя поставят чемоданы у стены. Я растянусь на полу на старом мамином пальто и усну под тревожные голоса: «Почему стоим?», «Когда же отправление?» А проснусь под стук колес. «Едем», – подумая я сквозь сон, перевернусь на другой бок и снова усну.

Я оказалась права – в эшелон мы попали. Поезд дрогнул, снимаясь с места, застучали колеса и мы выбрались из-под самого носа фашистов, на ту землю, которую они еще не успели захватить.

У нас, детей войны, уже образовался опыт. С ужасом вспоминаю теперь эти посадки. Я смертельно боюсь давки, боюсь толпы. Но отчетливо помню: тогда я не боялась. Я сама была частью этой толпы. Для меня, как и для всех вокруг, штурмовать вагон – привычное дело.

Платформа забита бескрайней толпой – люди, вещи, узлы, костыли, чемоданы. Рупор начальственно гремит: «С грудными детьми не брать!» И тут же пронзительный женский голос: «Меня пропустите, меня, я с грудным ребенком, да пропустите же меня вперед!»

И вот подгоняют товарный состав, откатывают широкие, во всю стену двери, а там уже люди сидят, и как мы туда попадем, вопреки законам физики, которую я ещё не проходила, и законам данной станции по поводу грудных детей?

Мы бросаемся в эти широкие двери отчаянно, карабкаемся, лезем, сзади давит толпа. А потом поезд идет, постукивая колесами на стыках, все разместились, сидят на вещах и женщина с грудным ребенком – тоже. А два каких-то дяденьки смастерили здоровенные нары для ребят постарше, и мы там горя не знаем под потолком, играем в короли, в какие-то придуманные нами игры, даже в какой-то невинный ребяческий флирт. Весело, хорошо, о тесноте и речи нет – помост широкий, а нас не так уж много. Неделю мы там блаженствовали, а то и больше, в эвакуации не помнишь дней.

Правда, такая роскошь выпала нам на долю лишь один раз, ну, а в вагон-то попасть мы всегда попадали, не в тот, так в следующий. Сколько же их было, этих пересадок! Казалось бы, полтора месяца на колесах с бесконечной сменой поездов и штурмовыми бросками в вагон вырваны из нашей жизни – разве мы тогда жили? Но это была жизнь, своя, особенная жизнь. И вспоминается она со всем хорошим и скверным.

Первое время, когда мы ещё недостаточно удалились от линии фронта, нас нередко обстреливали. Боялись ужасно, но судьба хранила наших спутников и нас. Позже, уже в безопасной зоне после очередной пересадки мы оказались в одном вагоне с ранеными беженцами. В первый и последний раз в жизни я столкнулась с невоенными ранеными на войне. Все они были в бинтах. Помню красивую черноглазую девушку с забинтованной по брови головой. Мне было их очень жалко, но сразу же началось такое, о чём я вспоминаю с недоумением и стыдом. Вагон был почти пуст (большая редкость), мы не страдали от привычной духоты.

Тем не менее раненым было душно. Они широко распахнули двери, нашли в глухой стене какие-то люки, и по движущемуся на огромной скорости вагону

загуляли пронзительные сквозняки. Так среди общей беды, которая нас всех объединила, разгорелась маленькая, но свирепая война. Я сидела тихо, мне было стыдно, что бой идет из-за меня: «Ребенок слабый, плохие легкие, что вы тут творите?»

Я считала, что «наши» должны уступить. Подумаешь простуда, ведь с нами раненые едут. Я им сочувствовала, но они были мне неприятны. С такой ненавистью глядели они на нас. Как я теперь понимаю, у мамы с тетей были серьезные основания для конфликта. Не простуды они боялись, а самого худшего. Беженцам болеть нельзя – лечить их некому и негде, и простуда тут же перейдет в воспаление легких, и не станет девочки, задует её сквозной ветер. Каждая сторона была по-своему права. Виновных, вероятно, не было. Кто уж тут виноват – измученные люди сорвались в экстремальных условиях. Они и в не экстремальных сплошь и рядом срываются.

А всё же скверно вспоминать об этом. Наверно, можно было как-нибудь по-доброму, иначе. Обсудить все вместе, кое в чём друг другу уступить. Меня, например, в какой-нибудь угол пристроить. Но по-доброму не могло получиться – между нами пылала вражда.

Потом в каком-то другом поезде с нами ехал довольно противный старик. Он все время бурчал, ругался не матерными, но грубыми, скверными словами.

– Диду! – не выдержала моя вспыльчивая тетя. – Чого це вы все время лаетесь?

– Хиба ж я лаюсь? – удивился дед. – Я же не матюкаюсь.

И улыбнулся добродушно. Спор на том и закончился. Крыть нечем.

Я неожиданно подумала: «Со своими-то легче договориться».

Да какой же он нам свой, этот корявый дед? С ранеными мы, казалось, принадлежали к одной среде – горожане, интеллигенты. Неужели наша слабенькая связь с деревней сказывалась на нас? Не уверена, что так уж важна деревня, но мы были р а з н ы е горожане. Наши были открыты, легко шли на контакт. А в несчастных наших оппонентах чувствовалась твёрдая закрытость. Кто знает, может, и деревня сработала тут. У людей, с которыми мы враждовали, связь с деревней, даже самая минимальная, представлялась невозможной.

Мы все больше удаляемся от Украины. С боем врываемся в вагон, в этот момент такой желанный, а через несколько дней покидаем его. Мы ведь едем не от места до места, как в мирное время. Мы кусочками перебираемся на попутных эшелонах в нужную нам сторону. Такой себе автостоп. Ночуем на вокзалах, спим сидя, иногда меня укладывают на скамью. На одной такой скамейке я однажды ночью проснулась от холода. Кто-то украл пальто, в котором я спала. Знать бы мне, что новое у меня появится лишь через четыре

с лишним года. Мы ведь думали тогда, что война кончится зимой.

Однажды нам пришлось довольно долго – в детстве ведь всё долго – ехать с воинской частью. Их куда-то перебрасывали, заново сформировав из тех, кто уцелел.

Две женщины и девочка в большом, товарном, полном солдат вагоне и блаженное чувство защищенности, давно забытое за время наших скитаний.

Они нас очень трогательно опекали. Делились по-братски пайком. Я все эти дни проводила со Степаном Сергеевичем, как я его называла, – как же иначе взрослого назвать? Он был худенький, светловолосый, совсем ещё юный деревенский паренек, очень похожий на того, что вёз нас на телеге. Он всё рассказывал мне сказки, толковали мы о чём-то. Наверное, в своей деревне он так же нянчил младших братьев и сестер.

Страшно думать, как мало их осталась в живых, тех, кто принял на себя первый удар. Так хотелось бы верить, что он оказался в числе этих немногих, вернулся в свою деревню и дожил до тех лет, когда не только дети называют его по имени-отчеству. Так хотелось бы надеяться, что не сработал подлый закон войны – погибают самые лучшие.

Временами где-то сзади поднимался шум. Лохматый, черный, немолодой уже красноармеец, махая руками и дергаясь, словно в припадке, яростно выкрикивал непонятные мне слова.

Его принимались урезонивать, а если не получалось, кричали: «Генералов!» И рыжеватый, маленький, похожий на взъерошенного воробья сержант Генералов властно командовал: «Отставить матерки!»

Я рассказала эту историю отцу, а отец – что он часто делал – пересказывал её своим приятелям. Особенно понравилась она его другу Андрею Платонову.

Отец вставил эту команду в роман «За правое дело», и когда книгу стали ругать в газетах, досталось и этой фразе – искажает, мол, Василий Гроссман моральный облик армии.

Чего он вдруг начинал буйствовать, этот мужик, один в огромном спокойном вагоне? Что это было – страх смерти? Клаустрофобия? Просто присущая ему нервозная агрессивность?

И этого помню, и его мне теперь жаль. Каковы бы не были причины, в одиночку маялся бедняга.

Все же быстро человек ко всему привыкает. В этом странном, казалось бы, невозможном существовании появляются свои привычки, неистребимое желание наладить быт. Чего стоят одни лишь эти отчаянные мужички, которые, как только поезд подходит к станции, хватают чайники и бегут за кипятком. Ведь всем известно, что эшелон может простоять на станции трое суток и с той же степенью вероятности немедленно продолжить путь. Так

что кипятки всегда в вагоне есть.

Питаемся мы стихийно: иной раз дают на станции какие-то талоны, а то меняем что-то на еду. Таков наш новый бытовой обычай.

Я уже рассказывала о нарах, устроенных для детей. Знали ведь, что всего на несколько дней. Но еще многие и многие скажут спасибо неведомым плотникам, обнаружив эти столь уместные в тесном вагоне полати.

Быстро завязываются знакомства, и интересы не ограничиваются одними только «когда?», «куда?» и «на каком пути?» На одной из станций мама покупает томик Пушкина. С нами едут два брата, молодые польские евреи, плоховато говорящие по-русски. Они просят «дать им эту книжку почитать» и приобщаются под стук колес к великой русской литературе. У тетки тут же возникает желание самой перечитать повести Белкина. Мама стыдит ее: «Неудобно, нехорошо. Люди впервые Пушкина читают». Вот так мы и живем.

Это, конечно, жизнь, но жизнь на зыбком песке и терпеть это можно, лишь утешаясь мыслью, что когда-то оно кончится. Едва прижились в Бог весть каком по счету вагоне и уже снова вылезать, бродить по станции, искать, расспрашивать. Хорошо ещё если днем. А могут растолкать и ночью, в час самого крепкого сна: «Вставай, вставай, Катюшка, ну, проснись же, надо идти».

Ночь холодная, сентябрьская, непроглядно чёрная, так черна, что отсвечивает каким-то темно-фиолетовым цветом матросского бушлата или засохших чернил. Нигде ни звездочки, ни искры – маскировка.

Спать хочется до смерти, хочется в сон, в тепло телячьего вагона, откуда почему-то меня вытащили мама с тётей и поволокли сквозь тьму, и я иду и ничего не спрашиваю, и ничего не вижу, только переступаю через рельсы; тетя и мама тормозят, тянут меня, и мы втроем, с вещами всё перешагиваем через рельсы, а иногда обходим вагоны или целые составы. Большая станция, узловая, но не видно ничего, и лишь одинокий женский голос поет что-то унылое, вроде бы колыбельное, напев странный – русский и нерусский... Поволжский? Областной?

Мы бредем, переступая через рельсы, тьма бушлатная, тьма непроглядная, а голос все поёт.

Война. Россия.

Но вот пошли пески и степи в колючках, и на одной из степных станций мы выходим. Здесь, кажется, закончилась наша кочевая жизнь и начинается оседлая. Наконец-то приехали: станция Джусалы.

Одно из первых впечатлений – надпись на станционном заборе: «Кто привяжет лошадь – штраф 3 рубля, за верблюда – 5 рублей, за ишака - 10».

В небе ни облачка, ослепительно сверкает солнце, земля потрескалась от жары.

Джусалы – заводской поселок. Завод кормит, завод дал жилье. Мы бредём по раскаленной улице с узлами и чемоданами и среди маленьких типовых домиков находим тот, который нужен нам. Дом открыт, нас встречает мой двоюродный брат Гога, почти взрослый – ему 15 лет. Он почему-то предпочитает, чтоб его называли Жора, но этот номер не проходит в нашей семье.

С Гогой мы уже знакомы. Весной 41-го года он с родителями приехал в Киев повидать всех нас. Тётю Марусю я не помнила, видела её лишь в раннем детстве, но очарована ею с первых минут. Я и не представляла себе, что бывают такие тётки. Хожу за нею хвостиком и так жажду сближения, что даже съела её таблетку. Маруся часто принимает таблетки, у неё больное сердце. Но она спокойна, обаятельна, весела. «Тётя, я съела твою таблетку. Что теперь будет?» Тетя невозмутимо отвечает: «Умрешь». «Как умру? – я в ужасе. – Нет, правда?» «Я правду и говорю». Подразнив меня немного, поясняет: «Каждый смертный обречен на смерть».

В Киеве, когда у её мужа кончился отпуск, врачи не разрешили ей уехать вместе с семьей. Вскоре после этого её положили в больницу.

Одна из трагедий войны. Какое множество людей прихлынуло на теплую, благодатную Украину – провести отпуск, повидать родных, а назад уже не все вернулись. Марусю подлечили, выписали из больницы, но умерла она в оккупации. Так в Джусалах осталось двое из четырех человек. Старший из братьев Коля только что окончил лётное училище и уже воевал.

После улицы комната кажется темноватой и прохладной. Уморило жгучее сверканье. Ах, что это за комната! Я словно очутилась в какой-то сказочной светёлке. Повсюду чудесные белые кружева. Кружевные занавески на окнах, мебель вся укутана белоснежными покрывалами.

Очень скоро я обнаруживаю, что мебели в доме нет. И стол, и шкафчики, и тумбочки, и этажерки – это ящики, самые простецкие, из грубых необтесанных досок. Как же это – инженер и в ящиках живет? Тут я вспомнила: Николай Ефимович, тетин муж, неуживчив и постоянно переходит с одного места работы на другое. Соответственно меняется и место жительства. В каких только городах он не побывал, постоянно забираясь всё дальше, всё глубже. Таких людей называли тогда «летунами» и авторитетом они не пользовались.

Фактически глава семьи – тетя Маруся, её ценят в любой школе, где б она не оказалась, но она скромно держится в тени. Бабушка рассказывала, как-то ездила к ним в гости, и никто не слыхивал об инженере Гончарове, но учительницу Марию Петровну знали все.

Ну что ж, теперь понятно, почему Джусалы и ящики вместо мебели. А я тут расплакалась, что поезда менять приходится. Это ведь война, всенародное бедствие. Да и не так уж долго будем мы кочевать.

А она, Маруся, кочует всю жизнь, с двумя детьми, с капризным, вздорным мужем и живет, как выражается одна моя знакомая, «в палках и тряпках».

Удивительно, как сохранила она при этом свою жизнерадостность, светлый характер, умение превратить любую дыру в уютное гнездышко, воспитать хороших сыновей. Подумать только, в каких переделках она побывала, хрупкая, интеллигентная женщина с большим сердцем. Это ли не война, пожизненная битва.

А начиналось все так романтично. В Первую мировую войну молоденькая учительница гимназии писала на фронт письма молодому храброму офицеру. Оба были очень хороши собой, и, когда молодоженов поздравляли, никому и в голову не пришло, что он станет «летуном» – бродягой.

В Джусалах мы прожили примерно месяц. Я ходила в школу, где учились русские, казахи, а кроме того, и корейцы – говорят, их откуда-то переселили. В нашем классе набралось их много и, хотя они друг другу были не родня, но фигурировали почему-то только три фамилии: Ким, Пак, Тэн. Называли они себя забавно: фамилия и имя – слитно, это звучало, как причудливое полное имя: Паклена, Кимтоля. Так и остальные стали их называть.

На уроке литературы учительница задала странный вопрос: «Кто видел лес? Поднимите руки». Я удивленно огляделась и увидела одну единственную поднятую руку.

После уроков я бродила по степи, сочиняла на ходу стихи, где тосковала по своей прекрасной Украине. Но степь притягивала необозримым простором. Я шла и шла по жесткой, как железо, земле, из которой торчали крохотные колючие кустики и виднелись какие-то круглые дырочки. Иногда неизвестно откуда вдруг раздавался свист. Я огляделась и увидела маленький столбик. Потом ещё один, потом ещё. Да ведь это суслики выскакивали из круглых дырочек, своих норок. Степь ожила и стала мне милей.

Кормились мы при заводе. Я уж не помню, кажется, мама и тётя временно устроились туда работать. Кормили нас хорошо, и мы не сетовали на твердую неизменность меню: суп рисовый, рыба жареная с рисом, дыня. За рыбой посылали грузовик на Сыр-Дарью. Еще бы нам сетовать – за всю войну это был единственный месяц, когда мы ели досыта.

Тихий месяц отдыха, без событий, в ожидании свирепой континентальной зимы. Спасибо Гончарову–летуну. Хозяином он оказался гостеприимным.

Событий не было, но был, скажем так, эпизод, который крепко врезался в моё сознание. Мы каждый день слушали радио, конечно. И оно нам изо дня в день сообщало, что «после упорных, продолжительных боев наши войска

отступили, выравнивая линию фронта». Эта ссылка на мифическую целесообразность отступления в один прекрасный день вывела маму из себя. Она, как говорится, взорвалась. «Выравниваем», – проговорила она с яростью. – «Вот так и будем выравнивать да выравнивать, пока не воссядем здесь на песках во главе с великим вождем!»

Слова «великий вождь» я услышала от мамы впервые, и интонация была недвусмысленна. Ах вот как мама говорит о Сталине! Интересно. Фраза была неожиданная, но я не удивилась. В нашей семье никогда не толковали о политике и не упоминали имена вождей. Зато в детском саду и в школе их упоминали постоянно. Именно это меня, наверное, и подготовило.

«Всё в церковь, в церковь, мама... Забыли уже, как из-за вашей церкви нас чуть всех не пересадили». Это очень странные слова, но я не удивилась. Я просто их запомнила. Взрослые ведь часто говорят нечто непонятное, и я привыкла.

Некоторые непонятности застревают в памяти. Ну вот, как это: «чуть не пересадили». А когда я приехала из Бердичева в Киев и рассказала об обычаях «того» дома, тётя задумчиво сказала: «Хорошо им – по-французски говорят. А нам как быть? По-украински? Так ведь она всё понимает». Было ясно: «она» – это я, и от меня и в Киеве, и в Бердичеве постоянно надо что-то скрывать. Но что именно, я и догадываться не пыталась.

Слова о бабушке, которая чуть не пересадила всю семью, наверно, выплыли из прочего забытого потому, что через много лет мама мне рассказала: во времена репрессий против духовенства бабушка участвовала в акции спасения монашек из наших киевских монастырей. Их переправляли из квартиры в квартиру, из коммуналки в коммуналку. Была в Киеве такая цепочка, и бабушка в ней участвовала, приводя в трепет всю семью.

С лютой местной зимой, которой мы, полураздетые, так страшились, нам с мамой встретиться не пришлось. Посыпались письма: с фронта и из Ташкента. В одном штабе с отчимом служил под его началом молодой человек из Ташкента. Его родители приглашали нас поселиться в их доме. Мы уехали в Ташкент все вместе, но тётя вскоре вернулась, правда, жила она уже не в Джусалах, а в каком-то кишлаке.

Привыкшие к поездкам, мы не опасались этой последней в глубоком тылу. Но поездочка запомнилась. Такой с нами и под бомбами не бывало.

Поезда идут беспрестанно и все битком набитые, не подступиться. Мы простояли на платформе несколько часов. Наконец, каким-то чудом мы оказались в коридоре купированного вагона. Кажется, впервые за все эти месяцы попали в «купейный». Эдакий уютный довоенный вагон.

Я не знаю, как мы в нем очутились, – с отчаянья, что ли – но стоять там

было нельзя. Четко помню, что я стояла на одной ноге, да и то не твердо. Со всех сторон меня толкали: «Девочка, где ты стала? Здесь нельзя стоять, убери ногу». Мы всем мешали, нас толкали, пытались сдвинуть, только вот сдвинуть было некуда – плотная толпа со всех сторон.

«Может быть, в купе будет немного посвободней?» – спросила тетя с несвойственной ей робостью.

«В купе?» – тут же откликнулся из ближнего купе оживленный мужской голос. Столь оживленный, что чувствовалось: дождался. «Какие господа тут сели, им купе подавай! Прямо так для них и приготовили. Купе они хотят, отдельное...»

Тётя пыталась что-то объяснить, но только подлила масла в огонь. «Ах, им купе отдельное, ишь чего захотели... Да уж, это господа».

Я была в смятении. Издевался над нами солдат. Всё, что он произносил, было оскорбительно и глубоко несправедливо. Мы и до войны-то господами не были – не в профессорских хоромах, в полуподвале – а сейчас – замученная, на одной ноге.

Ему надо объяснить, но тётя уже пыталась. Неужели же он сам не понимает, что мы не требуем отдельного купе? Ясное дело, понимает, просто развлекается. Надо всё же что-то сказать, вступить с ним в спор. С бойцом Красной Армии, защитником родины?

Но ведь и слушать этого нельзя. Собрав все душевные силы, я негромко, но внятно сказала: «Вы хоть и боец, но дурной».

Женский голос с сильным иностранным акцентом испуганно и удивленно переспросил: «Бойца дурной?» И это как-то увязалось в единый узел: удивление, испуг, акцент.

Неужели даже тогда я, маленькая и наивная, соображала, что люди с недавно завоеванных нами земель не представляют себе, как можно возразить солдату, как можно сказать ему: «дурак», «дурной», я всё же выбрала синоним помягче.

Но я помню, я понимала тогда: я могу сказать солдату, что он глуп, а эта женщина с акцентом не может, ибо меня удерживала – да и то вначале – только боязнь оскорбить его, а женщину – страх перед ним.

Я своя, я могу, я д о л ж н а сказать солдату, что он ведёт себя скверно, а эта женщина постоянно готова к тому, что все наши солдаты ведут себя скверно.

Кстати, солдат замолчал.

Ташкент встретил нас приветливо, но мечта об осёдлой жизни исполнилась только наполовину. Железная дорога осталась в прошлом. А с кочевым образом жизни нам расстаться так и не удалось. При самых добрых

отношениях с хозяевами мы то и дело перебирались с квартиры на квартиру, и если бы все они располагались в далеких друг от друга районах, мне за четыре года в Ташкенте пришлось бы сменить шесть школ. В действительности обошлось тремя.

Наши первые хозяева, которые нас пригласили, жили в собственном домике с большим садом. Люди они были очень милые, в свои пожилые годы еще красивые, седой майор с молодым лицом и его белокурая супруга. Вспоминаю их с теплом. Нам отвели отдельную комнату. В первое же утро я отправилась в сад. Там оказался маленький пруд, в котором плавали странные коричневые шарики. Я подошла к краешку пруда и вытащила из холодной ноябрьской воды один таинственный шарик. Сняла мягкую оболочку и увидела грецкий орех. Почему-то это меня поразило. До сих пор я видела эти орехи только в кулечках, принесенных из гастронома. А тут огромное дерево возле пруда роняет их то на землю, то в воду.

В доме было много книг, в том числе необъятное собрание сочинений Горького. Те несколько месяцев, что мы прожили в этом доме, я читала его запоем и начиталась так, что никогда больше к нему не возвращалась. Странное это было чтение. Ни один писатель не вызывал у меня столь противоречивых чувств. Кого-то я полюбила и всю жизнь перечитываю. Кого-то в руки не беру. Горького я совсем не полюбила, он был мне неприятен, отталкивал даже, но в то же время затягивал, и я читала жадно, перечитывала и не раз, с каким-то чувством, похожим на стыд. Всё во мне против него восставало, но оторваться я не могла. Не зря же вырвалось у меня слово «запой». Очевидно, я оказалась в плену у большого, чуждого мне таланта, выплатила дань и освободилась навсегда. Правда, пьесы его мне понравились. Я смотрю их с удовольствием и не порицаю себя.

И откуда только время находила читать немилого писателя часами? Война подбросила много недетских обязанностей. Взять хоть эти километровые очереди за хлебом. Стоишь часами, холодно, темно, отбежишь согреться и назад с тревогой – найдешь ли свое место в этой толпе, где у каждого свой номер, нацарапанный чернильным карандашом на ладони или клочке бумаги. Из-за прочих дел я всегда попадала во вторую тысячу и номерок носила четырехзначный. Иногда случалась путаница: от кого-то вдруг ответвлялся второй хвост. Что творилось тогда: крики, слезы, чуть не драка. Шуточное ли дело – три четыре часа простоять не в том хвосте за самым необходимым – тяжелым черным хлебом. Но люди – не звери, во всяком случае, тогдашние люди. Смутно помнится: «настоящая» очередь милостиво вбирала в себя «неправильный» хвост, через три человека по одному «стояльцу». Ввели карточки, и эпопея эта кончилась. Но какой же маленький кусочек хлеба доставался мне теперь!

Мама устроилась вольнонаемной в Академию связи. Её взяли на должность кассирши в столовой. Каждый день после уроков я брала судки и отправлялась к маме на работу. А работала она далеко. Я проходила мимо часового, как правило, беспрепятственно, шла в её кабиночку и тут же принималась писать чеки:

Борщ Гуляш Каша греч.
1 порц. 1 порц. 1 порц.

К тому времени в кабинке уже сидели два или три молодых офицера. Это были мамнины поклонники, совершенно добровольные помощники, их никто не присылал. Чеков на всю столовую ежедневно требовалось такое множество, что их могла бы произвести только специально сконструированная машина. Но машины такой не было, а с помощью маминих поклонников мы впятером справлялись.

Начинался обед, я подхватывала судки и шла к окошечку вольнонаемных. Гуляшей нам не полагалось. Обычно суп из грубой непросеянной муки, знаменитая затируха, известная в народе под довольно неприличным названием. Если на второе давали рыбку, я несла её в тарелке на базар, чтобы продать – чего там только не продавали – и купить побольше черного хлеба. Все мои торговые операции во время войны сводились к тому, чтобы купить как можно больше черного хлеба. Столовая военной академии в те времена представляла собой весьма сложное по структуре учреждение. Там я впервые столкнулась с четким представлением о ранге.

Структур, собственно, было две: военные и сотрудники столовой. Как обстояло с рангом у других вольнонаёмных – машинисток, секретарш, уборщиц, мне неизвестно, знаю лишь, что завидовать им не стоит.

Слушателей, будущих офицеров-связистов кормят хорошо и сытно. Мясное первое и второе, закуски (чаще всего винегрет), компоты. Блюда офицерской столовой отличались некоторой изысканностью. Год спустя открыли уж совсем элитную – генеральскую. Правда, единственный генерал, начальник академии генерал-лейтенант Курочкин в столовую не ходит. А посещали генеральскую два полковника и майор Розанов, начальник интендантской службы. Обслуживавшая высшее начальство рыженькая официантка Рита как-то принесла нам с мамой варенье из лепестков розы, прибывшее аж из Болгарии. Питаемся мы ужасно, но деликатес из лепестков мне не понравился. Наверно не забылись банки с вишневым, земляничным и прочим вареньем, стоявшие у бабушки в стенном шкафу.

Состав служащих столовой разнообразен, но основа его – одесситы. Атмосфера «города у моря» чувствуется на каждом шагу. Здесь весело и суетливо. Здесь быстро, громко, оживленно говорят, вплетая в речь забавные

и не всегда понятные словечки. Здесь много шутят и обожают розыгрыши. На 1-е апреля кладовщика Филю замучили «вызовами к начальству». Здесь быстро ссорятся и мирятся. В окошечко маминой кассы всовывается смуглая физиономия с лукавыми глазами и бархатным поющим голосом осведомляется: «Здесь живет кассирша Гала?» Это официантка Тася – пришла мириться, поссорились из-за какой-то чепухи.

Самый главный одессит – директор. Иосиф Захарович Мехлис, брат большого советского начальника. Неплохой нам достался директор – толковый и добродушный. Подчиненные подсмеиваются над его привычкой – крикнет: «Я уже иду!» и уходит в другую сторону. Бывает, кто-нибудь его за это упрекнет – он хохочет, и все смеются.

Следующая по рангу шеф-повар Люба, толстая, чернявая, похожая на негритянку, важная, с половником в руке. Повара – аристократия столовой: сами сыты и все родственники сыты.

Дальше следуют наиболее приближенные к кухне – официантки, им немало перепадает. Все они осваивают новую для них профессию. Кроме Мани Вилькиной – она и до войны работала в каком-то ресторане. Маня любит «показать класс». Повара накладывают ей на протянутые руки семь тарелок второго и она несет их без подноса. Так же, только кистями рук, прихватывает она три полные тарелки с дымящимся борщом. Я у нее кой-чему научилась: захватить три тарелки руками умею, но всё же не с первым, а со вторым.

В дальнем конце столовой ведущие вниз ступеньки. Там в подвале работают в двух комнатах старухи. В одной из них, наполненной жирным паром, орудуют «посудомойки» с красными, распухшими от горячей воды руками. Здесь жарко и шумно. Хлещет из открытых до упора кранов вода, хлопают двери, вбегают официантки, что-то кричат, со звоном брякают на стол подносы с грязной посудой и со звяканьем уносят чистую.

В соседней комнате – «корнечистки», мрачные, похожие на шекспировских ведьм, молчаливо и угрюмо чистят овощи. Их соседки тоже не блещут красотой. Одеты и те и другие в какие-то рваные тряпки.

На первый взгляд, здесь обитают парии столовой. Но я подозреваю, что близость к кухне и непосредственная связь с «продуктом» ставят их на лестнице «голоден – сыт» много выше, чем опрятно одетых бухгалтерш.

Переоденется шекспировская ведьма у себя дома во все чистое и хорошо покушает, одна или с семьей. А бухгалтерия расположена в коридоре, еще дальше от источника еды, чем наша касса. Мамина приятельница Мила, первая красавица Академии, стройная, с точеным личиком и дивными сероголубыми глазами, недавно упала в голодный обморок.

Мамина кабиночка находится на территории столовой, но с источником еды не связана, и мы ведем полуголодный образ жизни. Нам достается то,

что осталось у официанток. Славная девушка Таня Ловчина, невеста слушателя, иногда подсовывает мне тарелку супа.

Кто еще? Хлебoreзки, этим живетcя недурно: иногда там появляются белые булки, а их рыночная стоимость выше хлеба.

Кладовщик Филя – человек независимый и тоже не жалуется на судьбу.

Вот такой обширный табель о рангах по принципу «голоден – сыт». Но случаются дни, когда все мы сыты. В пустыню едет грузовик и возвращается наполненный черепаками. Деликатесное блюдо готовится наспех, там и осколки косточек, и чешуйки, и коготки. Но никто не жалуется. Много. Вкусно.

А вот у нашего окошечка вольнонаёмных толпятся прикрепленные к Академии преподаватели одного из московских институтов. Столько лет прошло, а ужас этот жив. Распухшие от голодных отеков, растерзанные, растрепанные. И этот запах – почти у всех недержание. Подходит слово «опустившиеся», но говорить его – грех. Они больны, и тяжело больны, страшной длительной голодовкой. Да и сейчас им одну затируху дают.

Когда я выхожу из Академии и иду по длинному, широкому проспекту мне каждый раз встречается одна и та же воинская часть. Тоже, видно, учатся, как наши связисты, тоже в скором времени отправятся на фронт. Молодые ребята, и лица такие хорошие. А других, наверно не было в призыв 41-го года. Чудесные ребята все – и те, что ехали с нами в товарном вагоне, и наши слушатели, и эти, встречные, которые всегда поют одну и ту же песню. До сих пор мотив не забыла. И хоть была эта песня явно маршевая, но звучала грустно, и красноармейцы пели стройно и красиво: «Эх, конники, бесстрашные, отважные, вперёд! Имя Морозова, славное имя, наша дивизия несет».

На меня как туча надвигалась. Такие ребята, и не сегодня-завтра им на фронт, откуда многие уже не возвратятся, и про какого это Морозова они поют? Неужели они Павлика Морозова славят и с его именем собираются умереть? Мне хотелось думать, что их дивизия несет имя какого-то другого Морозова, может быть, героя какой-нибудь войны, о котором я, правда, никогда не слыхала, да и никто не слыхал. Но мне так хотелось, чтоб это был кто угодно, только не страшный Павлик, о котором нам так много и хвалебно рассказывали в школе, дома же не говорили никогда. Защита наша, чудные ребята, и чьим именем они себя осеняют?

При таком отношении к армии стоит ли удивляться, что я до сих пор помню эпизод на перегоне Джусалы – Ташкент, о котором бы давно забыла, если бы в нем не участвовал солдат. Единственный солдат – не защитник, которого я встретила во время войны.

А ребята и впрямь были хорошие. Взгляните на старые фото – какие лица.

В конце зимы к нашим симпатичным хозяевам переехала невестка с их маленьким внуком. Нам пришлось искать другое жилье. Начались хаотичные переезды, то ли с худшего на лучшее, то ли наоборот. В самом деле, что вы предпочтёте: тёмную проходную комнату, через которую ходит большая семья, в том числе мужчины? Или поселиться в одной комнате с хозяйкой и её четырехлетним сыном, который ездит целый день верхом на палочке и бодро поет: «В бой за Родину, в бой за Сталина, догояга честь нам догояга!»

Мама усталая, с трудом просыпается утром, и однажды опоздала на двадцать минут. За это судят, она получила повестку. Вышел судья, осанистый, немолодой узбек. Усмехнулся, подмигнул и спросил насмешливо:

«Пра-агульщики пришли?» Потом всех отпустил.

Судья этот поступил разумно: не стал наказывать и срывать с работы людей, которым и без того тяжело. Вот это-то и есть то самое «по понятиям», которое так бесит наших либералов. «Понимать» ведь слово с положительным смыслом.

В начале лета приезжает отчим. Отвоевался быстро. Глава семьи вернулся с фронта почти невредимым. Что может быть большей радостью для семьи? И я ликую, я бегу бегом до Академии, потом назад, тоже бегом и сообщаю на бегу каким-то людям: «Отец вернулся с фронта!» На один день произвела в отцы. Застаю его в нашем дворе, где мы с мамой уже два угла сменили. Он читает нашим ребятам Сельвинского. Они внимают почтительно и удивленно. Ликование мое меня пока не покидает, но мелькнула тихая мысль: «Он ведь всегда был такой».

Зачем он, спрашивается, читает нашим дворовым хулиганам сложные, непостижимые для них стихи? А на принесенный мной обед и не взглянул. Ничего удивительного. Он всегда делает то, что ему хочется. Он рафинированный интеллигент и ему нравится Илья Сельвинский. Вот он и приобщает случайных слушателей к культуре, как добрый барин крестьянских детей. Завтра он о них благополучно позабудет, как не думает сейчас о волнении жены, только что узнавшей о его приезде. О том, как «девочки» из столовой собирали для фронтовика парадный обед. Не понимает, что я только что промчалась бегом несколько километров.

Некрасиво выглядят эти обиды? После ужасов войны человеку хочется читать стихи, а не набрасываться на еду. Как он относится к еде, я узнаю весьма скоро. А еще скорей мне придется вспомнить последний предвоенный год.

Мама вышла за него замуж в 39-м. Она очень долго колебалась. Он преданно любил её со школьных лет и настойчиво добивался её руки, терпеливо переждав её первое и второе замужество. На беглый взгляд – отличная партия. Он умен, интеллигентен, остроумен. Спиртных напитков

практически не употребляет. И внешне весьма недурен – высокий, белокурый, со светлыми глазами и очень правильными чертами лица, унаследованными от отца поляка. И по службе продвигается успешно. А какой уж верный, на женщин и не глядит. Для него лишь одна существует.

Но что-то с ним не так. Чего-то необходимого не хватает и в то же время какая-то неприятная странность вызывает опасливое отношение. Да ещё бродят слухи, что он когда-то в детстве покушался на самоубийство. Мама так опасалась, что весь первый год мы с ней прожили на прежнем месте, в нашей семье, а Виктор только в гости приходил. Тем более, что кроме туманных опасений, её страшил суровый нрав свекрови, не одобрявшей этот брак.

Но вот она решилась, наконец, и год спустя мы к ним перебрались.

Мы жили в смежных комнатах – я, мама и отчим в проходной, свекровь в отдельной. Высокая толстая старуха с мрачным лицом за весь год не сказала нам ни единого слова. Зато с Виктором я познакомилась, как следует. Он сразу невзлюбил меня, пошли придирки, затем и побои. Он дрался как-то странно: толкнет, и я лечу через всю комнату, от стенки к стенке. Ни разу в жизни, ни до, ни после меня не бил взрослый мужчина. А ещё я утратила вольность и превратилась в девочку на побегушках. Мой бессознательный отпор проявился очень скоро: если меня посылали за папиросами, ждать их приходилось два – три часа, а то и больше.

А что же мама? Почему она сразу же за меня не вступилась? Ведь то, чего она опасалась, он продемонстрировал во всей красе. Мы узнали, чего в нём нет. Всего-навсего сути душевно здорового человека. А то опасное, что чудилось в нем, был злой дух, толкавший его на дикие, непредсказуемые поступки. С мамой что-то случилось. Колебалась она долго, но, решившись, прожила с ним до конца всю жизнь. Мало того, он стал для нее главным человеком. И что самое удивительное – она не любила его, мне это доподлинно известно.

Мама прожила с ним почти сорок лет, я – пятнадцать, но мы так и не узнали, была ли у него шизофрения или какая-то иная хворь. Детей мама иметь от него побоялась.

Есть масса случаев, они нашли отражение в книгах и главным образом в кино, когда травмированный войной или тяжелой раной человек становится невыносимым для любящей его семьи. Это не наш случай.

Тяжелой раны не было. Было обморожение и небольшая операция пальцев на ногах. Возможно, с такой травмой тоже отпускали на гражданку. Но Мересьев продолжал воевать без ног, что уж говорить о двух слегка подрезанных пальцах. Человек, стремящийся защищать родину, непременно

вернулся бы в строй. А он стремился защищать родину. В первый день войны он в благородном порыве бросился в военкомат, он был одним из первых. Что же там случилось в штабе, не знаю. Виктор почти не говорил о фронте, но из немногих фраз можно понять: плохо ему там было. Плохо на войне, потому что страшно. И плохо в штабе, где его как-то обижали, не считались с ним, не уважали его. Прирожденных воинов не так уж много. Война – аномалия, и обычный человек не рожден для войны. Но война приходит, и сугубо штатский человек вдруг обнаруживает, что воевать он умеет. И поминает её, проклятую, и злом и добром, и на всю жизнь сохраняет фронтовые дружбы.

У Виктора не было фронтовых друзей, как вообще не было никаких других. А что до воинских талантов, он явно там не пригодился. И если вспомнить, как он рвался в первый же день воевать, как не понять: не обмороженные пальцы, а глубокая психологическая рана пронизала его, лишив иллюзий. Он покинул фронт, полный ненависти к ужасам войны и к портянкам, которые так и не научился наматывать, и к зловредным штабистам-соратникам. И он с бешеной радостью принялся вымещать всё это на мне.

Возможно, он бы разрядился наконец, и начала бы понемногу остывать сжигавшая его ярость. Но в тылу его ждал еще худший форс-мажор – голод. И как голодный зверь терзает жертву, так он мучил меня все эти три года.

Чего он только не вытворял! Разговорится вдруг со мной по-хорошему, сочувствует мне, а оказывается это была провокация. Я растрогалась, пустилась в откровенность, упомянула какой-то пустяк, мелкую свою провинность, которую не стоило и вспоминать. И он с бесовской радостью кричит: «Я потешался над ней! Я потешался!»

Колотил он меня, как сидорову козу. Но что было в нем самым ужасным – манипуляции с едой. Менее всех в семье занятый, он взял на себя приготовление пищи. И какую изобретательность проявлял. Такого голода, который начался при нем, такой дискриминации я до тех пор не знала. В семье, сидящей на голодном пайке, мне многое не доставалось. Скажем, специально для меня варил пустую кашу, не заправленную даже хлопковым маслом. Не зря я одна из троих заболела голодным туберкулезом.

По-моему, я написала мелодраму. Причем такую, где не все концы с концами сходятся. Тем не менее в рассказе об отчине нет ни слова неправды. Всё было именно так. Тогда что же не сходится? Я подумала и поняла: эта история написана не мной теперешней. Во мне ожила двенадцатилетняя девочка, которая искренне выражает свою справедливую обиду, ненависть и боль. В её рассказе все просто: злой отчим и Золушка. То, что Золушка не

отличается смирением, в её жизни ничего не меняет. Строптивая Золушка заслуживает не меньше сочувствия, чем кроткая.

На эту мысль, что я пишу от имени двенадцатилетней девочки, меня навели возникшие в процессе работы несообразности. Ну, как могло мне взрослой прийти в голову, что в 42-м году кого-то комиссовали оттого, что он плохо воюет и не храбр, как Мересьев? Что касается чтения стихов, оно и понятно и трогательно, и всё же и теперь не откажусь от своих тогдашних впечатлений. Впрочем, важнее всего другое: наша дальнейшая жизнь. Строптивной девочке еще предстоит прожить в семье много лет и много нового узнать о своем мучителе.

В мирные годы, когда все сыты, а отчим занимает солидный пост и пользуется общим уважением, он во многом меняется. Иные его черты превращаются в диаметрально противоположные. На смену жадности приходит щедрость. Виктор требует, чтобы мне шили не меньше платьев, чем маме, его любимой жене. Все, что причитается ей, полагается и мне, даже лучшая в городе косметичка, хотя в 15 лет она мне совсем не нужна. Я падаю в обморок, врач обнаруживает у меня туберкулез, и меня лечат лучшие врачи в городе. Позже он проявляет большую заботу о моей личной жизни, иногда здраво, но часто бесцеремонно. Меня сбивает автомобиль, и он плачет в непритворном горе. При этом он все так же бешено вспыльчив, деспотичен, иногда дает волю рукам. Но теперь, пожалуй, чаще достается маме. Я по-прежнему его боюсь.

Что до странностей, то они расцвели пышным цветом и у нас с мамой уже не остается сомнений в том, что это тяжело больной человек. Какой-то новый бес из него выскочил. Однажды у него была галлюцинация – он выбежал голый из ванной, но галлюцинация была такого свойства, что он не рискнул обратиться к врачу. В годы войны мне было ясно: он злой и подлый. А узнав дальнейшее, что скажешь? Тяжело больной, несчастный человек, делающий несчастными всех, кто от него зависит. Зависеть от него я перестала, когда, окончив институт, отработала год учительницей в Донбассе. Вернулась ухаживать за тяжело заболевшей мамой и при первом же его наскоке пригрозила, что вернусь обратно в Донбасс. Он рассыпался в комплиментах моей взрослости и самостоятельности. Вероятно, испугался, что придется ухаживать за лежачей больной. И вообще меня, независимую, испугался. Но маме потихоньку капал на меня. Вскоре я совсем уехала. С мамой потом они жили вполне дружно. Я ведь была раздражающий фактор. Вечное напоминание о человеке, которого мама по-настоящему любила и родила от него дочь. Он вырезал из фотографий изображения отца. Во время моей краткой отлучки уничтожил все папины письма ко мне и его книги с автографами. Ревновал безумно. Ревновал к талантливому, смелому,

обаятельному, знаменитому, сам начисто лишенный этих черт.

Всё же, почему его душевные хвори всегда так мерзко проявлялись? Натура, вероятно, играла тут роль. Кто-то сказал, что в каждом человеке живет вся семья Карамазовых. В разных пропорциях, наверно. Из Виктора чуть что выскакивал старик Карамазов. Безусловно, именно он, во время войны.

Ну, а что же мама, моя красивая интеллигентная мама? Мы с ней очень дружили в послевоенные годы, а Виктора считали нашими общим врагом. Как же она терпела все это? Я ведь уже объяснила. Она долгие годы сопротивлялась, и когда сдалась, то навсегда. У неё бывали увлечения, но по-настоящему она всю жизнь любила моего отца. Она сказала это мне незадолго до её смерти, твёрдо, не задумываясь, ответила на мой вопрос. Я это знала и раньше. Как страшно она закричала, узнав, что он умер. Оба сильно любили, другой такой любви в их жизни не было.

Вернемся, однако, в 42-й год. Единственное, что мне тогда оставалось, вновь прибегнуть к методу исчезновений. Правда, дома было много дел, да и ночевать полагалось дома, так что колотушки приходились на вечер. Судьба вскоре послала мне передышку. В Академии решили устроить пионерский лагерь для детей сотрудников. Арендовали участок возле широкого, как небольшая речка, арыка, привезли палатки, а в качестве воспитателей с нами отправились туда жены офицеров.

Предвкушая волю, я не сдержалась. Накануне отъезда, до которого оставалась одна только ночь, выпалила: «Ты мне не родной отец, не имеешь права меня бить». Получила по полной программе. Но физическая боль ничто по сравнению с внутренним чувством: «Сказала наконец-то! Давно собиралась». Родной отец, кстати, присвоенным ему правом не пользовался – ни разу в жизни меня пальцем не тронул.

В лагерь мы приехали под вечер. Было нас не много – двенадцать человек. Обнаружив рядом с нашим поселением виноградник, мы тотчас ринулись туда. Нас не смутило, что виноградники так непохожи на настоящий виноград: маленькие, тверденькие, тёмно-зелёные. Да и на вкус оказались уж очень кислы. Мы были дикой оголодавшей ордой и, как положено такой орде, поглощали без удержу уксусно-кислые, незрелые ягоды. На следующее утро весь лагерь превратился в лазарет, что с нами творилось, вспомнить жутко. Воспитательницы нас лечили, как водится, в основном марганцовкой, попутно внушая, как вреден и опасен незрелый виноград. Да мы и сами не жаждали повторения. Мы вскоре оклемались, и началась вольная жизнь.

Я подружилась с двумя девочками. С хорошенькой черноглазой Лялей, дочерью машинистки с какого-то из верхних этажей; я её немного знала -

наши мамы раньше нас нашли друг друга. И с дочкой нашего директора – вся в папу, толстенькая, носатая и совсем не задавалась. В ней одно только меня смущало: рассказы о московском дяде, у которого и роскошная квартира, и дача, и личный шофер, и работает он вместе со Сталиным. Я уже до этого встречала девочек, придумывавших себе несуществующих родителей. Знать бы мне, с какими фантазерками мне еще предстоит встретиться в дальнейшем и даже очень скоро с одной из них. Райка же, как оказалось, не врала. Когда я вернулась в город, мама подтвердила, что брат нашего директора – занимает высокий пост в Москве.

Хорошо нам было в лагере, весело и беззаботно, бегали, играли в волейбол. Я очень любила купаться в арыке. Вода чистая и теплая, ты тихонько плывёшь, забираясь все дальше и дальше, а перед глазами проплывают сказочно красивые таинственные зеленые галереи хорошо известного нам виноградника, прямо к самому берегу подошли.

Было в нашем лагере одно огорчение – мы постоянно хотели есть. Нам выделили в Академии какие-то продукты, но их явно не хватало.

Поэтому я вспоминаю, как чудесный праздник, тот день, когда на нас свалилось чудо. Вернее, свалилось оно в арык. Кто-то крикнул: «К арыку бегите! Скорее!» Мы бросились к берегу и замерли в изумлении. По темноватой воде, покачиваясь, плыли роскошные кочаны капусты. Вероятно, обронили в каком-то колхозе. Замерли мы всего на секунду, затем стремительно кинулись в воду. Их было штук двадцать, не меньше. Некоторые уж далеко отплыли, но мы догнали их и выловили все. А потом три дня, если не больше, в лагере варились щи и мы ходили сытые, довольные.

Я думаю, что в городе и Райка Мехлис и сын шеф-поварихи не голодали. Но у нас строго соблюдались правила. Все ели поровну, ни у кого не было посылок и заначек.

Здесь на вольной воле и чистом воздухе прозвучал первый звоночек: голодовка не прошла для меня даром. Мы стояли на утренней линейке, яркое узбекское солнце припекало во всю мочь, и я внезапно упала в обморок. Ни я, ни окружающие не обратили на него особого внимания. Решили: солнце напекло.

Этот лагерь, неожиданный в военную пору, был воистину подарком судьбы. Выдал первый сигнал тревоги, но, вероятно, и помог мне продержаться необходимые три года до лучших времен. Хорошо придумали отцы-командиры, а может быть, их жены. Спасибо им.

Поближе к осени мы переезжаем в Старый город. Здесь в глиняных домах живут узбеки, а также их квартиранты. Комнатушка крохотная, удобств никаких, нет даже керосиновой лампы. Но, подумать только, отдельное жилье, три ступеньки и собственная дверь. Хозяйка – немолодая вдова, весёлая,

благодушная. Мы все зовем ее «опа» (сестра), она не возражает, хотя годится мне в бабушки.

Кроме нас, она сдаёт еще две комнаты. Одна из них не нашей халупе чета – в том же доме, где живет хозяйка, и выходит на открытую террасу. Жилица маленького роста немолодая женщина, по-моему, она немного задается. А прямо против нас, в такой же, как наша, саманной пристройке – муж с женой, старики, высокие, страшно худые, в серых изношенных одежках. И сами такие же: изношенные, унылые, молчаливые. Видно, жизнь их крепко потрепала. Но видно и другое: они вовсе не от робости так молчаливы, просто им не о чем с нами говорить.

Я здесь быстро осваиваюсь. Бегаю за кипятком в чайхану, это близко, почти напротив. У чайханщика всегда гости, немолодые, степенные. Сидят на корточках и перед каждым большая красивая пиала. Неторопливо беседуют, неспешно пьют зеленый чай. Мне кажется, они всегда одни и те же. А может, так и есть.

От нашего проезда рукой подать до Нового города. Коротенький переулочек – и вот уже европейская часть: широкая улица, с шумом проносятся машины и прямо против нас Полиграфический институт, у которого под самой крышей пристроен большой черный репродуктор. Он вещает так громко, что я слушаю последние известия из нашего двора. Я слушаю их постоянно – и сентябрьским жарким утром, и сырой, промозглой зимой.

Я выходила в зимней темноте – как я теперь догадываюсь, это была последняя московская передача уже миновавшего дня – я выходила черным зимним утром, накинув мамино осеннее пальто (мое стащили с меня спящей на вокзале в городе Ржеве). Я стояла, съёжившись на снегу, кутаясь в большое, порыжевшее от старости пальто, и слушала, оставили мы или заняли ряд населенных пунктов. Я смутно представляла их себе, но мне необходимо было знать: заняли мы их или оставили, наступаем или отступаем? И не мне одной.

В класс вошла учительница, Евфалия Ивановна (учителя младших классов часто носят подобные имена). Вошла сияющая и звонко сказала, что поздравляет нас: наши заняли Таганрог. И все обрадовались. А ведь никто из нас не бывал в Таганроге и даже то, что это родина Чехова, тоже, кажется, ещё никто не знал. Но название мы слышали – Таганрог, большой город. Не населенный пункт, а город Таганрог. Нам казалось это поворот. Это случилось ещё в первый год войны.

Оказалось мы так недалеко отъехали от наших прежних углов, что я опять остаюсь в той же школе. Поначалу это меня не радует.

Уж не знаю в силу какого стечения обстоятельств, но наш пятый класс

самой обычной средней школы напоминал скорей притон или бордель. Тон задают зрелые девицы, им давно уже не 11 и не 12. Они нисколько не пытаются скрывать близких отношений с одноклассниками – тоже второгодниками, ребятами постарше. Непристойные намеки, шуточки, уславливаются о свиданиях с ночевкой. В классе царит мат. И даже девочки моих лет, которые вовсе не помышляют о «взрослой» жизни и дружат шерочка с машерочкой, эти тоже изъясняются матом. А какие похабные песни распевают наши мальчишки, какие омерзительные дикие пародии на красивые, с детства любимые.

Здесь, в этом предвестнике Куршавеля, мне приходится забыть, что четвертый класс я окончила с грамотой, что моё сочинение читала на родительском собрании любимая учительница Ольга Исаевна, а мама радовалась и гордилась мной. Здесь мне гордится нечем. Здешние заводилы очень скоро определили мое место в классе – второе от конца. Первое место по презируемости держит Витя, почему-то прозванный «астраханской селедкой», тихий, робкий, домашний мальчик. Я не очень-то домашняя и охотно лезу в драку, но здесь совсем не нужно драться, здесь нужно приспособиться, а вот об этом-то и речи нет.

Мне отвратительно всё, что меня окружает. Я здесь чужая и своей не стану. Я сжалась и терплю, но я их ненавижу. Они чувствуют мою чуждость, их раздражает моя внутренняя строптивость, и они дразнят, обижают меня. Когда классный руководитель называет меня в числе лучших учениц, раздаётся возмущенный вой – «такая» не может быть в чём-то лучшей. Я сама начинаю верить, что я т а к а я, и это хуже и мучительней всего.

Между тем в классе есть приличные девочки и к ним никто не придирается. Женя Вдовина, например, она мне очень нравится. В чём разница, я в общем-то понимаю. Женя своя, её знают с первого класса, возможно, поэтому её не коробит здешний бардак. Не исключено, что она порой сама может ругнуться. Во всяком случае, держится она непринужденно, а я зажата, во мне всё дрожит.

Как непохоже всё это на мой четвертый класс; класс тоже, прямо скажем, необычный.

Как я уже писала, мама вышла замуж незадолго до войны, и в 40-м году мы переселились к отчиму. Пришлось мне заодно сменить и школу, до прежней было далековато. Я попала в экспериментальный класс. Примерно наполовину он состоял из бывших беспризорников. Среди них были парни лет по 16-17. Класс дополнили новичками и взяли кой-кого из старожилков. Классным руководителем была у нас Ольга Исаевна Гудзенко, мать известного поэта, очень талантливый преподаватель. Она же вела у нас русский язык и литературу. Беспризорники от нас, «домашних», разумеется, отличались.

Бывали грубоваты с нами, с учителями – иногда развязны. Стоит ли удивляться, ведь не так давно учитель был для них всего лишь «фраер». Но они хлебнули бездомной жизни без крыши над головой, познакомились с милицейским участком, а кто-то и с колонией. Они сделали свой выбор и старались.

Огромную роль играла личность Ольги Исаевны, её уважали всерьёз. Бывший беспризорник Карпухно по вполне для всех понятной причине был переведен в украинскую школу. Через несколько дней на уроке Ольги Исаевны кто-то крикнул: «Карпух в окне!» Мы повернулись и увидели его сияющую физиономию. Он стоял на карнизе, держась за подоконник. Оказывается, уже не первый день. Мальчик, знавший украинский язык лучше русского, не захотел расстаться с полюбившейся ему учительницей. Его вернули к нам, потом была статья в журнале.

Володя Мачульский, бывший вор, как выяснилось, не отказался от прежних занятий. Его судили всем классом, судили жестоко его же приятели. Кто-то из них наверняка раньше тоже шарил по карманам. Ольга Исаевна руководила этим необычным судилищем. Сперва он огрызался, потом замолчал, стоял потупившись, не говоря ни слова, его смуглое лицо стало почти черным, губы дергались. В конце концов с Володей сделалась истерика. Он бурно разрыдался, его трясло, корёжило. Смотреть на это было жутко, но никто не сомневался: к воровству он больше не вернётся. Нужно ли было применять такую шоковую терапию? В этом случае, наверно, всё же да. В любой день его могли арестовать и отправить в колонию к прежним друзьям. Речь шла о том, чтобы успеть вырвать его из уголовного мира.

Можно ли сравнить этих ребят, которые на годы выброшенные из нормальной жизни не жалели сил, чтоб к ней вернуться; можно ли сравнить их с ухоженными и благополучными, которых с жиру потянуло купаться в грязи? Кто-то может усомниться, откуда известно, что они благополучные? Да знала я, просто знала, как они живут. У кого-то была дома, а у одного из самых мерзких мы с мамой угол снимали; я отлично помню его родителей: милые, добрые, порядочные люди. Налетел какой-то вирус, и вся эта братва охотно заболела сладкой жизнью с примесью садизма.

Интересно всё же, в этот злополучный год, когда я сама себе была противна, ко мне был равнодушен один наш ученик. Я узнала это от своих гонителей – они дразнили его, а он им ничего не отвечал. После этого я заметила, что он на меня часто смотрит, следит глазами. Мне это было приятно, только и всего. Я была не из тех, о ком говорят: «Из молодых, да ранняя».

И ещё об одном мальчике должна я рассказать. Тоже был хороший, нормальный мальчик, Витя Гиль. С каких-то пор у него изменилась фамилия

– он стал называться Витя Зверев. А потом он вообще перестал ходить в школу. Как я позже поняла, отец у него был немец, а мама – русская, Зверева. Об отце ничего не знаю. Одно ясно: сменив фамилию сына, мама ничего не добила, их обоих куда-то переселили.

Я всегда рассказывала маме буквально обо всём, что за день случилось. О том, как я училась в пятом классе, она узнала через много лет и очень удивилась: «Да ты ведь всё всегда рассказывала мне!» Да, рассказывала, но этот ужас я весь год держала в себе.

Вот почему я без радости вернулась в прежнюю школу. Но за истекшее лето класс сильно изменился. Гедонисты все куда-то подевались. Одни, наверно, ушли сами, а кого-то исключили. Появились хорошие скромные девочки, в основном эвакуированные. Мат ушел из обихода. Те, кто раньше лихо матерился, оставили эту привычку. Да их, «отпетых», как я выяснила, вернувшись, и год назад было не так уж много. Большая часть класса продолжала учиться, и это были самые обыкновенные дети. Та компания, что верховодила здесь прежде, состояла из более взрослых, самоуверенных и наглых. Они легко себе всех подчинили. Но по-разному: в одних пробудили нехорошие стайные чувства, другие же просто терпели.

Вот с тех пор я всегда протестую, когда слышу: «Они все такие». Не бывает так, чтоб «все такие». Но бывает, что сильные и недобрые заставляют всех казаться «такими».

Итак, шестой класс в сравнении с пятым неузнаваемо похорошел. Чем он запомнился, этот учебный год: осень, зима, весна и кусочек лета? Этот поворотный год войны и в моей жизни оказался поворотным. Я впервые узнала настоящую дружбу. Чаще всего я встречалась с двумя девочками с Украины. Никогда у меня не было таких хороших, интересных, душевно близких подруг. Они жили в европейской части города, но от меня так близко, что я добежала до них за десять минут. Внешне очень непохожие – высокая, красивая, строгая Ида и уютная черноглазая хохотушка Маня – они были неразлучны, как близнецы. Мы говорили и не могли наговориться. Шутили, смеялись, иногда каким-то пустякам. Но мы не были девочки-пустосмешки. Нас крепко связывал интерес высокого свойства – мы до потери памяти любили книги. Читали, как безумные. Я даже временно забывала за книгой никогда не покидавшее меня чувство голода.

Через год пришлось нам разлучиться – я переехала в далекую часть города. Но читательницами, как видно, мы все остались, через сорок с лишним лет я получила письмо от Мани, она поздравляла меня с публикацией «Жизни и судьбы».

Судя по моим воспоминаниям, Ташкент – самый читающий город в Российской империи и Советском союзе. Какое множество книг переходило

у нас из рук в руки. Передавали бережно, ибо по большей части книга представляла собой две корочки, между которыми помещались сложенные стопочкой пожелтевшие, с обтрёпанными краями странички. Всё это бережно хранилось, всё это с упоением читалось.

Там была и классика, русская, французская, английская, и истории о пиратах, и об американских переселенцах. Но более всего мне попадалось исторических романов. Как видно, если бывал выбор, моя рука сама к ним тянулась. Сколько же я их перечитала! Сколько стран, сколько веков! И «Аскольдову могилу» и «Пертскую красавицу», «Ирод» – Иудея, «Камо грядеши» – Рим. Но и нашего украинского Ивана Богуна не забыли и вывели его таким кошмарным негодяем, что мне до сих пор обидно.

В этом безудержном чтении впервые отчетливо выделился мой интерес к истории, книгам о прошлом. Я глотала все без разбора, но постепенно развивался вкус, я запоминала фамилии классиков, искала, отбирала их.

Зимний вечер, взрослые ушли, я одна в стоящей на отшибе мазанке, за окном в темноте настоящая буря – воет ветер, швыряет потоки дождя. Керосиновый светильник без стекла бросает свет на страницу толстой книги. Страница крупная и освещён только кусочек. Ветер там за окном совсем разбесился. Дребезжит железная печурка, тревожно мечется, вот-вот готов погаснуть красноватый, тусклый огонек. Освещенный кусочек страницы то погружается в темноту, то виден вновь. «Почему ты смеёшься?» «Я не смеюсь». «Да перестань же смеяться!» «Я не смеюсь». Я холодею от страха. Я уже поняла, откуда эта неизменная улыбка. Как ярко я всё это помню.

Хочется верить, может быть, и сейчас какие-то девочки, мальчики так же впиваются в книжные строчки. Но их мало, их во много раз меньше, чем было даже двадцать лет назад.

Наша утлая саманная каютка, даже если её не унесет ветер, всегда готова преподнести какой-нибудь сюрприз. Жизнь здесь подчас не менее опасна, чем жизнь мальчика, похищенного компрачикосами.

Однажды утром, проснувшись, я открыла глаза и увидела прямо перед собой скорпиона. Он торопливо полз по одеялу к моему лицу. Нас разделяло всего несколько сантиметров. Желтый хвост, плотно набитый ядом и черный крючок на конце, который он в меня сейчас вонзит.

Я заорала диким голосом, и мама успела переправить гадину в банку с хлопковым маслом – к счастью комнатка была так мала, что на это ушло меньше секунды. В банке чернело еще два скорпиона. Масло с утопленным там скорпионом считалось противоядием и банки эти были в старом городе в каждом доме.

А в военных действиях, за которыми я неустанно слежу, наступил решительный момент. Уже не первый месяц длится Сталинградская битва. Я

узнаю об этом не только из репродуктора. Отец пишет мне письма с фронта. Он в Сталинграде, с самого начала там, на разных участках. Да что я в самом деле! О Сталинграде говорят и знают все. Сталинград – наша надежда. Немцы это тоже понимают и обрушивают тонны металла на стоящий в развалинах, не сдающийся город. Грохот непрерывный, оглушительный грохот. Отец пишет, что читать там совсем невозможно, читать он может только одну книгу – «Войну и мир». И опять не удержусь. Как грустно, что младшие поколения так легко и торопливо отказываются именно от этой книги – нашей радости, приюта наших душ! Попадаются мне, что ли, такие? Или есть какая-то закономерность?

Я пишу отцу, что читаю в Ташкенте, он мне пишет, что читает в Сталинграде. Но о том, как они с Алексеем Каплером чуть не угодили в плен к противнику, не написал. И правильно сделал, учитывая военную цензуру. Много лет спустя мне рассказал об этом Каплер. В Сталинграде, где шли бои за каждый метр земли, отчетливой линии фронта, естественно, не существовало. Наши двое корреспондентов в темноте набрали на какую-то хату и решили там заночевать. Внезапно к хате подъехали машины, прибывшие на них люди, вероятно, тоже собирались остановиться тут на ночлег. По доносившимся со двора голосам нельзя было определить, на каком языке они разговаривают. Немцы? Наши? Кто-то ещё? Но вот приезжие вошли в дверь, зажгли фонарь, положили его на стол, и в темной хате ярко осветился потолок. Там, как на экране, отчетливо возникли тени румынских шапок. Пока румыны перетаскивали свое имущество и сновали туда сюда, наши выбрались потихоньку из хаты и скрылись в темноте. Вот такую историю рассказал мне Алексей Яковлевич Каплер. Любопытно, что её участником оказался кинорежиссер.

Хорошо нам жить в тылу, где не происходит таких случайностей. Фронт проливает кровь, тыл со скрипом живет. Скрипит, болеет, потому что голодно и жизнь тяжела, но по большей части выздоравливает. Война приносит страшные болезни, которые затихают в мирные дни.

Время близилось к весне, к очень ранней ташкентской весне. Я стояла в очереди за хлебом, передо мной было человек пятнадцать, совсем немного, ведь давно уже ввели карточки, это совсем не то, что очереди начала войны с четырехзначными цифрами на ладонях. Но стоять было редкостно невыносимо трудно. Я все же вытерпела, получила хлеб и, уж не знаю как, дошла до дома. Измерили температуру – 41, никогда у меня такой не бывало. Малярия. Не помню, сколько дней болела, помню, всё мерещилось мне пламя, какой-то котел на огне. Вылечили, как водится, акрихином.

Едва успела выздороветь, тотчас же напялила рыжее, большущее, некогда коричневое мамино пальто и вылезая из нашей конурки слушать радио. Вот

сейчас, через минуту, оно загремит. Я уже знаю о Сталинградской победе, но мне хочется собственными ушами, из привычного нашего репродуктора, услышать этот торжествующий голос. Я хочу из нашего тёмного дворика вместе со всей страной – а многие, конечно, слушают не в первый раз – узнать всё, что будет сказано о наступлении, об окружении, о блестящей нашей долгожданной победе.

А потом я иду в школу, и меня встречают веселые, оживленные лица. И невзирая на прозвеневший звонок, мы будем торопливо говорить, почти кричать о Сталинграде и о том, какое жутко трудное я пропустила по алгебре. И о союзниках. Вот они, наконец, зашевелились! Теперь, наверно, уже скоро откроют второй фронт. Пока, наконец, математик, он же директор школы, не воскликнет, войдя в класс: «Умолкните!» Наш Петя очень любит дореволюционные слова. В прошлом году на первомайской демонстрации кто-то из моих недругов пожаловался, что я шагаю не в ногу. Петр Матвеевич ткнул в меня указательным пальцем и властно произнес: «Удались!»

Всё-то он мне вспоминается, даже пустяковой обидой, этот недоброй памяти пятый класс. Я тяжело переношу одиночество, но нет хуже одиночества, чем одиночество в толпе.

Кстати, ещё до лагеря я неожиданно обрела немного странную, но дружелюбную компанию. В нескольких минутах ходьбы от нашего двора – мы еще жили на старом месте, впятером в одной комнате – протекал арык, достаточно широкий и глубокий, чтобы в нём можно было барахтаться, плавать, нырять и даже прыгать в воду с высокого камня «солдатиком» или вниз головой. Сама я плавать ещё не умела и с восторгом взирала на все эти чудеса.

Арык струился по неровной местности. На его пути возникал небольшой пригорок, и вода уходила под землю. Нечто вроде арки отмечало его новый подземный путь. Вероятно из соображений безопасности таких балбесов, как мы, арка была перегороджена вертикальной железной решеткой. За ней смутно виднелась полутемная пещера, переходившая в полный мрак, и журчала вода.

Побарахтавшись немного среди купальщиков и ныряльщиков, я поняла, что у меня есть цель. Я становилась на дно в нескольких шагах от решетки и прыгала к ней, вытянув руки вперед. Сперва у меня ничего не получалось. Я подходила к решетке все ближе, но это был уже просто прыжок, и я снова отступала назад. И вдруг оно случилось. Я почувствовала на какое-то мгновенье, что вода меня подхватила и держит. Я отступила еще больше назад, прыгнула, заколотив руками и ногами, и ухватилась за решетку. Выучилась! Сама придумала и научилась. Вот оно, счастье! А в лагерьном

арыке я уже плавала каким-то стилем. Придумала его я сама, но оказалось, он имеет название.

Вернувшись из лагеря, я снова встретила своих ныряльщиков – в основном это были мальчишки – и участвовала в беззаконном деянии, в котором почему-то все признаются без стыда. Поздно ночью мы сидели на краю какой-то крыши и вглядывались в темноту. За высокой изгородью, но очень близко от нас, среди казавшейся черной листвы белели яблоки. Мы принесли с собой очень простое, но полезное орудие. Длинная палка, к концу которой прикреплен кружок. Мы передавали этот агрегат из рук в руки, и каждый внес свою лепту в покушении на чужую собственность. Палку совали за изгородь, кружок подводили под яблоко, легкий толчок вверх – и яблочко уже в кружке. Что-то я уж очень от души воспеваю эти сомнительные подвиги. Говоря по правде, я собиралась писать о более возвышенных делах.

Круг общения у меня сильно расширился в течение этой зимы. Подружек своих я любила, но притягивали и новые знакомства. К одной из наших девочек стала ходить её приятельница, по-моему, из седьмого класса. Мне она казалась ужасно взрослой, но при этом немножко смешной. Тихий вкрадчивый голос и загадочная манера говорить, будто она посвящает тебя в некую тайну. Очень скоро она познакомилась со мной и сразу же спросила: «Ты, кажется, пишешь стихи?» Я не стала отпираться. «Тогда тебе надо ходить во Дворец пионеров в литературный кружок, – внушительно и тихо проговорила она. – У нас замечательный руководитель. И молодые поэты занимаются там, очень талантливые, они у Ахматовой бывают». Я усомнилась, примут ли меня в такое блистательное сообщество. Но наша гостья сказала, что непременно отведет в кружок и меня, и нашу общую подругу, которая, кстати, стихов не писала. Потом она велела мне прочесть мои стихи, затем таинственно и с чувством прочла свои, и они меня поразили: «А змея всё ползет, сердце точит искус, так возьми ж мою душу, о рабби Иисус». Неужели во Дворце пионеров читают такие стихи? И действительно, в кружке она ничего подобного не читала и, помнится, вообще ничего не читала. Я не знала тогда литературных течений, но в семье за моим чтением следили. И хотя в то время наряду с хорошими книгами я проглатывала и какую-то ерунду, но настоящее от настоящего отличить умела.

О кружке она сказала, однако, чистую правду. Интеллигентный и умный руководитель, старшеклассники, которые пишут «настоящие» стихи и действительно бывают у Ахматовой. Самый талантливый из них Эдик Бабаев, он показался мне тогда высоким. Его вдова, с которой много позже мы подружились, лишила меня этой иллюзии. Он был совсем не велик ростом и показался мне высоким просто потому, что был старше меня на три года. В

кружке этом я занималась до конца войны и вспоминаю его с удовольствием...

Случилось так, что с первых же недель в Ташкенте я оказалась среди одесситов, и они мне очень понравились. Сперва была столовка. Потом новенькие в нашем классе. Одесситки в школе, в лагере, в столовой. Но ведь они не только в школе и в столовой. У них за этими пределами какая-то своя, другая жизнь. Из школы и столовой мы часто ходим вместе. Вот и привели меня юные одесситки в большой двор, расположенный в тени высокого дома. Это дом сотрудников Одесской киностудии. А во дворе по целым дням толкутся дети сотрудников, почему-то главным образом девочки. Этот двор не похож на другие дворы, он живет своей особой, порой захватывающе интересной жизнью, разговаривает на особом языке. Здесь всегда что-то случается, а если случилось не здесь, а скажем, на киностудии, это тоже обсуждается в высшей степени пылко.

С одесским говором я уже знакома, но здесь обогатился мой словарный запас. Национальная черта одесситов – терпеть не могут ничего скучного, в частности, обыкновенных скучных фраз. Ну что это за ответ: «Я не знаю». Тоска зеленая. Иное дело саркастически спросить: «Я знаю?! Я доктор!?!» Или, встретив на улице знакомого, осведомиться: «Где вы держите?» Если человек этот не одессит, большое удовольствие наблюдать, как он теряется. Что держите? Пустую авоську в руках? Сбережения в сберкассе?

Какие еще сбережения? У кого они теперь есть, эти сбережения? Но держать ведь можно что угодно. «Держать речь», хотя лучше сказать «толкать речугу». «Толкать спич» появилось позднее, позаимствовали у союзников. «Держать путь», наконец, тоже можно. Если при этом вспомнить, что на Украине вместо «куда» предпочитают спрашивать «где», то всё становится ясно. «Куда вы путь держите?» иными словами: «Куда вы идёте?» Но признайтесь, «Где вы держите?» звучит гораздо лучше, чем какое-то несчастное «Куда вы идёте?»

И наконец, тоскливая до тошноты фраза: «А тебе не все равно?» звучит гораздо лучше, если спросишь: «А кисло тебе в борьщ?» Спросить, конечно, можно, но это неправда. Одесситам таки всегда бывает «кисло в борьщ». Если что-нибудь случается, это всегда интересно. Хуже нет, когда ничего не случается. Но такого не бывает никогда.

Дух киностудии витает во дворе. Яков Протазанов снимает свой последний фильм о Ходже Насреддине. Сейчас, конечно, никто еще не знает, что фильм будет последним, зато всем известно, Насреддина играет наш толстенький еврейский Свердлин, а героиню – молодая красавица узбечка Шакар Мирза-Каримова. Двор постоянно в курсе. Съёмки уже начались. Все

купили книгу «Возмутитель спокойствия» – литературный источник фильма.

В том, что «Насреддин в Бухаре» будет шедевром киноискусства, никто не сомневается. Все терпеливо ждут. Не очень терпеливо, но всё же не так, как, закипая с каждым днём все большим нетерпением, мы ждем открытия «второго фронта». И вдруг слухи – грозные, ужасные. Говорят, на киностудии приостанавливают съемки. То ли уже остановили, то ли собираются, но дело скверное. Об этом точно знают дети гримерш, курьеров и зав. реквизитом. Муж Мирза-Каримовой ревнует жену к Свердлину. Он запрещает ей сниматься в этих недопустимых для порядочной женщины любовных эпизодах. Он вообще намерен разорвать контракт. Мы заглядываем в «Возмутителя спокойствия» и сочувствуем мужу Каримовой. Но что же будет с фильмом? Возьмут другую актрису? А может быть, его вовсе снимать не станут? Ревнивому Каримову, наверно, стоило бы потерпеть. Да не будет он терпеть! Вы бы знали, какой он ревнивый! Может, он вообще убьёт Свердлина.

Тем временем становится известным, что съёмки продолжаются. Интересно, что сказали бы на студии, если бы узнали, до каких пределов нас довел наш подростковый романтизм. Тринадцать лет. Это возраст не чувств, а предчувствий. Но предчувствия бывают посильнее чувств.

Этим летом нам еще предстояло поволноваться. Всё, что здесь рассказано, цветочки. Ягодки, как говорится, впереди. Нам не всем было тринадцать – кому больше, кому меньше. Крутилась среди нас ничем не примечательная Муська, малявочка лет десяти. Некрасивая, щекастенная, с пухлой белой мордочкой, на которую природа не пожалела веснушек. Чем-то она была похожа на маленькую собачку.

Муська шепнула кому-то по секрету, а когда секрет стал общим достоянием, не стала отпираться и подтвердила: да, она действительно невеста сына Черчилля и внучка Рузвельта.

Мы почему-то ей поверили. Девочки военного поколения, мы гораздо взрослее наших сверстников мирной поры. Вся наша жизнь проходит среди взрослых, мы работаем рядом с ними или приходим помочь после школы. Мы решаем вместе наши общие проблемы, мы включены во взрослую жизнь. Что же это с нами, такими умными, случилось? Как могли мы поверить в столь несусветную чушь? Год назад я не поверила Рае Мехлис, хотя она рассказала вполне реальную правду. А тут не только я, поверили мы все. Видно, что-то детское, чего мы так рано лишились, властно заявило о себе. И мы слушали, как малые дети, муськину сказку о заморском принце и заморских королях. Познакомились они, оказывается, в Одессе. Муська, вероятно, еще не ходила в первый класс. Однако мы в такие мелочи не вдавались. Муська переписывалась с женихом и с дедом (Черчилль был

немного в стороне). Нам и в голову не приходило попросить её показать нам заветные письма. Однажды она сообщила, что приезжал молодой Черчилль и они вместе ходили в кино. Нас порадовал этот визит. Союзники всё оттягивали открытие второго фронта, а тут приехал всё-таки в Ташкент не кто-нибудь, а сын английского премьер-министра.

Мало-помалу наша доверчивость начала колебаться. Мы словно просыпались после тяжелого, с непонятной силой завладевшего нами сна. «Послушай, ну как всё это может быть?» «Да вот, я тоже думаю, она нам голову морочит». Муська сразу уловила наши крамольные настроения и пошла ва-банк. Слова утрачивали свою силу, потребовалось нечто более весомое. «Хотите, я вам покажу пальто моего дедушки?» – любезно обратилась она к нам. Мы хотели. С превеликой осторожностью ступая по скрипучим крашенным и облезлым ступенькам – Муська велела не шуметь – мы поднялись на второй этаж. В узенькой проходной комнате спал одетый и обутый старый дедушка – уж он-то точно был муськин дед. Но, едва на него глянув, мы проследовали дальше и оказались в коридорчике, где стоял большой платяной шкаф. Муська приоткрыла дверцы и бережно извлекла оттуда висевший на плечиках серый габардиновый плащ, в очень хорошем состоянии, как говорится, хотя, возможно, побывавший уже в химчистке. «Это пальто моего дедушки», – кратко сказала она. Вот и всё. Мы были сражены и снова ей поверили, как прежде. «Да, – бормотали мы, возвращаясь, – плащ показала, значит, не врёт».

Я не помню, когда к нам вернулся разум. Возможно, муськина сказочная эпопея сошла на нет без бурных разоблачений. А может, это было уже не при мне.

Дети часто фантазируют, иногда совсем взрослые дети, выдумывая себе несуществующих женихов и родителей. Но как могли поверить в эту ахинею мы? Одну возможную причину я упомянула: нам, рано повзрослевшим захотелось на минуточку вернуться в детство. Но мне хочется объяснить себе самой, почему я не поверила Рае Мехлис и, не задумываясь, приняла Муськины измышления? И не только я, но и все остальные вполне разумные девицы.

Дядя – член правительства, это ведь очень далеко и высоко: зам. наркома обороны, Кремль, совещания у Сталина. Мы их видим лишь изредка в киножурналах на праздничной трибуне. Об их заоблачной жизни мы ничего не знаем.

А союзники? Да мы постоянно о них говорим! О втором фронте речь идет давно, но после Сталинграда они зашевелились и обещали вскорости открыть второй фронт. И снова тянут. Мы сердимся на них, ведь столько крови пролито, у нас воюют отцы, братья. Мы обижаемся на них, мы говорим с насмешкой: «Никак не соберутся». Тут ничего заоблачного нет. Это ожидание

– часть нашей жизни. И в то же время мы о ч е н ь хотим, чтобы долгожданный фронт наконец-то открылся.

Заморский принц ходил с Муськой в кино. Как мы могли в это поверить? Да очень просто. Мы ведь не представляли его себе реально. Ни одна из нас даже не подумала спросить родителей, есть ли у Черчилля сын. Для нас этот принц был в точности такой же, как тот, что носился с хрустальной туфелькой по деревням и лесным избушкам и разыскивал свою Золушку. Так почему бы не поверить Муське?

А между тем еще в конце зимы и в нашем дворике на проезде Бадак произошли события, отнюдь не виртуальные – сперва печальные, затем хорошие. Наши неразговорчивые старики-соседи скончались почти в одночасье так же тихо, как и жили. Было грустно и жутко. Я помнила убитых при бомбежке. Но я впервые видела вблизи покойников, умерших своей смертью. Чужих и в то же время не чужих – мы полгода прожили в одном доме. Хозяйка позвала маляров, они почистили и побелили хибару.

Вскоре туда въехали новые жильцы: две сестры, еще не старые, веселые, красивые какой-то очень русской красотой. Они часто напевали, то порознь, то вместе. Что-то делают по дому и вдруг запоют. Голоса негромкие, но приятные, свежие. Оказалось, они пели в хоре Пятницкого, но теперь уже отслужили свой срок. Причину не помню, они как-то неохотно объясняли. Кажется, возраст. Я огорчилась, что они так рано ушли из хора. Наверно, и сейчас могли бы петь. Там, наверно, очень строгие правила.

Но вот однажды сестры вытащили во двор табуретки, водрузили на них огромное деревянное корыто и принялись стирать. Я сидела на крыше и что-то читала. Двор зелененький – повсюду, где её не топчут, пробивается весенняя травка. Вдруг одна из сестер перестала стирать, распрямилась, высокая, статная, и запела в полный голос: «Славное море священный Байкал...» и вторая тут же подхватила. Никогда они не пели при мне так. Я обомлела. Какие сильные, красивые голоса. И эта песня прекрасная – чудо. Я слушала, себя не помня. Незабываемы остались на всю жизнь – молодая задорная травка и эти женщины, которые вдруг дали себе волю.

После войны имел хождение анекдот о том, как надоел хор Пятницкого. Старичок профессор всё время пишет на радио заявки, просит, чтоб почаще их передавали. Там удивляются, посылают к нему сотрудника с предложением побывать на выступлении хора. Тут-то всё и выяснилось. Сосед профессора никогда не выключает радио и мешает ему работать. Но хор Пятницкого даже этот сосед вырубает. Я не очень удивилась анекдоту. Хор Пятницкого по радио звучал часто, и пели они не народные песни, а всё какие-то «туманы – растуманы».

Теперь совсем уже ушла из жизни народная песня. А тогда её, как лучшее блюдо, в концертах по заявкам на десерт подавали. Лидия Русланова в самом конце. А начинались эти концерты с кантаты о Сталине. Я думала, а не обидно ли ему? Чем ближе к концу, тем всё более любимое. А его всегда в самом начале.

Старый город мне всё больше нравится. Узкие кривые улочки прихотливо вьются, по временам виляя в какой-нибудь проезд или тупик. Вероятно, поэтому геометрия для меня не самая любимая из математик. Конечно, шлепать под дождем по немощеной улице удовольствие относительное, но в Ташкенте гораздо больше солнечных дней. Вот они наступили, и я тут же забыла, как проклинала липкую зимнюю грязь.

Мне нравятся одноэтажные домики в тени высоких деревьев, на которых произрастают такие вкусные вещи, как грецкий орех и урюк. Для меня, правда, практически недоступные. Нравится мне и симпатичный местный обычай – никаких запоров, ни замков, ни ключей. В Старом городе дверей не запирают – здесь нет воровства. Однажды мне случилось увидеть, каким образом достигается столь похвальное торжество нравственности.

На обочине стояло несколько зевак. На мостовой, образуя кружок, орудовали здоровенные мужики, все в тяжелых, твердых сапогах. В центре круга скорчился тощий, жалкий, голодный мальчишка, и они его утюжили своими сапожищами. Я тут же бросилась бежать. Наверное, они его убили.

Подошли экзамены. Когда-то я их боялась, сейчас люблю, чтобы спрашивали побольше – готовилась-то ведь не зря. Готовимся мы с подружкой на нашей крыше. Антураж мы себе выбрали несказанной красоты. Плоская крыша саманной хибарки под лучами щедрого солнца покрылась ярким веселым ковром. Зеленая трава и в изобилии тюльпаны: красные, желтые, лиловые... Мы сидим в тени огромной ветки, на которой уже поспел урюк. В здешних краях урожаи снимают не меньше двух раз за лето, а то и три. Мы грызем гранит науки, а рука нет-нет да и потянется к ветке. Замечательный фрукт урюк – у него даже косточки вкусные.

Отзанимавшись, с некоторым смущением прихватываем горсть урюка на дорожку и спускаемся по лестнице вниз. О ужас! Возле лестницы стоит опа, наша хозяйка, и смотрит на нас взглядом, не сулящим ничего хорошего. Ну, влипли мы! И это в Старом городе, где так чтут частную собственность. Я тут же вспоминаю, что наша опа дружит с соседкой, владелицей дерева. Я, конечно, понимаю, что опа не станет нас бить. Но скандала не избежать. Подымет крик, позовет ограбленную соседку, Виктор тут же выскочит из дверей, и еще кто-то прибежит на шум: наши певицы-соседки, да мало ли...

И все будут на нас глазеть, какие мы разбойницы, и станут нас стыдить, и мы сгорим со стыда, а мне к тому же не избежать порки.

Опа улыбается и протягивает руку – делитесь, девочки, вы своё уже скушали – это ясно без слов, и мы отдаем ей урюк. Небось сама в детстве лазила по чужим садам, в обществе той же соседки, владелицы дерева.

Тут мне уместно будет вспомнить, что опя зимой не раз приглашала меня погреться в тондыре. Это такое углубление в открытой террасе, сверху оно покрыто одеялом, а внизу горят угольки. Сунешь ноги в эту теплую яму – всему телу тепло. И каждый раз, когда я так сидела, старушка кормила меня вкусной горячей шурпой.

Вот и кончился этот учебный год – хороший год Сталинградской победы, новых подруг, интересных книг. Подруги у меня еще будут, и книги будут. А победы станут залпами отмечать. В особых случаях из двухсот двадцати четырех орудий.

И в моей собственной жизни произойдут перемены. Стало ясно: отступить мы уже не будем, и москвичи поспешно возвращались в Москву. В том числе и наша Академия связи, а также столовка со всеми одесситами. Предложили ехать и моей маме, но к моему огорчению она отказалась. Виктор собирался защищать диссертацию. А мама была не из тех женщин, которые бросают преданных мужей. Правда, жизнь полна неожиданностей, и, не уехав с Академией, мама чуть было его не покинула. Отчаянный поступок, особенно если учесть, что ей предстояло работать библиотекарем, а профессия эта и в мирные времена считается одной из самых бедняцких.

Наступила осень, было холодно по ночам, и в это время Виктору, без пяти минут кандидату, дали комнату с отоплением в европейской части города. И тут мама сказала: «Всё. Переезжай один, а мы с Катей останемся. Кончилось моё терпение. Не могу больше видеть, как ты издеваешься над девочкой».

Виктор перевез свой рюкзачок на новое место жительства, а вечером вернулся в нашу хижину и лег спать на полу у порога. Мама осталась тверда. На следующий вечер он снова появился и опять, как верный пес, не мыслящий жизни без хозяев, ночевал на полу, под дверью, из широкой щели под которой вовсю дул холодный ветер.

Тут мама сдалась, и мы перебрались на Госпитальный проезд, расположенный прискорбно далеко от наших прежних обиталищ. Я поступила в другую школу, кстати, школы с этого года стали делиться на женские и мужские. Так что новых впечатлений, казалось бы, хоть отбавляй. Впечатлений, как ни странно, оказалось очень мало, но это были сильные впечатления. Возможно, они вытеснили все остальные, но, говоря по правде, там и нечего было особенно вытеснять.

В школе – всё спокойно. Училась я хорошо, и ко мне хорошо относились. Никто меня не обижал, но и не завязалось новых душевных дружб. Задуманные мои остались в дальней части города, и я виделась с ними редко. В этом новом классе я больше всего общалась с девочкой по имени Ираида. Сближало нас главным образом то, что мы жили по соседству. Вот её я отлично помню. Довольно полная, спокойная, неторопливая, с круглым белым лицом и гладко зачесанными волосами. Особенно неторопливо и важно объясняла она всем, что зовут её не Ирина, а И р а и д а. Мне она представлялась вышедшей из русского исторического романа. Не хватало лишь кокошника, длинного летника и телогреи. Из чего следует, что увлечение историей меня не покидает. Я даже начала писать роман из времен не помню каких Людовиков. Осмелев, обратилась однажды к учителю истории – мне нужно было придумать название французского поместья. В классе знали, что я сочиняю роман, и относились к этому одобрительно.

Учитель тоже не отмахнулся от странной просьбы семиклассницы. Сказал, что ему нужно подумать, и уже на следующем уроке сообщил мне подходящее название.

Обратилась я к нему не случайно. Он был добрый и, вероятно, самый образованный из наших учителей. Очень высокий и очень худой, с длинным желтым лицом, он напоминал мне Дон Кихота. Я даже представляла его себе в рыцарских доспехах. Преподавал он у нас три предмета: историю, конституцию и немецкий язык. Подобно Дон Кихоту, он ко всему окружающему был равнодушен и даже пытался оживить такой сухой предмет, как конституция, где требовалась только зубрежка. Внезапно спрашивал, прервав перечисление зазубренных формулировок: «А что является высшим органом государственной власти в Сурхан-Дарьинском районе?» – и выжидательно смотрел на ученицу.

На уроке немецкого у нас с ним произошел однажды смешной случай. Я всё время подсказывала, и он пересадил меня с первой парты на последнюю. Обезопасив себя таким образом, задал нерадивой ученице очередной вопрос: «Что такое die Nase?» Не тут-то было! Я приложила руки к голове и замахала, изображая зайца. Девочка не поняла и сказала: «Уши». «Вот я вам покажу «уши»! Вот я вам покажу «уши»! Гроссман, выйдите из класса!»

Исторический роман, да ещё из французской жизни! Моя первая писательская попытка. Их потом еще несколько было. Профессиональный переводчик вдруг бросает работу по договору и садится писать с в о ё. Чем опытней я становилась, тем меньше портила бумагу. В школе написала целую главу, а последние мои пробы – две-три строчки – и в мусор. В мыслях крутится, а на бумагу не ложится. И только сильное и горестное потрясение прорвало заслон. Прорвало поздно и бурно. Я быстро училась и писала по

целым дням, отчасти и ночам.

Учебный год проскользнул незаметно. Но всё же кое-что осталось в памяти. Два-три случая, забавных или печальных; некоторые из учителей.

А вот что касается квартиры на Госпитальном – неразрешимая загадка. Я многократно жила в общих квартирах, и в раннем детстве, совсем маленькой девочкой, и много позже, когда мой сын был уже несколько старше, чем я в первой своей коммуналке. Все они остались в памяти, о каждой могу что-то рассказать. А тут провал, абсолютная пустота. Даже смутно не помню никого из соседей; расположение комнат, кухню, забыла, куда выходили наши окна – на улицу или в сад.

Сад помню. Возле заднего крыльца росло большое дерево. В мае, когда начались экзамены, я выходила каждое утро в семь часов, садилась под это дерево и открывала учебник. Не сравнить с чудесной крышей в Старом городе, но всё же природа. При малейшей возможности я всегда норовила готовиться к экзаменам на природе. В харьковском инязе я ходила на кладбище. Правда, не я одна, там многие занимались

А теперь, наконец, о том новом в моей жизни, которое так властно стёрло все другие впечатления. Одно из них было мучительным – голод. Те два года, что были связаны со столовой, я постоянно его ощущала. Но голод голоду рознь. Какой-никакой обед. Временами что-то подсунут официантки. Опять же, черепахи. То есть временами я бывала сыта. Теперь же настоящий, не знающий послаблений голод схватил меня за глотку. Двести граммов хлеба, паёк иждивенца – вот всё, что я имела за день. Виктор по своей рабочей карточке получал 800 граммов – половину хлебного кирпича. Большую часть его он съедал уже по дороге, остальное сразу же добывал дома. Возможно, изредка мы варили какую-нибудь водянистую похлебку, но я твердо помню: 200 граммов, кусочек черного хлеба – вот что мне причиталось бесспорно.

К тому же надо было что-то покупать: соль, керосин, хлопковое масло. Денег на эти покупки не хватало. Однажды продали моё единственное приличное платье. Купили сахар. Помню, я огорчилась. Главный расход, конечно, керосин. Мы не только заливаем его в примус, мы и голову им моем, чистым керосином. Как мы только не перетравились этим лекарственным средством. Но терпели, не только, чтобы спастись от сыпняка, но и из чувства достоинства – чтобы, взглянув на твои волосы, прохожие не шархались.

Спасительным источником добавочных денег неожиданно оказалась мамина библиотека. При библиотеке имелась подсобка, чуть ли не до потолка заваленная грудями старых газет за все последние десятилетия. Если бы не эти завалы, все библиотекари перемёрли бы с голоду.

Я давно уже освоила рынок, чего я только там не продавала: жареную рыбку или капустный шницель из столовой. Упоительно пахнувшие белые булки, почему они не пахнут так в мирное время, неужели стали не такими сдобными, как в войну? Я их тут же сбывала каким-то богатеям, чтобы купить как можно больше черного хлеба.

Мне по душе пришлось новая специальность. Продавать еду обидно и грустно. Иное дело газеты; «По три рубля – двойные!» Мои покупатели были главным образом мужчины – газеты покупали на раскурку, из них делали самокрутки. Торговавшие махоркой инвалиды бумагой никого не снабжали.

Рынок двигался, курсировал, торговал всем: валенками, мочалками, густой кашей-мамалыгой, нарезанной на тарелках аккуратными четвертинками. Однажды я увидела валявшуюся на земле пятидесятирублевку. Я тут же купила себе четвертинку мамалыги. Она стоила всего пять рублей. Остальные деньги отдала маме. Мне и в голову не приходило оставить их себе на еду. Вот такие мы были, девочки военного времени. А ведь был случай, когда я подобрала с земли и съела сырую кормовую свеклу.

Я так привыкла к рынку, что когда двадцать лет назад увидела в известном перестроечном фильме толкучку военных годов, где все вертелись, дергались, суетились, я сразу отмахнулась – темп не тот, это не рынок времен ВОВ, это режиссер придумал.

Люди средних лет в Отечественную войну помнили ещё рынки царского времени и задавали тон. Держались степенно, торговались неторопливо, с толком, знали законы толкучки, из них главный – первый покупатель даёт больше всех. Этот закон я часто нарушала, сердито себя потом осуждая. Что поделаешь, закон законом, но так хотелось чуть побольше получить. Я спокойно чувствовала себя на том старом военном рынке. Старичок еврей решил, что три рубля слишком дорого. «Вы же умная еврейская девочка», – пытался он урезонить меня. Но я была умная девочка и цену не снижала. Другой покупатель решил меня пристыдить. «Три рубля! Да ты что? Это тебе надо ехать в Вену». Я не поняла, почему именно туда, но бойко ответила: «Сам езжай в Вену».

Как-то подошел к моим газетам милиционер, спросил «почём» и, услышав всегдашнее: «по три рубля – двойные!», взял газету, сунул мне рубль. Я не стала огорчаться, это ведь тоже был закон рынка – городской сам знает, сколько он намерен заплатить.

Но основной мой покупатель не торговался. Это были серьезные, неразговорчивые мужчины, многие из них инвалиды войны. Они знали цену единственной затыжки, когда в окопе одна самокрутка на всех. Они многому знали цену. Цену жизни прежде всего. Три рубля за газетку, курить которую куда приятней, чем оберточную бумагу, совсем не дорого. Буханка хлеба

стоит двести рублей, куриное яйцо – пятнадцать. И завидев худющую – кожа да кости – загорелую босую девчонку, отнюдь не собирались вступать с ней в торг. Газетами я торговала не из альтруизма, но эти мужики, обрадовано покупавшие по две-три газетки, были в первую очередь симпатичны мне не тем, что оживляли мою торговлю, а этой самой радостью. «Ты гляди, вот здорово, девчонка продает газеты! Эй, девочка, почём они у тебя?»

Хочу добавить для точности то, что хорошо помню. 200 рублей стоила большая светловатая круглая буханка. Черный хлебный кирпич был дешевле – 150-160 рублей.

Всё же вспомнила наконец, что-то вспомнила о загадочной квартире на Госпитальном. Не богато, но факт. Моя кровать стояла в углу, у стены. Перед сном я там читала, лёжа, и это были чудные часы. Читала разное, но помню, с какой радостью я впилась в «Записки Пиквикского клуба». Дело в том, что я охотилась за ними больше двух лет, но мне всё попадались разрозненные томики. Один из них – ещё в пятом классе, и мне страшно захотелось прочесть эту прелесть от начала до конца. Две неразлучные подруги, Аня и Дуся, были единственными, с кем я тогда хоть как-то общалась. Они относились ко мне свысока и сурово, но Аня доставала для меня любые книги: её мама работала уборщицей в Академии наук. Аня сперва сама прочитывала их, затем давала мне. Вся эта роскошь кончилась из-за «Пиквика». Я напому: вначале идут пародийные протоколы Пиквикского клуба. Диккенс там наворотил непроходимую преграду бюрократических фраз. Анька застряла в этой чаще с первых же слов и с возмущением мне заявила, что эту подлость она мне не простит – подсунуть ей такую гадость! И книг для меня больше брать не будет никогда. Что и исполнила. В седьмом классе, наконец, я раздобыла эту чудную книгу.

Ею, кстати, восхищался мой отец. Автор суровых книг, где героями были борцы за справедливость и люди войны, он высоко ценил незадачливого героя «Записок»: «Это чудо, гениально, что писателю удалось описать смешного, толстого, совсем не героического человечка, со множеством комических бытовых черт и сделать его великим, показав только одно – обаяние доброты».

К старым подругам-читательницам мне вырваться не удавалось, слишком уж заполнен был мой день, но иногда я ходила в гости к Ираиде. Садик, примыкавший к нашему дому, был отделен от садика их семьи высоким дощатым забором, в котором имелась очень удобная дырка.

Как-то я там засиделась, и семья уже садилась за ужин. Ираидина бабушка разлила по глубоким тарелкам роскошный рисовый суп – в нем поблескивали кружочки жира. Она спросила меня, не хочу ли я кушать. Я смутилась и

отказалась. За все эти годы меня никто не угощал вне столовой, кроме нашей опы. Потом Ираида пошла проводить меня к дырке. Когда мы подошли к забору, я вдруг решила и сказала: «Ты знаешь, я от супа отказалась, но мне очень хотелось есть». На следующий раз, когда я снова оказалась там вечером, бабушка, ничего не спрашивая, поставила на стол ещё одну тарелку с тем же рисовым супом и сказала мне: «Садись». Я с благодарностью вспоминаю этот случай, но в дальнейшем постаралась не злоупотреблять гостеприимством хороших людей и засиживалась там допоздна не часто.

И снова экзамены. Ранним утром я устраивалась под деревом с потрепанным учебником в руках. Новых учебников за всё время войны я не видела ни разу. Вплотную к рынку обыкновенному размещался наш школярский рынок. Каждый год, сдав экзамены, мы приносили туда теперь уже ненужные книги, продавали их тем, кто был классом младше, а сами покупали то, что требовалось на следующий год. Толпа школьников сновала взад-вперед, производя эту торговую операцию. Иногда какой-нибудь учебник оказывался дефицитным. Бродишь, бродишь и уныло вопрошаешь: «Химия за восьмой класс есть?» А тебе в ответ: «Чего захотела? Я её уже неделю ищу». Но в конце концов всё покупалось.

Однажды мне попала в старом учебнике физики письмо с фронта – треугольный конвертик, полевая почта. Фронтовик писал своей невесте: «Ты знаешь, я прочёл одно стихотворение и поразился – оно про нас с тобой. Я тебе его переписал». Дальше следовало «Жди меня» Константина Симонова. Мне потом говорили, что таких писем было много.

И ещё одно письмо с фронта оказалось у меня в руках. Оно лежало, скомканное, на грязном снегу рядом с мелким бумажным мусором. Я зачем-то подняла запачканный влажный листок, и меня словно в жар бросило. Письмо было откровенно эротичным, клокотало раскаленной, мне показалось даже, злой страстью. «Измаялся парень», возможно, сказал бы умудрённый жизнью взрослый человек. Я безумно смутилась. Но и сейчас мне кажется, есть что-то негодное в таком письме, которому предстоит военная цензура; письме, написанном на фронте, где смерть поджидает на каждом шагу. Я решила – сейчас решила – не быть судьей, посмотреть, что пишет на эту тему во фронтовых записках мой отец. Там у него много, больше страницы, я возьму последние две строчки: «Вот так и идет бабья жизнь, в тылу и на фронте – две струи, чистая светлая и темная, военная: «Э, теперь война». Отец пишет там о мимолетных фронтовых романах, а это письмо с фронта в тыл, вероятно, адресовано невесте или возлюбленной. И всё же девушка письмо это скомкала, выбросила, как видно, усмотрела в нём не светлую, а тёмную струю.

Кстати, о военной цензуре. В свое время Бисмарк ввёл цензуру не только

для писем с фронта, но и для писем, идущих на фронт, – оберегал солдатиков. Я знала такую семью. Жена писала мужу на фронт полные упрёков жестокие письма. Его убили. А женщина эта всю жизнь мучилась и не могла себя простить.

Экзамены я, как всегда, сдала на отлично, но на последнем – по географии – растерялась и запуталась, ответила кое-как. Предмет этот был у меня не из любимых. С физикой и математикой гораздо лучше обстояли дела. Всё это довольно странно, учитывая мою гуманитарность.

Выйдя из класса, я уткнулась в стенку лицом и расплакалась. Ко мне подошла учительница математики, прозванная Коброй. Немолодая, но всё ещё очень красивая, словно явилась к нам с портрета XVIII века, изящная, с кудрявой пышной сединой и живыми черными глазами. Она стала меня успокаивать: ведь оценка мне не известна, может быть, поставили тройку и переэкзаменовки не будет. Тут я разрыдалась ещё пуще. Презренных троек у меня практически не бывало. Я скорее предпочла бы двойку или единицу. Она ещё долго меня утешала.

А я и не знала, что Кобра такая добрая. Да и в течение года ничего змеино-го за ней не замечалось. Какие всё-таки дурацкие прозвища придумывают иногда ученики: Протоплазма, Эвгена Зеленая, Кобра. Неужели она знала, как её дразнят? Немолодая, одинокая женщина очаровательной доброты. А по географии за свой скомканный ответ я получила 4.

Учебный год в девчачьей школе прошел тихо, без событий, но закончился громким скандалом. Случилось это именно в тот день, когда мы получили аттестаты и отсидели некое выпускное мероприятие, которое нельзя назвать вечером, ибо происходило оно днем. В нашем классе все были местные, эвакуированных только двое: кроме меня, девочка по имени Руфа, маленькая, тощенькая, с выпуклыми серыми глазами, стриженная под мальчишку. Очень бедовая была девчонка. Она приехала откуда-то из Западной Украины и щеголяла польским словом: «цо?».

Мероприятие подходило к концу, когда кто-то из наших зашел в раздевалку раньше остальных и обнаружил там Руфу, деловито шарящую по карманам. Поднялся шум. Мы собрались в своём бывшем классе и начали Руфку судить, а вернее, стыдить.

Я узнала много нового. Оказалось, Руфа постоянно жалуется на голод и у всех кланчит еду. Ей все сочувствовали, все её угощали. И такая вот благодарность в ответ!

«Да как тебе не стыдно?»

«Ты настоящая воровка!»

«И у кого ворует? У своих же подруг, которые тебя всё время кормили».

Кто-то вспомнил обо мне. «Вот Катя! Она ещё хуже тебя живёт и никому не жалуется». И тут Нина Афанасьева, которую я знала очень мало, в благородном порыве предложила мне с начала нового учебного года приходить к ней заниматься, прибавив, что после занятий она будет меня кормить обедом. Так, казалось бы, была вознаграждена моя добродетель.

Я и в самом деле в сентябре стала ходить к Нине. Мы с ней вместе делали уроки, а затем съедали по тарелке фасолевого супа. Я сразу отдала маме половину своего хлебного пайка.

Заниматься-то мы вместе занимались, но подругами не стали. Вероятно, у нас было мало общего. Прошел месяц, и Нина сердито сказала: «Выдумки все это! Никаких занятий тебе не нужно. Да и мне тоже. Ты ходишь только ради супа».

На том и кончилась благотворительная акция. Мне было неприятно и стыдно. Чего ради я с такой легкостью приняла эту неожиданную помощь? То, что я не попрошайка и не воровка, не является заслугой, это просто нормально. А за то, что человек ведет себя нормально, наград не полагается, и никто не обязан делиться с ним своей фасолью.

Тут, казалось бы, уместно было вспомнить пословицу про бесплатный сыр и мышеловку. Но я эту пословицу терпеть не могу. Не идет она в лад с пословицами хлебосольной России: «В тесноте, да не в обиде», «Не красна изба углами, а красна пирогами». Сказано о хорошей хозяйке, конечно, однако трудно себе представить, что хозяева в этой избе все пироги съедают сами и никого не угощают.

Неприятная история. Обе мы здесь хороши. И Нина отличилась. Ей вздумалось помочь соученице делом, и собрание бурно её одобрило. Через месяц ей это надоело, и она меня «завернула». Не будь собрания, ей бы и в голову не пришло приглашать меня пообедать.

Помогают из сочувствия, а не напоказ. И я помню их всех, помогавших из сочувствия, всю жизнь их вспоминаю.

И молодых солдат из эшелона, случайных попутчиков, они не только с нами делились пайком, но и от грубого слова оберегали.

И официантку Таню из академической столовки, которая вышла замуж за слушателя и почти сразу проводила его на фронт. Перехватит меня где-то на бегу: «А ну, пошли со мной», отведёт в укромный уголок, принесет туда тарелку супа и сама присядет рядом, побеседовать. Моя взрослая подружка.

И хозяйку в Старом городе, мы называли её «опа», она всегда так весело улыбалась, ей приятно было смотреть, как девчонка греется в теплом тондыре и уплетает вкусную шурпу.

И бабушку моей соученицы Ираиды, которая молча ставила для меня на стол тарелку с рисовым супом. Молча. Ни одна из них не выступала на

собраниях, оповещая всех, что задумала совершить доброе дело.

Вот их сколько было, а Нинка одна. И вообще в эти голодные и холодные годы я встречала больше хороших людей, чем плохих. Наверное, поэтому я не одобряю циничную поговорку насчет бесплатного сыра.

Возможно, в классе бы все это обсуждалось, и нам обеим было бы неловко. Но жизнь – она ведь такая: то туда повернет, то сюда. Виктор защитил свой диссер и в должности декана перешел на работу в другой институт. И мама в том же институте стала заведовать кабинетом марксизма. Мы переехали в институтский «ведомственный» дом, большущий дом – четыре этажа и пять подъездов. И я опять сменила школу. И снова соврала, что узбекский язык никогда не учила. Что поделаешь? Я и в самом деле его не учила. Кстати, напрасно, я потом поняла, что надо хоть немного знать язык той местности, где ты оказалась. Каждый год сменялся учитель, и я привыкла так говорить. Правда, учебник для пятого класса усвоила лучше некуда. До сих пор умею считать до тридцати и помню наизусть стихотворение: «Гудок кичкирды».

Руфа по-прежнему училась в том же классе. Все думали: она уйдет, а я останусь. А вышло наоборот, и для меня и для неё удачно.

Переезд свершился мгновенно. Помню: в свою новую школу я ходила в тёплом октябре. Ноябрь тоже был не таким уж холодным, но приближалась зима. Интересно, как это человек вдруг взрослеет. Начинает ощущать себя по-другому. Первый сигнал для меня был печальным. Мне шел пятнадцатый год. Три зимы подряд с наступлением холодов я натягивала на себя бесформенное, непомерно большое, ржавое от старости мамино пальто. А сейчас я шла, дрожа от холода, в куцей кофточке. Мама боялась, что я простужусь, и требовала, чтобы я оделась по-зимнему. Я всё откладывала – не хотела себя безобразить.

Помню, как я наконец его надела. Я очень медленно тащилась этим утром в школу, и всю дорогу холодные слезинки катились по моим щекам.

А ведь совсем недавно, этим летом, я отправилась в центр города босиком знакомиться с Липкиным. Папа написал мне, что его друг приедет в Ташкент к семье на побывку, и мне надо к нему зайти. Сестра и мама Липкина приняли меня очень сердечно. Однако самое большое впечатление произвел сам военкорр, живой, остроумный, в ослепительно белой форме. Форма, кстати, дала мне понять, что папин друг не работает с ним вместе в «Красной Звезде», а служит во флотской газете. Очень наблюдательный Липкин, думаю, заметил более существенное – и мое заношенное платье, и худобу, и привычку босых ног к горячему асфальту. Во всяком случае, спустя какое-то время, в Союз писателей Узбекистана прибыло официальное письмо, и мама начала ходить по разным кабинетам, после чего меня прикрепили к

литфондовской столовой. Бюрократическая процедура затянулась, и прикрепили меня уже зимой.

Вот тут пошла совсем другая жизнь. Каждый день обед – и первое, и второе. В кассе выбивает чеки толстенькая кассирша, а рядом с ней поднос – дополнительный хлеб к обеду. Ходит слух, что горбушка сытнее простого куса. Молодой писатель лезет из кожи вон, кокетничая с кассиршей. Она благодушно говорит, указывая на поднос: «Выбирайте сами». «Нет! – пылко восклицает он. – Я полагаюсь на ваш вкус». Она кокетливо закатывает свои сытые армянские глазки: «А если у меня извращённый вкус?»

Тут же в столовой я случайно узнаю, что очень бедствует Ахматова. Высокий седой украинец с жаром внушает кому-то, от кого, наверное, зависит: «У неё нет постельного белья! У неё нет даже сорочки!» Это новость для меня. В литературном кружке, куда я продолжаю ходить, ничего не говорят о бедности Ахматовой. О ней, собственно, вообще не говорят. Мы только знаем, что наши взрослые мальчики ходят к ней домой, и что это большая честь. Литкружок – единственная нить, которая связывала меня в прошлом году с миром культуры. На радио устраивают передачу, посвященную нашему кружку, и среди прочих читают несколько моих стихотворений. В одном из них я воспеваю невиданную в Ташкенте морозную зиму. «Ветер бьет в лицо, как розгой ... Под ногами снег хрустит». Ничего подобного я здесь не наблюдала. Мама тут же пишет папе о моих стихотворных успехах. Папа просит прислать ему мои стихи.

Что-то я отклонилась от традиции. До сих пор, рассказывая о каждом новом переезде, я начинала с того, куда мы переехали, как выглядит квартира, какие новые люди появились в моей жизни. А тут не знаешь, с чего начать. Квартира выдалась такая, от какой не отказались бы ни Булгаков, ни Зощенко. В школе тоже нечто небывалое. Да и сам этот огромный дом, преподавательский, интеллигентский, создает особый образ жизни.

Для порядка все же начну с географии, докажу, что мне не зря четверку поставили. Институт находится на окраине города, так близко от аэродрома, что он виден, когда выходишь из ворот. Территория огромная, почти вся обнесена металлическим забором. Крупных зданий два: институт и дом преподавателей, остальных не помню. Есть огород, к которому мы, новички, не имеем отношения.

Институт почти у самых ворот. К нему ведет широкая асфальтовая дорога. А наш преподавательский дом расположился в глубине. Фасад тоже на асфальт выходит, сзади узкая полоска травы, изгородь, за ней прямо, как в деревне, земляная тропинка вьется среди кустов. Ведь живем мы теперь на

окраине. Квартиру дали нам на первом этаже, в ней четыре комнаты, где обитают три семейства. Виктору, декану, кандидату наук, отведён кабинетик, крохотная комнатка у кухни. Он там спит и готовится к лекциям, но, на мой взгляд, слишком долго торчит у нас с мамой в «большой» комнате с видом на изгородь. Здесь в квартире, не лишенной комфорта – газ, ванная – и к тому же населённой коллегами, он стал сдержаннее, но иногда взрывается по никому неизвестному поводу. Влетел однажды к нам, гаркнул с порога: «Сволочи! Сволочи!», убежал к себе и яростно застучал дверь.

За стеной у нас такая же, как наша, средних размеров комната. Здесь живут две сестры-марксистки, Софья и Ревекка Израйлевны, строгие, серьёзные, с крупными горбатыми носами. Софья Израйлевна преподаёт марксизм-ленинизм, её сестра – политэкономия. У Софьи дочь Наташа, рыженькая девочка примерно моих лет, мы с ней сразу сдружились. Четвертый член семьи – бабка, ещё более сухопарая, чем дочки, с ещё более выдающимся носом. Разговаривает она на смешанном наречии, в котором превалируют украинские слова, так что я всё понимаю. Любит поворчать без видимых причин на внуку, которую называет Наталкой. Та довольно дерзко огрызается. Но не Наташа главный её недруг.

Визави с марксизмом проживают «осколки разбитого вдребезги». Старик Карнейчик, невысокий, зимой и летом в валенках. У него отморожены руки, вероятно в одном из ледовых походов против «красных супостатов». Большие старческие кисти нечувствительны к температуре, жена следит за его мытьем и купаньем, ходит вместе с ним в баню – он ведь даже кипятка не чувствует. Тем не менее, старый кавалергард полон жизненных сил и боевого духа. Жена его Мария Федоровна, кроткая трепетная дама с печальными глазами, постоянно жалуется нам с мамой на напряженные отношения между мужем и её сыном от первого брака. Зачин всегда одинаков. «Карнейчик – неврастэник! – начинает она дрожащим голосом. – Боба – тоже неврастэник». Далее следует история малопонятная, ибо слов Мария Федоровна практически не произносит и лишь очень выразительно показывает, как у мужа и у сына дергаются лица. Вполне возможно, что спор этим ограничен. В том, что Боба «неврастэник», у меня нет никаких сомнений. Сорокалетний неженатый Боба, похожий на большого сорокалетнего мальчика, – на него только взглянешь, и справедливость этого определения очевидна.

Что до Карнейчика, мне кажется, что он скорей не нервничает, а пребывает в состоянии постоянного раздражения. Старик – умный, деятельный, сильный, четверть века не может смириться с ситуацией, в которую его загнала Великая Октябрьская революция. Ему ли сидеть в коммуналке, в одной комнате с нелепым пасынком, в одной квартире с идеологическими врагинями. Он стар, он инвалид, жизнь сильно его примяла.

Но он не может превратиться в Бобу. Жизнь не только примяла его, но и приучила к осторожности. И он выбирает себе врага по силам – бабу. Понимает ли он сам, умный военный человек, как смешны затеянные им баталии? Он выработал стратегию, произвел разведку, точно выяснил, когда старуха ходит в сортир. Опережая её на минуту, он завладевает этим объектом. Бабка мечется, поминутно дергает ручку двери. Заперто! И снова заперто! Не знаю, почему она не попросила дочек купить ночной горшок. Наверное, ей в голову не приходит, что это не простая случайность. Ситуация не раз кончалась для неё скандально. И кавалергард ликует. Победитель!

Мне кажется, он выбрал бабу не только потому, что она слабый противник. Его бесит все чуждое, в том числе её немыслимый, из трех языков, жаргон. Как-то она упомянула, что «у нас в Конграде» было удобно сушить белье, развешивая его на «горище» (чердак). Он так и подскочил: «Куда? Куда? На хвостище?», – страшно довольный своим каламбуром. Очевидно, представил себе, как ненавистная старая ведьма выпускает из-под юбки длинный хвост и развешивает на нём стиранные шмотки.

Его приводит в ярость и запах прогорклого рыбьего жира, на котором готовит бабу. Меня, по правде, тоже с этого воротит. Главное же, что ему нестерпимо все чуждое.

Неприятие чуждых слов, а их во время войны ещё и прибавилось, проявляется не только у старика, но и у его кроткой супруги. Видно и в ней, при всей мягкости, сохранилась протестная струнка. Никогда не слышала я от них, что они ходили в магазин или что по карточкам выдают яичный порошок. Магазин они упорно именуют лавкой, а порошок «жолтым» с особым ударением на букве «о»: «Сегодня в лавке продавали жолтый порошок».

Интересно всё же, что он думает о войне? Умный человек и кадровый военный. Неужели же сочувствует фашистам? Нет, конечно, быть того не может. Поселись мы здесь года два назад, было бы ясно. Но сейчас, когда мы победно дошли до границ, никакие думы ему не мешают вновь запрятаться в свою скорлупу.

Со средним поколением квартиры у кавалергарда нет отношений. Зато мы с Наташей для него отдушина. Молодые, веселые, старательно осваивающие танго и фокстроты. Фокстрот? Что за вздор? Он научит нас мазурке. И показывает нам на кухне эти затейливые «па». Маленький старичок в валенках с большими красными руками. Какой к чёрту неврастеник? Мы стараемся, он нас учит, поправляет. И мне кажется, в эти короткие полчаса тяжесть роковых перемен перестает давить ему на плечи.

Я представляю его себе на балу, в огромном зале. Невысокий, но изящный, быстрый. А Мария Федоровна была, наверно, хороша, карие глаза и сейчас красивые. Их называют бывшими. Да какие ж они бывшие? Вот они, вполне

настоящие, с их терпением и протестом, придавленные, но не задавленные. Уж не знаешь, кого там больше всех жалеть? Наверное, всё-таки Бобу.

Что-то всё же меняется в последний военный год. Смутно, издали, бесшумными шагами. Это пробирается в нашу память мирное время, забытое за три года войны.

Такое, например, обстоятельство. В Киеве у мамы было много подруг, и они виделись почти ежедневно. То забегут к нам, на Назарьевскую, то мы с мамой отправляемся к ним. Если у подруг были дети, мы становились друзьями детства. С одним из них я перезваниваюсь до сих пор. Дядя Василий каждое воскресенье навещает своего приятеля Кирилла и всегда берет меня с собой. У Кирилла – дочка Таня, чуть постарше меня. Она уводит меня во двор, на улицу, а однажды затащила в какой-то клуб, где при пустом и тёмном зале мы, ребятня, на освещенной сцене отплясываем гопака. Мама возит меня в гости к тете Малине – Марье Савельевне, той самой, вместе с которой мы потом уехали в эвакуацию. Она жена известного киевского профессора. В этих случаях я надеваю парадную матроску из бежевого бархата, отделанного белым кантом. К тете Жене ходит ее подруга Аза, изумляющая меня непонятным, но обидным восклицанием: «Это не ребенок, это бич Божий!», относившимся ко мне. Много позже, уже будучи взрослой, я узнала, что загадочные эти слова вызваны моим плохим аппетитом. Нас навещают друзья безвременно погибшего дяди Мити, моего родного дяди и крестного отца. И вдова его, Тася, бывает у нас. Я люблю, когда приходит уютная, хозяйственная Надя, говорят, она в Митю была влюблена. Пришла Надя, значит, будет праздник, и мы с ней поедим на Сенной базар за кислой капустой, орехами, маком, словом, за всякой вкуснотой.

В день моего рождения наша лучшая «парадная» комната еле вмещает гостей. Но вторая, смежная, ещё меньше, а главное, в «парадной» есть окна. Я бегаю навстречу каждому гостю и кричу: «Опять чашка!», а мама смотрит на меня с укоризной.

Такое множество друзей, рассыпанных по всему городу – к одним можно пешком зайти, к другим надо долго ехать, вселяет чувство защищенности и теплоты – город тоже становится домом.

А в Ташкенте у нас не было друзей, за четыре года к нам никто не пришел в гости. Мама с Виктором ходили один раз, да как-то неудачно. Гостеприимные хозяева устроили роскошный стол: всё как в лучших домах и на десерт пирожное – «Картошка». Это лакомство последнего года войны, когда вспомнили, что должен же быть праздник, сильно отличается от тёзки – пирожного «Картошка» мирной поры. Изготавливалось оно так: варёную свёклу пропускали через мясорубку, из образовавшейся массы лепили

маленькие продолговатые пирожные. В завершение этот деликатес обваливали в поджаренной муке или суррогатном кофе. Виктор зверски набросился на угощение и в течение нескольких минут проглотил всё это великолепии. Маме было очень стыдно перед хозяевами. Были и другие гости, да и сами хозяева голодали. Больше они никуда не ходили.

И вдруг, вскоре после переезда в большой дом на окраине, у меня возникло ощущение, словно в тёмной комнате внезапно включили свет. И выключателем щелкнула маленькая женщина, ведущая неравную борьбу с тяготами тыловой жизни. Людмила Николаевна Москальцова – дама очень интеллигентная, всё читавшая, остроумная. С моей мамой они сразу нашли друг друга. Москальцовы, возможно, считали, что это мама включила свет. Скорей всего, они обе его включили. Как это важно: найти своих. Наверно, это важно и унылым людям – вместе поплакаться в темноте. Возможно, им это даже более важно. Но я тоже предпочитала свет. Мы зажили почти общей жизнью. Людмила Николаевна орлиным взором охватила нашу квартиру и тут же вклеила первое прозвище. «Сонька – руль!», – вскричала она, увидев Софью Израйлевну. Наш человек! Мы тоже занимались этим фольклором. В дальнейшем все семейство кратко именовалось «Рули».

Москальцовы были местными, первыми местными, которые голодали так же, как мы. Отец семейства – преподаватель института, типичный интеллигент старой школы, мягкий, деликатный, непробивной. Он очень мало говорит. Я его почти не вижу. Возможно, его смущает, что их семья оказалась чуть ли не беднейшей из всех старожилов. И наверняка у него много дополнительных работ, за которые ему платят гроши.

У них две дочери: Таня и Наташа, удивительно непохожие друг на друга сестрички. Таня на год младше меня и гораздо взрослее. Наташе десять лет и она совершенное дитя, наивное и милое. Она очень хороша собой, голубоглазая с золотистыми волосами. Таня некрасива, но умеет «себя подать»: легко наводит почти отсутствующие брови, пудрится, чуть-чуть помады, отлично делает себе причёски. Вскоре возьмётся и за меня. Почему-то она учится в пятом классе, я не стала допытываться почему.

Любопытно, взрослость совсем не зависит от житейского опыта. В жизни Тани ни базаров, ни дворовых драк, совершенно домашняя девочка, но я все время чувствую: она взрослей меня. И снова это наказание: у Тани тоже склонность к сочинительству и это в моей жизни уже третий раз, увы, не последний. Она рассказывает мне о двух красавцах офицерах, они к тому же еще и друзья – бледный брюнет и румяный блондин. Они дарили ей цветы, водили в театр, а сейчас пишут письма с фронта. Я подсчитала, что в театр они её водили, когда ей было двенадцать лет, но после внучки Рузвельта меня ничем не удивишь. Я просто не даю себе труда поразмышлять, есть ли

в этой истории хоть намёк на правду.

А вот рассказ Людмилы Николаевны о Наташе разволновал меня всерьёз. У Москальцовых большая квартира, и они сдают то одну, то две комнаты квартирантам. Самыми первыми жильцами были оборотистые эвакуированные люди, и маленькая семилетняя Наташа завидовала их собаке: «Мама, посмотри, у Жульки в миске такие жирные куски!»

Таня не только подружилась со мной, она тут же ввела меня в местный девичий кружок. Почти все девочки живут в нашем доме, только Тонечка из рабочей семьи. Их деревянный домик сразу за нашим забором и Тоня ходит к нам через дырку.

В нашей компании нет снобизма. И Тонечка, ходящая к нам через дырку, и Галя Щеголева, дочь замдиректора института – мы все на равных. А все-таки, может, не все? Таня нежно обращается с Тонечкой, но за глаза вдруг роняет: «Тонечка – травка». А вот у Гали Щеголевой этого нет – черноглазая, смуглая, с растрёпанными волосами, весёлая до буйства, она со всеми одинакова.

Правда, в доме живет девочка наших лет, которая к нам в компанию не входит. Но тут нельзя определить, чей снобизм. Скорее всего обоюдный. Их семейство отличает чопорность, в то же время они приторно нежны друг с другом: «мамуля», «папуля», «Динуля». Мы прозвали её Динуля-Собакуля. Интересно, она это знает?

Мы подружились с Таней, мы подолгу говорим, у нас много общих тем. Это хорошая дружба. Но мне чего-то не хватает, ещё какой-то дружбы, простой и тёплой, иначе в сердце образуется неприятная пустота. Это сейчас я так разбираю, а тогда я просто подружилась со своей одноклассницей Галей Васильевой. Она живет в маленьком деревянном домике, укрывшемся в кустах, очень близко от нас. Когда Галя возвращается из школы, она проходит мимо нашего дома.

Кстати, пора бы, наконец, вспомнить о школе. Какие девочки там учатся, какие читают книжки? Что представляют собой учителя?

С чтением занятно получается, словно в шахматы играешь: чёрное – белое – чёрное – белое, так и скачут из года в год. Гедонисты литературу презирали. Год спустя сменивший обличье класс упивался чтением. Прошлый год запомнился только собственным моим чтением – Диккенс, «Война и мир» – не читающие были девы. И вот этот, наконец, восьмой, где некоторым уже по семнадцать лет. О мальчиках разговор не ведут, да и нет их в школе. Но по классу кочует сборник лирики Константина Симонова «Тебе и мне», по моему, в него все слегка влюбились, тем более, что на обложке портрет: красивый, мужественный, с усиками и с трубкой. Тем не менее, некоторые

стихи смущают нас откровенностью. Ходит слух, что в этом мы совпали с товарищем Сталиным. Говорят, что он сказал: «Эту книжку надо было издать в двух экземплярах: ему и ей». Однако симоновские стихи мы читаем и даже помним наизусть. Но душа лежит к романтике в чистом виде. И романтики этой – море, всё больше из дворцовой жизни. Все те же картонные корочки с растрепанными страничками переходят из рук в руки.

В этом бизнесе есть монополист. Валя, девица, чем-то напоминающая мне купчиху из Островского, высокая, крепкая, с ярким румянцем, холодными синими глазами и властным нравом. Книг у неё бездна. Она даёт их нам читать на строго определенные сроки и безжалостно отбирает недочитанное. Есть книги, которые в руки к нам не попадают, но иногда на большой перемене или после уроков Валя пересказывает нам понравившиеся ей эпизоды, в лицах, с выражением. Совсем как Диккенс в свои последние годы, если бы не одна странность. Я запомнила фразу: «МерзавЕц! – вскричал герцОг». И таких немало.

Однажды я увидела её на рынке, она продавала очень крупные, явно свежие яйца. «Почем за штуку?» – осведомилась я из чистого любопытства. Она ответила не сразу – ясно ведь, что я не покупатель, но процедила, наконец: «Пятнадцать».

Учителя в школе интеллигентные. Только учительница литературы выучилась грамоте в двадцать лет, кажется, она родом из очень глухой деревушки. Но она так искренне любит свой предмет, так деликатна с нами, читающими с детства.

Математик у нас хороший, правда, очень уж язвителен. На жалобное объяснение: «Я не успела..., я со школой ходила...» холодно вопрошает: «А школа куда ходила? Школа на месте стояла». Как-то я запуталась у доски и простодушно лягнула: «Я потерялась». «Найдись!» – последовал суровый совет. Все это очень нравится всему классу, кроме объектов его иронии.

В школе новый предмет – рукоделие. Его ведет Ходыча (не помню отчества), рыжеволосая изящная татарка. По-русски говорит превосходно. Вид рукоделия выбрала насущный – учит нас штопать. Почти все мы ходим в дырявых чулках. Дыры огромные, их не штопать, а латать приходится – из двух пар выходит одна. Преподаватель из Ходыча – отличный. Я до сих пор штопаю идеально. Только необходимость в этом искусстве стала весьма редкой.

В школу я поступила с опозданием, а чуть попозже в классе появился новый учитель. Прежнего я не запомнила, а этого помню всю жизнь. Был он немолод и некрасив, широк в плечах, с большим лицом простого русского человека. Он сказал, что будет вести у нас русскую средневековую историю и всемирную – новую. И представился, медленно повторив дважды: «Павел

Иванович Балясников».

С первого же урока я слушала его, не пропуская ни словечка. Рассказывал он очень интересно, особенно о русской старине, не ограничиваясь учебником, добавлял от себя какие-то подробности, и это нам особенно нравилось: чудесным образом приближало к нам давно минувший век. В учебниках ведь ничего не говорится о причинах ссоры Ивана Грозного с его старшим сыном, закончившейся гибелью наследника престола. Вся наша история иначе бы пошла, если бы не эта семейная склока.

Вскоре и учитель заметил меня. Книг я прочитала множество и не про «герцОгов». А исторические особенно любила. Я отвечала на вопросы, ставившие в тупик нашу абсолютно круглую отличницу Бубенчикову. Постепенно я стала кем-то вроде ассистента на уроках истории. Так, однажды Павел Иванович вызвал меня к доске и попросил назвать исторические романы, которые я читала, и желательно фамилии авторов. Я ринулась перечислять от «Аскольдовой могилы» до «Батыя». Авторы я всегда запоминала. Затем спросил, кого из них я ценю всех выше, и услышав мой ответ, одобрительно кивнул. Потом стал объяснять, обращаясь к классу, как полезно чтение исторической литературы и особенно – он взглянул на меня – произведений Вальтера Скотта.

В другой раз по его просьбе я подготовила и читала наизусть знаменитых «Зодчих» Дмитрия Кедрина. Я читала с чувством, голос так и звенел, когда дошла до самого жуткого: «И тогда государь повелел о с л е п т ь этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в суздальских землях и в землях рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова».

Мне повезло – я встретила учителя, который не просто любил свой предмет, он и среди нас искал искру живой любви к истории. А как радуется душе сознание, что кто-то ученый и умный видит в тебе своего продолжателя. И я действительно твердо решила тогда, что буду поступать на исторический.

Но я не поступила на истфак. Уже во Львове в девятом и десятом классе историю нам преподавала полуграмотная тёмная баба. Читала я по-прежнему увлечённо, много, главным образом русскую и английскую литературу, в основном XIX век. Увлечение не всегда бывает единственным. Я поступила на филологический факультет, но история меня не отпускала. Не случайны были годы чтения одной лишь исторической литературы. Не случаен и Павел Иванович, так умевший оживить героев минувшего времени. Помню, в юности читала я «Петра I» Алексея Толстого и в сцене, где появляется омерзительная, по воле автора, царевна Софья, я вдруг вскинулась: «Врёт он! Она не такая! Я на её стороне».

Долгое время я с увлечением работала переводчиком английской прозы,

потом стала писать «своё». И вот тут-то она меня и настигла – допетровская Русь. Увлечения мои слились: я пишу исторические повести и романы, и давно умершие живы для меня. Я по-прежнему на стороне царевны Софьи.

Недавно перечитывала «Семейную хронику» Аксакова и увидела фамилию Балясников в списке первых выпускников Казанского университета. Не предок ли? Ведь русские дворяне – часто люди с простыми лицами.

Я сменила в своей жизни семь школ. В этой чехарде, конечно, позабыла почти все имена и отчества учителей, хотя самих учителей помню. Особенно двоих. Ольга Исаевна Гудзенко, замечательная, талантливая. И самый главный, самый памятный, чьё влияние ощущаю и сейчас: Павел Иванович Балясников. Любопытно, что бы он сказал, узнав, каким путем пошла его любимая ученица. А что любимая, я не хвастаюсь. С Павлом Ивановичем мы ещё не прощаемся здесь.

Я думаю, Автодорожный институт был бы совсем другим, если бы не заместитель директора Щеголев. «А какая у него библиотека!» – восклицает Людмила Николавна и замолкает, не находя адекватных слов. Я наслышана о знаменитой щеголевской библиотеке. Её, конечно, собирали еще отец теперешнего владельца, а может быть, и дед. По моим впечатлениям, поколение бабушек и дедушек в Ташкенте, как русских, так и узбеков, было культурнее поколения наших родителей.

Но замдиректора Щеголев несомненно интеллигент. А кроме того, он человек светский, а к тому же, что очень важно, инициативен. И все эти симпатичные черты благотворно сказываются на нас, живущих при институте.

Ну много ли концертов и праздничных вечеров бывает за год в других институтах? Седьмое ноября, Новый год, который все норовят встретить дома, 8 Марта, 1 Мая. Три-четыре и обчёлся. А в нашем «Автодоре» со счету можно сбиться. Студенческая самодеятельность блещет разнообразием. Во-первых «скетчи» – маленькие пьески, очень смешные. Например, про строгую медсестру. «Как фамилия, укушенный? Где работаете, укушенный?» А еще концерты: танцы, декламация, вокал. Худощавый студент со слишком длинными для военного времени волосами на всех вечерах исполняет песенку из только что вышедшего фильма: «Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви».

Впрочем, Щеголев отнюдь не готов ограничить культурную жизнь самодеятельностью. Он любит оперетту, ездит в театр, знаком с актерами, говорят, ухаживает за актрисами и частенько приглашает их дать концерт в нашем институте. И мы все, конечно, тут как тут. Актеры хорошие, я даже до сих пор некоторые фамилии помню. Лирическая героиня Мацевич, очень

красивая, комическая – Коносевич, полненькая, быстрая и танцует легко. Мне кажется, в оперетте важнее всего танцы. Насмотревшись на отрывки оперетт, я чувствую необходимость увидеть все эти истории целиком. И начинаю ходить в оперетту.

И тут появляется новое увлечение. Изучая стенды с афишами, я внезапно натываюсь на огромные буквы: ОБРЫВ. Да ведь я совсем недавно этот роман читала, и вот они все ожили на сцене: и бабушка Татьяна Марковна, и Марфинька, и обаятельный негодяй Волохов. И до сих пор я помню этот голос: «Там, на дне обрыва навек похоронена ваша ч и с т а я Вера!» Сколько горечи в этом слове! Артисты были так талантливы или это молодость моя?

Могла ли я представить что-нибудь подобное в Старом городе два года назад? Война движется к концу, и с каждым днем все реальнее предстоящая встреча с родным отцом. А он пишет теперь чаще. Расспрашивает обо мне маму. И денежные переводы вновь пошли. Вероятно, думал, что при Викторе мы не голодаем. В свой последний приезд Липкин привез от папы посылку. Посылка произвела сильное впечатление. Что такое гольфы, никто понятия не имеет, а папа не представляет себе размер моей ноги. Белые, шелковые, с кружевной мережкой, я называла их «носочки великанши» и долго хранила, как сувенир. Два шелковых отреза отложены до лучших времен.

А времена по-прежнему далеко не во всем лучшие. Наши наступают и теперь уже всем ясно, что война идет к концу. Поэтому и пробуждается давно забытое: новое платье, мороженое, театр. Платье серенькое, из какой-то очень дешевой материи, чуть гуще марли. Но это новое платьице и оно очень нравится мне. А мороженое продается в стеклянных банках, оно бурого цвета и похоже на грязный растаявший снег.

Голодны же мы по-прежнему и грызем зелёный камень под названием жмых, который, кажется, и не еда вовсе, а отвлекающее занятие для голодных. И друзья наши, интеллигенты Москальцовы, тоже грызут этот зелёный, твердый жмых. Они сдали две комнаты преподавателям института: узбеку и казаху. Узбек – «досент кафедры химия», он знает, что говорит неправильно, его корил за это отец: «Ты – дурак, о, как ты коверкаешь благородный русский язык!» – откровенно цитирует он отца на своем ломаном русском. Впрочем, по сравнению с молодым казахом с кафедры марксизма-ленинизма, он интеллигент и говорит о соседе, удивленно пожимая плечами: «Москва учился, не с верблюда слез». Фраза настолько афористичная, что до сих пор находит применение. Вероятно, деликатные Москальцовы берут с них очень мало денег за жилье, потому и голодают не меньше нас.

Впрочем, Виктору как-то дали неочищенный, в скорлупе, рис. Он раздобыл где-то необходимую ступу и длинную шуковину, выполняющую роль пестика,

и толчет его в большой комнате. Пыль стоит столбом, в ней носятся кусочки шелухи. Голову он обвязал полотенцем и говорит: «Я – опа». Вот такие перемены, даже шутить начал.

Таня Москальцова придумала мне очень удачную прическу, скромненькую и к лицу. Лоб открыт, впереди две маленькие косички, они вплетаются в две большие. У меня даже фотография сохранилась: в новом сереньком платьице и с новой прической. Всем понравилось. А совсем недавно, когда отметили папин столетний юбилей, её даже показывали по телевизору. В 44-м году я и понятия не имела о телевизоре, но меня мощно захватил театр. Я настолько им увлеклась, что, посоветовавшись со старшей пионервожатой, подобрала небольшую пьеску на военную тему, и стихийно образовавшийся драмкружок, избрав меня и старостой и режиссёром, спешно готовит спектакль к Новому году, до которого осталось не так уж много дней.

Таких пьес для самодеятельности было тогда множество, их пекли, как блины. Захваченная немцами деревня, свирепый эсесовец угрожает старикам и бабам, и уже готов спустить курок, но тут весьма кстати появляются партизаны.

Ни в нашем восьмом, ни в седьмых я не видела подходящей кандидатуры на роль эсэсовца. Типаж неожиданно отыскался среди шестиклассниц. Высокая толстенькая девочка по фамилии Борзых, – яркий румянец и пышные золотые кудри. «Смотри, Борзышка, – предупреждаю я, – эсэсовца играй, чтоб было страшно. А одежду где хочешь доставай, но чтоб вся была мужская и желательна военная. И слова чтоб выучила назубок – подсказывать не буду».

«Борзышка» не подкачала. Кирзовые сапоги, мужские брюки, китель без погон, косы подобраны, а золотистый чуб свисает из-под козырька милицейской фуражки. На одном плече болтается планшет, на другом – расстегнутая кобура, в руках огромный пистолет допотопного вида.

Публика встретила её радостным воем, и, довольная успехом, она сразу вошла в роль. Сверкая карими глазенками, размахивала пистолетом и грозно наступала на несчастных селян. Мы раскачивались и стонали от смеха. Бурные аплодисменты в конце, все в восторге и чуть ли не порываются её качать, а эсэсовец в милицейской фуражке наверху блаженства.

Мой несколько странный режиссерский успех заставляет меня призадуматься. В результате я разыскиваю в институте комитет комсомола, сообщаю, что в нашей школе, в двух шагах от института, образовался драмкружок, и мы просим прислать нам руководителя из участников студенческих скетчей. В комитете к просьбе отнеслись серьёзно. Обещали нам прислать хорошего руководителя, но предупредили: у студентов сейчас сессия, затем каникулы, так что нам придется подождать до февраля.

Каникулы начались и у нас. Свои двенадцать дней мы отгуляли, а вслед за тем, всё в том же январе, впервые за военные годы решили отметить мой день рождения. Мама совещалась с хозяйственной Людмилой Николаевной, что бы нам такое приготовить «на наши несчастные средства» (парафраз из Саши Черного, которого мы очень любили). Гостей планировалось немного: женская часть семьи Москальцовых и рыженькая Наташка, наша соседка по квартире. Но тут случилось неожиданное. Мать и тетушка Наташи, марксистские дамы, категорически запретили Наташе присутствовать на моём дне рождения. Отношения у нас были добрососедские, но причина оказалась не личного свойства. Их большевистские души содрогались при мысли, что их Наташа собирается на какой-то праздник, где наверняка будут танцы. И это 23-го, всего через два дня после годовщины смерти Ленина.

Помню, как я возмущалась: не отпустить Наташку, которая ведет до невозможности унылый образ жизни! Возмущалась и удивлялась: ведь не 21-го же она будет танцевать, а 23-го, причём здесь годовщина? А сейчас мне кажется, я понимаю их, притом, что этих чувств совсем не разделяю. Ленинизм был их религией, а Ленин – богом. И печальную дату они воспринимали как личное горе, которое не улетучивается за два дня. Фокстроты за стеной им представлялись кошунством. Забытое слово. А надо ли его забывать? Святыни у нас разные. Но это их святыня.

Комсорг меня не обманул. В начале февраля к нам пришел высокий, обаятельный, красивый руководитель нашего драмкружка. Его звали Юра Никитин. Ученицы женской школы, мы мало общались с молодыми людьми, а тут ещё такой блистательный красавец. Девочки оживились, в кружок просились многие. Однако Юра должность свою исполнял серьёзно. Был с нами вежлив, но фамильярности не допускал. И если кто-то и вздыхал о нём, то тайно. В кружок он принимал только способных и сразу начал с нами заниматься. Меня назначил старостой, с выбором репертуара не спешил. Говорил, что нам надо учиться, и учил – на декламации, на эпизодах. Я придумала ему кличку Отелло. И она к нему прилипла. На Отелло он был вовсе не похож – белокожий шатен, сдержанный и спокойный. Очевидно, беспокойны были мы.

Наша добрейшая учительница литературы, видя мою приверженность к театру, поручила мне сделать заявку в театре русской драмы для всего нашего класса на премьеру «Горе от ума». Грибоедова мы как раз проходили. А премьеры ожидалась попозже, под конец учебного года.

Ранняя ташкентская весна уже дала о себе знать, и Ходыча, наша учительница рукоделия, отменила занудную штопку и приобщила нас к

гораздо более изящному искусству. Мы стали плести кружева. Накидки, салфеточки, но главный крик моды – крохотные платочки с широкой каймой. При всей скудости нашего скарба мы каким-то образом ухитрились перетащить, пересаживаясь с поезда на поезд, огромный чемодан, полный шелковых «отрезков» удивительной красоты. Виктор привез его из Польши ещё в 39-м. «Воин Выхтор» – называла его тогда бабушка в своих молитвах. Эти отрезки мы почему-то никогда не продавали, терпя лютый голод. То ли не в ходу был подобный товар, то ли Виктор очень уж дорожил трофеем. Но сейчас в преддверии Победы всех потянуло к красоте, мы даже маникюр ходили делать в парикмахерской. Был открыт и чемодан с отрезами: алыми, розовыми, тёмно-красными, бежевыми – всех цветов, глаза разбегались. Тем не менее, мы очень скоро разглядели, что сложенные квадратиками отрезки перетерлись по складкам. Из всего этого изобилия, кажется, удалось с грехом пополам сшить две блузки, остальное пошло на платочки. Зато платочки – чудо, яркий шелк и нежная пена каймы, широчайшей, рядов в десять и больше. Мы их складывали наподобие цветочка и засовывали в кармашек. мода так распространилась, что был устроен городской конкурс платочков, на котором мы оказались не из последних – Ходыча упорно развивала в нас художественный вкус. Первое место занял мой платок: широкая кайма из белых ниток мулине и последний, двенадцатый ряд нежно розовый. Мой успех имел последствия. Секретарь райкома, дама, попросила, чтобы девочка, занявшая первое место, обвязала для неё персональный платочек. «Ты не делай, как на выставку, Катя, – инструктировала меня утонченная Ходыча. – Она узбечка, понимаешь, тонкий рисунок не оценит. Ты ей сделай что-нибудь поярче, попестрей».

Идея конкурса овладела не только нами. В доме преподавателей в то же время был объявлен волнующий конкурс: самая чистая квартира. Мама трезво оценивала наши шансы и в этой борьбе не участвовала. Но Людмила Николаевна, чистюля и великолепная хозяйка, всю душу вложила в честолюбивую мечту. Первое место, иначе и быть не может! Кто сравнится с её «четырёхкомнатной», блистающей уютом и чистотой? И действительно там всё сверкало, начиная от коврика у дверей. Роковой день наконец наступил. Дел у меня хватало, и я не следила за борьбой образцовых хозяек.

Она пришла к нам вечером, сломленная, с постаревшим лицом. Кто мог бы подумать, что в комиссии окажется тетка, чьи представления о чистоте превосходили всё, казалось бы, возможное. Эта изуверка поставила на стол табурет, водрузилась на это сооружение и обнаружила под высочайшим потолком пыль на верхней части абажура. Самое интересное, что кто-то предусмотрел этот финт. И не просто кто-то, а презируемая за отсутствие

культуры Дунька (так называла её – разумеется, не в глаза – Людмила Николаевна), жена директора института. Приз достался Дуньке, а Людмила Николаевна ещё долго оплакивала свой провал и высказывала подозрение, что Дунькина пронцательность была неслучайна. Кто знает, не предупредила ли её эта подхалимка из комиссии?

Что-то я не припомню, чтоб в довоенные годы устраивались подобные конкурсы. Да и впоследствии их тоже не стало. А вот в конце войны возникли на время. Уж не влияние ли союзников? Открыли второй фронт и сразу потеплело. Позже климат стал меняться... Вплоть до холодной войны.

Подошло и время грибоедовской премьеры. Мы собираемся у театра всем классом. Никогда не видела здесь такой огромной, оживленной, беспокойной толпы. «Нет лишнего билетика?» Этот вопрос мы услышали ещё за два квартала. Я иду к администратору с гордым сознанием своего превосходства и получаю заказанные ещё зимой билеты, большую пачку синеньких бумажек. Заслуга, впрочем, не моя. Молодчина наша литераторша. Вот уж не ждали, что такое множество людей захочет увидеть Фамусова именно сегодня. Премьера! Я сталкиваюсь с этим впервые. Раздаю билеты девочкам, на нас поглядывают с любопытством. Что такое? «Без билетов никто не остался?» – спрашиваю я и верчу в руках две синих бумажки: одна – моя, а на другую претендентов нет. То есть как это – нет претендентов? Вокруг меня вздымается какой-то вихрь. «Девочка, у тебя лишний билетик? Умоляю... Я тебе десять рублей дам». «Подумаешь, десять, я дам двадцать!» Я стою ошеломлённая. Девчонки наши тоже. А вокруг бушует стихийный аукцион. Когда доходит до пятидесяти, наступает короткая пауза, и я с облегчением вручаю счастливцу билет.

В антракте мы пируем. На все пятьдесят покупаем лимонад и пирожные, страшно довольные неожиданным приключением. Я даже не помню, понравился ли мне спектакль. Антракт запомнился. И продажа лишнего билета.

Сейчас уже не могу вспомнить, каким образом этих пятидесяти рублей хватило на всех. Трубочка с изюмом в уличном ларьке стоит десятку. Помнится, это были какие-то другие пирожные. Они, наверно, стоили дешевле. А может в честь премьеры нам сделали скидку.

Трубочку я так ни разу и не решила себе купить. Маникюр ходила делать, да и стоил он копейки. Но к еде у меня сложилось какое-то строго аскетическое отношение. Знала, что мне полагается, а что – нет; хорошо запомнила унижительный опыт с фасолевым супом. Ну, а если уж положенного не дают...

Однажды я немного опоздала в столовую. За столиками всё ещё обедали писатели, но мне сказали: кончилось, поздно пришла. Я отошла в сторонку и тихо заплакала.

– Стой! Ты кто такой? – услышала я за спиной мужской голос. – Зачем плачешь? Я здесь хозяин.

Я оглянулась. Передо мной стоял пожилой узбек в дорогом, с иголки костюме. Он и вправду оказался хозяином – директор Литфонда, поэт средней руки Чусты. Узнав причину моих слез, он тут же распорядился, чтобы меня накормили обедом. Затем сказал, что будет впредь моим отцом и отправился провожать меня до самого дома, дабы познакомиться с мамой. Меня многому научила ташкентская жизнь, но в чем-то я оставалась ребенком. А ведь мне исполнилось уже пятнадцать лет, для Ташкента опасный возраст. Но мне всё это и в голову не пришло. Добрый защитник, восстановивший справедливость и не оставивший меня голодной... Я доверчиво шла с ним рядом и недовольна была лишь одним: идти с ним было неудобно – он слишком сильно ко мне прижимался и трогал то за руку, то за плечо. Прикосновения эти были мне неприятны. Я старалась избавиться от них, чисто инстинктивно, дурные мысли не тревожили меня. Наконец мы добрались до дома.

– Чусты, – сказал он маме.

– Что это такое? – удивилась она.

– Моя фамилия, – с достоинством ответил он. – Не одна республика известный.

Затем он объявил насчет «отцовства», иными словами выразил желание покровительствовать мне. Мама пришла в ужас. Холодея от страха, она вежливо поблагодарила его за заботу, но уже на следующий день бросилась в Союз писателей к самому Хамиду Алимджану, главе Союза. Маленький изящный Алимджан отнёсся к делу вполне серьезно. Они долго совещались с мамой. «Ты думаешь, мстить будет?» – опасливо спрашивал он. Да и как было не опасаться? Девочка пятнадцати лет в Узбекистане не считается ребенком. А Чусты был сильной, влиятельной фигурой. Наконец они нашли простой, хоть и не очень надёжный выход. Мне было велено смотреть в оба, а при появлении Чусты убегать и прятаться. Я успешно следовала их совету, но однажды услышала у себя за спиной знакомый голос: «Что ты всё бегаешь?» «Я не бегаю», – ответила я кротко и лживо. Но тут кто-то подошел к нему и я молниеносно смылась. Больше я не попадалась. Наверное, он искренне жалел меня: когда прибыли американские подарки, мне достался очаровательный свитерок – из тонкой шерсти, нежно-желтого цвета. По моему, это был лучший из подарков. Не обиделся, не стал мстить «хозяин».

Тревожно и необъяснимо. Наши войска у самого Берлина, ну, а Киев-то освободили уже давным-давно. Мы послали письма сразу. Ответ: адресат выбыл. Адресат на Назарьевской – это бабушка, дядя Василий и тетя Маруся, с которой мы не виделись почти десять лет, и вот она собралась к нам наконец весной 41-го года. Нет сведений и о матери Виктора, суровой старухе, которой я старалась не попадаться на глаза.

Мы пишем соседям, мы пишем знакомым, никто не отвечает – Киев опустел. Тот Киев, где было так много друзей, что он казался мне большим и теплым домом. Что с ним сделали? Почему он холоден и пуст?

И тут мама начинает писать в Высокое и Шаповаловку, раскулаченные казачьи села; голодным, нищим людям, которых я помню по тридцатым годам. Мы помогали им тогда. А в двадцатые они каждое лето кормили маму и её подруг. И вот пришли сороковые, и вновь деревня приходит на помощь. Сперва письмо от тётки Софьи из Шаповаловки: не пропали наши, живы, они тоже списались с деревней. И вскоре вслед за письмом тети-Софьи градом посыпались бабушкины и дядины письма. Дядька пишет с забавными цитатами из Писания. «Благодарю Господа за то, что уберег вас от человека, в ночи приходящего, от стрелы, во дни летящей, и от беса зрящего». Мама считает, что беса он выдумал. Я, хоть и не училась ещё на славянском отделении, в подлинности цитаты не усомнилась. Случайности войны предоставили дяде возможность обновить свои знания священных текстов. Бежав из Киева, они в конце концов оказались в каком-то селе и местные жители обратились к нему с просьбой: «Вы люди верующие и образованные. Станьте нашим священником, мы уже не помним, когда они у нас были». Духовные власти посвятили дядюшку в сан, и все годы оккупации он прослужил иереем местной церквушки. В память об этом у меня хранится его наперсный крест. Затем он расстригся, не его это призвание. Но в тяжелые годы оккупации всё же исполнил свой долг.

Очаровали меня бабушкины письма. Весточку о нас они получили на Пасху. Удивительные письма! Такие, наверно, никто не писал. В них так светло, так радостно переплелись слова пасхальных молитв, благодарение Богу и нежная, родственная любовь.

«Катечка, пташечка, посадила бы тебя на колени и слушала твое щебетанье». Не помню, чтоб я сживала у бабушки на коленях. Вероятно, ей какие-то совсем давние годы вспомнились. Обычно я сидела с ней рядом, тёрла в медной ступке мак и училась лепить вареники. Мне нравилось смотреть, как она расчесывает свои красивые тёмнорусые, не поседевшие, но, увы, поредевшие волосы. Я любовалась ими, а она смущенно улыбалась: что хорошего в таких волосах? И теплая волна любви окутывала меня. Внученька, щебетунья, птичка. Я все время что-то сочиняла и рассказывала

ей. После этого меня уже никто не слушал и птичкой не называл.

Да и она не называла меня птичкой, моя сдержанная бабушка, северская казачка. Называла меня Катечкой, и всегда я ощущала эти теплые волны любви. А сейчас на радостях и слова прорвались, невысказанные прежде слова.

Узнали мы и горькое, и страшное. Тетя Маруся умерла в оккупации, на чужбине, вдали от мужа и сыновей, в тяжелую годину поражения. Это вот и есть цена победы: тёплая радость встречи и тут же горечь потери.

Прекрасны эти месяцы предвкушения Победы и возвращения в мирную жизнь. Весенние улицы запестрели желтым и розовым – наши модницы сшили себе марлевые платья и покрасили их лекарствами военного времени: марганцовка и акрихин. Театр, концерты и, конечно, кино. Конкурсы рукодельниц и домохозяек. Скорей, скорей, опережая время, мы спешим вернуться в предвоенное бытие, без хлебных карточек, обстрелов и бомбежек; исчезнет чувство голода, которое не покидает никогда; мы перестанем мыть голову керосином. Все эти ужасы останутся в прошлом и наступит, почти наступила мирная нормальная жизнь.

Нет, мы зря торопимся, война не останется в прошлом, так, как прежде, никогда уже не будет: вернуться к миру далеко не все. Приходят треугольные конвертики, надписанные незнакомым почерком, и холодный ужас сжимает сердца. Убит брат, отец, сын. Убит тот, кто отвоевал всю войну, и судьба его, казалось бы, хранила. Убит юный, почти мальчик. Он так стремился успеть, принять участие в великой войне. Как ужасно получить это известие уже после её окончания.

Последние военные месяцы это не только радость ожидания, но и невыносимая боль потери, острое чувство несправедливости судьбы.

Примерно за полгода до конца войны, в ноябре 44-го, пришло последнее письмо от моего двоюродного брата Коли. Родных сестер и братьев у меня не было, да и всего нас было трое внуков и ощущали мы себя родными.

Письмо сдержанное, даже шутовское, но в то же время родственное, сердечное, именно такое, какое может написать интеллигентный молодой офицер, не желающий огорчать своих близких. И лишь усталость промелькнула однажды – давно положен двухнедельный отпуск, да всё откладывают. Коля окончил лётную школу перед самой войной. Навоевался, дальше некуда.

А потом пришла похоронка. Николай Николаевич Гончаров погиб в бою смертью героя, мучительной и страшной – сгорел в самолете над Балтийским морем. Помню, долгие годы я всё воображала себе, что это ошибка, что он выбросился с парашютом, попал к союзникам и внезапно приедет к нам из

Англии. Эта фантазия так надолго засела в моей голове, что с годами я начала представлять себе постаревшего Колю.

Фотография его стоит в моей комнате. Красивое и милое лицо молодого летчика «на полке пожелтевших книг». Раньше подруги спрашивали кто это. А теперь его никто не замечает. Кроме меня.

Ужасен и несправедлив закон войны. Отчего погибают лучшие? И почему ему не дали этот отпуск? Может быть, все дело в нём?

Погибают лучшие. Они ведь себя не жалеют. А может, тех, кто вернулся, изменила война?

За махоркой на рынок посылали меня. Махрой торговали на обочине рынка. Махорочники стояли или сидели у своих мешков с крупно нарубленными листьями и стеблями. В каждом мешке – граненый стаканчик-мерка, стаканчик невелик, зато насыпали с походом, высокой горкой. Величиной чуть ли не с тот же стакан.

Торговали махрой инвалиды, хмурые, небритые мужики, гимнастёрки мятые, ворот нараспашку. Здесь всегда разило перегаром, и, как выразилась одна лаконичная баба: «Матушка в воздухе так и стоит».

Инвалиды были бешено вспыльчивы, чуть что – крик, перебранка, драка. Женский голос пронзительно вопит: «Бей, жида, Вася!» Думаю, и Васе доставалось. Дрались свирепо, в кровь. И кулаки расшибали в кровь. Баба была мне противна. Служивых я жалела. Хоть и торопилась уйти поскорей. Не вдумываясь, чутьём знала: это ведь такие же ребята, что везли нас когда-то в вагоне и не позволяли ругаться при нас. Мы сами так переменились за четыре года, сидя в тихом безопасном тылу, что ж о них-то говорить? Защитники наши. Они ведь нас и вправду защитили, не пожалев себя. Безрукие, безногие обрубки на деревяшках, измученные, выжатые войной.

Я встречала потом множество фронтовиков – они работали, учились, не лаялись матом. Иные из них многого добились в жизни. Но я видела и не раз, как легко им сорваться. Вот он, сталинский стипендиат, институт им гордится, а вот его уже выгнали из этого института, и он пьяный лежит на снегу. Вот он, стройный, тонкий сын полка, весь в орденах, красив, талантлив, но я знаю, он покушался на себя, его едва спасли. От него я, кстати, узнала, что оказалось самым невыносимым для многих. Они не только Родину защищали, воевали за все прежнее. Они почувствовали на войне, что могут многое, и им виделась новая лучшая жизнь. Лучшей жизни на Родине не оказалось.

Война отодвигалась всё дальше и дальше и, если бы я не вспоминала всё, о чем пишу, то, пожалуй, могла бы сказать, что большинство знакомых мне фронтовиков очень спокойные люди.

Раз уж речь зашла о вернувшихся с фронта инвалидах, не могу не вспомнить тех, с кем мы сталкивались почти ежедневно. Я до сих пор со стыдом вспоминаю об этом.

В наших женских к тому времени школах примерно с 43-го года появились фронтовики-инвалиды. В недавнем прошлом деревенские или рабочие парни, они внезапно оказались в роли преподавателей у начитанных, бойких ташкентских школьниц. Они старались – преподавали тактику, историю войн, следили – не успешно – за правильностью своей речи.

А в нас словно бес какой-то вселился. Их неуверенность в себе, желание заинтересовать нас не вызвали сочувствия. Наоборот, пробудили в нас нечто скверное, чего мы сами в себе не подозревали. Мы принялись изводить их. Усвоили по отношению к ним какой-то неуместный насмешливый тон. Все смешило нас – и рассказы о пунических войнах, и то, что неизвестно, куда же всё-таки ранен военрук, и неумело скрываемая влюблённость совсем молоденького лейтенанта в пышную второгодницу.

А иногда мы просто «бесились» и вытворяли Бог знает что. Боюсь, что я была не из последних. Во всяком случае именно меня доведённый до края военрук на две недели исключил из школы.

Из школы меня исключали дважды. В пятом классе на три дня по указанию самого директора. Это первое исключение я считаю несправедливым, меня подвела случайность. Дело было так. Как только прозвенел звонок, призывающий нас на урок математики, кто-то крикнул: «В буфет пончики привезли!» Тотчас человек десять–пятнадцать ринулись к окну – класс находился на первом этаже – и, выпрыгнув, побежали к буфету. Я пролетала над подоконником именно в тот миг, когда открылась дверь и на пороге появился математик, он же директор, и меня, единственную из всех, подверг репрессии. Обидно, хуже некуда. Пончик мне не достался. А счастливы, выпрыгнувшие раньше, вскоре вернулись в класс, дожевывая пончики, и были допущены просто как слегка опоздавшие. Возмущенная несправедливостью наказания, я на следующий день вернулась в школу, как ни в чём не бывало, и никто не возразил ни слова. Я думаю, директор представил себе, как было дело, и понял, что погорячился.

На этот раз, в отличие от того давнего случая, я была наказана по заслугам. Мы изучали строевой устав. Военрука давно уж угнетали наши вялые, косноязычные ответы. В конце концов он не выдержал:

– Кто ж так отвечает! Доложить чётко, по уставу: что такое строй. – И тут же продемонстрировал: «Строй Тире Установленное Уставом Размещение Военнослужащих И Подразделений Для Их Совместных Действий Точка».

Ох, напрасно зацепил он знаки препинания! Я сразу же сообразила, какие перспективы это сулит. Не прошло и пяти минут, как я вскочила и четко, по

уставу выпалила: «Товарищ Военрук Запятая Можно Выйти Вопросительный Знак». Класс дружно захохотал или, как мы тогда выражались, «все грохнули». Началось нечто невообразимое. Девочки вскакивали и выкрикивали что-то по заданному мною образцу. В классе Бог знает что творилось.

Военрук поспешно вышел. Мы выбежали вслед за ним, ошалелые от чумного восторга. У стенки стоял веник. Сама не зная почему, я схватила его и столкнула вниз по широким, с выемкой, перилам. Военрук тем временем толкнулся в кабинет директорши, находившийся на первом этаже прямо под нами, обнаружил, что он заперт, и тут же бросился обратно. Веник въехал ему прямо в лицо.

Снова смех. Он успел заметить, что и это – моя провинность. Правда, на сей раз непреднамеренная. Как могла я угадать, что директорши не окажется на месте, а военрук так быстро кинется назад. Но этот веник явился той самой последней каплей, которая переполняет чашу.

В тот же день на доске объявлений появился приказ об исключении меня из школы на две недели. Подчиняться я и не подумала. В первый же день моего исключения я преспокойно сидела за партой, и опять-таки никто не возражал.

Все школьные военруки носили звание «заместитель директора по политической работе». Этот титул позволял им вывесить приказ, что «ученица такая-то исключена из школы на один день... на две недели...». Право было, не было авторитета, чтобы заставить выполнить приказ. Директрисы скептически относились к дисциплинарным санкциям своих политических замов. «Ходит девочка в школу и правильно делает. Ученикам учиться надо. И незачем дурацкие приказы издавать». Прямо это не говорилось, но подразумевалось.

Всю жизнь, с детства и до сих пор, я уважительно относилась к воевавшим людям – фронтовикам, инвалидам. И что это на нас накатило?

Что на нас накатило, до сих пор не разберусь. Но уверена, что понимаю, почему они с такой кротостью терпели наши выходки. Они нас жалели!

Хорошие ведь были девочки, книжки запоем читали. И не такие уж маленькие, чтобы не понимать. Мы учились в неполной школе – восьмилетке, и наш класс был старший, выпускной. «Восьмой класс! Хозявы в школе!» – укоризненно говаривал наш предпоследний военрук.

То, что мы, «хозявы в школе», вскоре навсегда расстанемся с нашей восьмилеткой, полагалось отметить. Стало известно, что к Первомайскому празднику несколько девочек, наиболее выдающихся в учёбе и общественной работе, будут торжественно приняты в комсомол.

Я не сомневалась, что войду в эту престижную группу. Основательница и староста драмкружка, бессменный редактор стенгазеты. Что до учёбы, мне даже в голову не приходило сравнивать себя, скажем, с Бубенчиковой. Старательная зубрилка, с одинаковым усердием выдалбливающая свои круглые пятерки (мои были куда полновесней). Мне даже нравилось, что я не «круглая». Разве можно все предметы любить одинаково? Это значит ничего не любить. Ну вот не нравится мне химия и черчу я неважно. Отсюда две четверки в моем табеле, ниже четырех я всё же не спускалась. Но кто первый решает самую трудную задачу? А об истории и литературе и говорить не стоит.

Подошел день приёма и стало известно: Бубенчикову и ещё нескольких совсем уж не круглых учениц приглашают стать комсомолками, меня – нет. Тут я впервые поняла: середнячок – это сила. И позже сколько раз миновали меня всякие почетные грамоты и отличия. Позже-то я привыкла. Но тогда, в пятнадцать лет, впервые, я возмутилась и оскорбилась. И по активности натуры не просто проглотила обиду, а приняла решение: не буду я вступать в ваш комсомол. Не приняли, когда мне полагалась: так вот вам; всех будут принимать, а я не вступлю. Словом, повела себя даже хуже, чем отрицательный герой Василия Ланового в его первом фильме.

И в самом деле: меня с боем туда втащили аж на третьем курсе института. Так что, пожалуй, меня правильно тогда не приняли. Не было во мне комсомольской дисциплинированности, (а, по правде говоря, вообще никакой).

Да и что такое уж важное сулил мне комсомол? Платить членские взносы и сидеть на собраниях? Правда, отсутствие комсомольского билета – значков мы уже не носили – могло бы помешать моей служебной карьере. Однако служба моя складывалась так, что наличие или отсутствие у меня этого билета на *моей* карьере никак не сказывалось. Сперва я работала учительницей в шахтёрском посёлке, и директриса была счастлива, что в школе наконец-то появилась «англичанка» с дипломом о высшем образовании. Затем я переехала в Москву и поступила на службу в библиотеку иностранной литературы. Директор и основательница библиотеки, знаменитая Маргарита Ивановна Рудомино, была известна тем, что собирала под свое крылышко тех, кого никто другой не брал: бывших эмигрантов, бывших зеков и ученых, посвятивших себя какой-нибудь «лженауке», например генетике. А потом я ушла на вольные хлеба, стала переводчиком англоязычной прозы, и ни в одной редакции меня ни разу не спросили о членстве в комсомоле или в партии. Так что действительно не столь уж важно это было.

А что важно? О, когда приходит действительно важное, тут сомнений нет.

Прошло всего несколько дней и наступило самое важное и долгожданное. Четыре года мы ждали его.

День Победы, 9 Мая! Я ликовала вместе со всей страной, со всей школой, с девочками из нашего дома. Сдержанная, «взрослая» Таня и экспансивная Галя Щеголева, и Тонечка, которая ходила к нам через дырку, и другие, кого я уже не помню, но день этот я не забуду никогда. Мы ходили весь день и пели наши любимые военные песни, потом начинали кричать «ура», а накричавшись, снова продолжали петь. Помню, мы всё время возвращались к песне артиллеристов из знаменитого кинофильма. Что-то было в этой песне отчаянно стремительное, что выражало наш экстаз: «Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь, огонь!» Эти сотни тысяч соответствовали масштабам нашего восторга.

Мы охрипли и хриплыми голосами продолжали петь и кричать «Ур-р-ра!» Мы ни разу не присели и ходили весь день до вечера. Никакая сила не заставила бы нас остановиться, замолчать. День Победы – великий праздник, мы празднуем его каждый год, он стал любимым праздником России. Но День Победы 45-го года – незабываемый день.

А с 20-го мая начались экзамены. В отличие от многих, экзамены я любила. В первой тройке шла к столу за билетом и обычно отвечала первой. Мне нравилось, чтобы меня спрашивали подольше, ведь я могла ответить на любой вопрос. Думаю, тут превалировало не желание покрасоваться перед учителями, хоть и оно, конечно, было, а чувство очень важное для самой себя, впервые появившееся в детские годы и сопутствующее мне всю жизнь. Учителя учителями, но главное, что я собой довольна. Отрадно сознавать, что когда-то я успешно преодолела себя. Первые экзамены в четвёртом классе, как панически я их боялась! А потом каким-то образом преодолела страх и с тех пор не только не боялась, а полюбила их.

То же самое с прививками, которые делали тогда довольно часто. Завидев белые халаты, я переставала ходить в школу. Не так быстро, как в первом случае, я опять же победила боязнь – выходила первая, с независимым видом. Помню, мне вкололи некую адскую смесь, комплексную вакцину военного времени от обоих тифов и еще чего-то. Её вскоре запретили, во всяком случае для школьников, говорят, каким-то медикам влетело. Боль была так сильна, что я окаменела и, не в силах сдвинуться с места, продолжала стоять все с тем же дурацким независимым видом.

Но вернусь к экзаменам. Поначалу всё шло, как обычно. И лишь маленькое затруднение заботило меня, когда я начала готовиться к экзамену по истории. Мы готовились по списку, розданному нам: тридцать билетов и в каждом по три вопроса. Первый вопрос – главный, ответ нужен подробный; со вторым

можно справиться покороче; третий – вообще пустячок, назвать дату или что-то в этом роде.

Случилось так, что я пропустила по болезни войны Наполеона и лишь смутно представляла себе Египет, пирамиды, пески, слонов. Столь же смутно я представляю себе это сейчас. Невыученный основной вопрос о наполеоновских войнах я оставила напоследок, чтобы хорошенько проштудировать его, и торопливо двинулась по списку. Когда я добралась до конца, оказалось, что пора идти на экзамен, и я не только не успела изучить подробно, но даже один раз прочесть неосвоенную главу. Ну что ж, решила я, из тридцати билетов мне вряд ли достанется именно этот, и отправилась в школу.

Билет тащила в первой тройке, как всегда, и почему-то сразу посмотрела на третий вопрос. Грюнвальдская битва, 1410-й год, и сейчас помню. Помню и тоскливое чувство, охватившее меня. С чем-то очень неприятным ассоциировалась эта славная битва. Да, так и есть: войны Наполеона и консульства – основной вопрос. Решение пришло быстро – суровое и рациональное. Ни бэ, ни мэ не зная по первому вопросу, я могла рассчитывать только на тройку. Все остальные билеты я знала на пять, но если взять второй билет, мне на балл снизят оценку. Четверка по истории! Ну что ж, четверка все же лучше, чем тройка. И не теряя времени, я попросила другой билет. Ошеломленный Павел Иванович не хотел мне этого позволить и уговаривал успокоиться. Я, ничего не объясняя, твёрдо стояла на своём. С большим неудовольствием он наконец сдался.

Потом я долго-предолго сидела в глубоком унынии, ожидая, когда отстреляются все наши девочки. Потом мы ждали уже все вместе и, наконец, Павел Иванович вышел из класса, чтобы сообщить нам наши оценки. Все затихли в ожидании. Ужасная минута: я представляла себе, как удивятся наши девочки, и как мне будет стыдно. Дойдя до моей фамилии, он сказал: «Гроссман – пять». Дочитал список до конца и произнес в назидание небольшую речь об ученицах, которые, всё зная на отлично, так сильно волнуются на экзамене, что даже просят другой билет. Так он и не узнал, что на экзаменах я совсем не волнуюсь. С остальными экзаменами у меня осложнений не было.

Таким образом, со школой уже почти покончено. Остался только выпускной вечер. Юра Никитин, с нелепым прозвищем Отелло, подготовил роскошную программу. Кто-то будет петь. А кто-то танцевать. Одна из девочек наизусть прочитает главу о том, как Наташа Ростова приготавливала старую графиню к известию о гибели Пети. Скетч поставили, совсем как в институте, не Борзышка в милицейской фуражке. В число исполнителей я не вошла и

даже огорчилась немного. Но у Юры, очевидно, режиссёрское чутье. Он поручил мне конференс. Я объявляла номера и развлекала публику смешными байками и просто анекдотами. По-моему, именно так тогда поступали многие профессиональные конференсье.

Для торжественного вечера, где я выступала в роли ведущей, мне сшили новое платье. Тут пригодилась папина посылка. Два шелковых отреза, лежавшие в ней, показались мне неподобающе роскошными, и платьице мне сшили из серой холщовой обертки. Было оно пряменькое и узенькое, нарядным не назовешь. Но не могла я после обносок сразу облачиться в вискозу, о крепдешине не стоит и говорить.

Впрочем, публика была довольна, аплодировала, смеялась. Довольной осталась и я.

Театр я полюбила сильно. Были годы, когда, приезжая к отцу на каникулы, я ходила в театр по два раза в день. Перебравшись в Москву, старалась не пропускать премьеры. А потом всё как-то постепенно растаяло, и я бываю в театре крайне редко. Вот почему, написав так много о театре, я не хочу обойти молчанием то, что возникло в моей жизни в раннем детстве и осталось в ней навсегда.

Чтение! Об этом я довольно много написала.

А второе – кино. Важнейшее из искусств, в чём я полностью солидарна с В.И. Лениным, хотя не помню, чтобы я с ним в чём-то ещё соглашалась. Подозреваю, что нам нравились разные фильмы, очень уж смущает оговорка: важнейшее «для нас».

Кино я стала посещать ещё до школы, а потом – в ущерб школе, ещё позже – в ущерб институту. Мои первые фильмы: «Дети капитана Гранта» и радующий взор диснеевский утёнок. «Трактористов» я впервые увидела до войны и сейчас не пропускаю по праздникам. Полюбившиеся фильмы смотрю каждый раз, телевизор в этом случае не балует. Но не будем отходить далеко от Ташкента.

Что хорошо, что скверно, определяется с первой минуты. Шпионы в фильмах начала войны настолько омерзительны, что непонятно, почему их не пристреливают при первом же появлении на экране. Иное дело военные киноборники. Никогда не назывались гениями, но, безусловно, таковыми являющиеся, Крючков и Жаров, с гармошкой и балалайкой, перебрасываются бодрыми фразами: «Гутен морген! Вас ист дас? Немцы драпают от нас!» Именины сердца! И никого не смущает, что слово «драпать» первоначально применялось по отношению к нашим.

Я пересмотрела всего Протазанова. С «Насреддином в Бухаре» у меня

вышел казус. Как-то встретились мне девочки с одесской студии. «Сколько раз ты смотрела Насреддина?» – был чуть ли не первый вопрос. Я гордо ответила: «Восемь», и по презрительным их мордочкам поняла, как сильно я отстала от своих прежних подружек.

Чем дальше, тем больше выходило милых, добрых, далёких от жизни комедий. Леонид Трауберг снял прекрасный фильм «Актриса», тоже достаточно далёкий от жизни. Да и нужно ли это было тогда? Взять хоть «Подвиг разведчика». Не ведающий страха Кадочников восклицает: «Я пью за НАШУ победу!» Мы, конечно, понимаем, за чью победу он пьет. Но тупые киношные немцы остаются в полном неведении. Можно ли забыть этот кадр?

Открылся второй фронт и экраны заполнились галантными и романтичными американскими бандитами. Мне особенно нравился фильм «В старом Чикаго». Я смотрела его много раз, но почему-то всё забыла. Смутно помнится обаятельный гангстер, и девушка поет: «В старом Чикаго...» И всё же я не сомневаюсь, что Голливуд той поры не чета теперешнему. Он порадовал нас не только симпатичными бандитами, но и не менее привлекательными мушкетерами. Д",Артаньян ехал на своей древней кляче и во весь голос радостно пел: «Вар-вар-вар-вар-вара, душа моя Париж!». «Вар-вар-вар-вар-вара!» – на всех ташкентских улицах пронзительно орали мальчишеские голоса.

А во Львове меня ждал воистину киношный пир. О тех фильмах (трофейных) я немного написала в конце этих воспоминаний.

Мама утверждала, что смотреть три фильма в день может только сумасшедший. Как жаль, что ей ни разу не пришлось побывать в Москве во время кинофестиваля. И по шесть смотрели! А то и побольше.

Я чуть было не пропустила самое сильное из киношных впечатлений. Но так как оно вошло в классику, мне на днях о нем напомнил телевизор. Не понимаю, как я могла забыть? Это был не фильм, а ролик – в киножурналах наряду с последними известиями иногда показывали эпизод из кинокартины, которая ещё не вышла в прокат. Наваждение, иначе не назовешь то, что тогда со мной творилось. Я всем уши прожужжала, какой замечательный фильм скоро должен выйти на экраны.

Полутьма, солдаты в плащ-палатках, сонные, усталые. Кто-то уже спит, а кто-то пишет письмо, пристроившись поближе к источнику света. Не помню, что это было, скорей всего, коптилка. И лишь один, в бушлате и тельняшке, наигрывает на гитаре и вдруг тихонько начинает петь: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают».

Каникулы, последние каникулы в Ташкенте. Я по-прежнему торгую газетами и даже расширила коммерческую деятельность – кто-то из девочек втянул меня в торговлю мылом. Мыло ужасное – тёмно-коричневое и пахнет отвратно. Главное же, выручка ничтожно мала, учитывая цены 45-го года. Мне, правда, нравится, что я открыла «собственное дело», однако вскоре я его прикрываю. Зато подолгу стою в очереди за керосином и бегаю за махоркой к инвалидам в их торговый ряд.

И все же свободного времени остается много. Каждый день бываю я у Гали Васильевой. Их деревянный домик утопает в кустах. Мы прячемся в зеленых ветках от палящего солнца, болтаем и читаем. Я, как всегда, очень много читаю.

Чтением моим в какой-то мере руководит мама, во всяком случае, научила меня отличать хорошую литературу от ерунды, это главное. Цензуры почти никакой. За все мои детские годы я лишь дважды столкнулась с запретом. Когда мне было семь лет, я обнаружила, что существует Пушкин, и с тех пор не выпускала из рук толстый юбилейный том. Мама отнеслась к этому одобрительно, но почему-то запретила мне читать одну-единственную вещь: «Арап Петра Великого». Я покорилась. Через два года мама сняла запрет. Навсегда запомнила я этот вечер. Я устроилась под лампой и, затаив дыхание, замирая от счастья, приступила к чтению единственного непрочитанного мною рассказа Пушкина в толстенном томе, который знала чуть ли не наизусть.

И вот второй запрет почти взрослой пятнадцатилетней девице. В большой комнате посредине ничем не заставленного стола лежит толстый том Мопассана и притягивает к себе мой взгляд. Однако мне категорически запрещено к нему приближаться, особенно усердствует Виктор. Но я уже не семилетняя, и во мне пробуждается весьма свойственный временами бунтарский дух. Я стала читать Мопассана украдкой. Впоследствии запрет был снят. Не помню, как это случилось, но твёрдо знаю, что запрещённую прежде книгу прочли и Таня Москальцова, и я. Вероятно, её мама уговорила мою.

Долгожданное знакомство с французским классиком неожиданно осложнило нашу жизнь. Вопреки опасениям Виктора, этот писатель не оказал пагубного влияния на нашу нравственность, да он и цели такой не ставил, скорей наоборот. Но сила странного гения поразила нас рассказом ужаса – такой острой жути мы не испытывали ещё никогда. Рассказ был давно прочитан, а ужас не покидал нас. Рассказ этот назывался «Орля», едва ли его кто-то так уж помнит. Орля – невидимый дух, не воспринимаемый никакими органами чувств. Он преследует героя и вселяет в него панический ужас. Его появления неожиданны, и его жертва живёт в постоянном

мучительном напряжении. А появления его всё чаще, угроза нарастает.

Талант писателя, талант переводчика (это как бы не знаменитая Шишмарева, первая переводчица Мопассана) вселили в нас с Татьяной страх, ничуть не меньший, чем тот, которым мучился герой рассказа. Правда, днем мы о нём забывали. Да и вечером, при свете, при людях он не так уж преследовал нас. Заговорившись, мы гуляли дотемна по освещенной площадке у дома. Но наступала пора расходиться. Я живу на первом этаже, проблем нет. Они есть у Тани – она живет в другом подъезде, на четвёртом, и подъезд не освещается. Четыре этажа в кромешной темноте, тут мы полностью разделяем ужас героя. Я говорю «мы», ибо о том, чтобы Таня проделала этот путь в одиночку не может быть и речи. Я сама одержима таким же страхом и прекрасно представляю себе, что это непреодолимо.

И вот мы разработали довольно сложный план. Я провожаю Таню до её квартиры. Мы взбираемся в глухой темноте, замирая от ужаса, но мы всё же вдвоем. Четвертый этаж, добрались наконец-то! Таня широко распахивает дверь своей квартиры, свет, горящий в прихожей, бросает слабый отблеск на лестницу, по крайней мере на её верхнюю часть. Я кубарем скатываюсь вниз, а Таня стоит на площадке и ждет, пока я вылечу во двор и за мной захлопнется дверь.

Вспоминать теперь об этом трогательно и приятно. Вот такие мы были девочки в конце войны.

Какое жаркое лето досталось нам в наш последний ташкентский год – 43, а иногда и 45 градусов. Но, наверное, дело не в градусах, а в окне; градусы ташкентским летом всегда одинаковы. Дом супругов Асеевых – наше первое жилище – прятался в тени больших деревьев. Потом мы жили в тёмной проходной комнате без окна. В Старом городе оконце было крохотное. Нас повсюду что-то защищало от безжалостных палящих лучей. И вот, наконец, в этой комфортабельной квартире досталось нам огромное окно, ничем не заслоненное и выходящее на юг. Жить стало невыносимо, и мы вступили в борьбу за существование. Прежде всего мы замазали окно мелом. В комнате слегка потемнело, но она по-прежнему была заполнена иссушающей жаркой духотой. Следуя чьему-то доброму совету, я несколько раз в день выплескивала на пол ведро холодной воды. В комнате становилось почти прохладно, во всяком случае, когда я выхожу во двор, мне кажется, что я вступила в горящую печку.

Мама с Виктором куда-то вышли, я быстро подхожу к столу, открываю том запретного Мопассана и читаю с первого попавшегося слова. Прочла кусочек, пошла в ванную, набрала ведро воды, выплеснула её с порога, она быстро растекается по половицам и сухое дерево жадно впитывает её, а я,

шлепая босыми ногами по влажному полу, вновь подбегаю к столу, открываю Мопассана и читаю, тревожно прислушиваясь. Запретный плод.

В это жаркое лето судьба нам, наконец, послала и незапретные плоды: нам выделили грядку на институтском огороде. Всего одна грядка, казалось бы, не так и много, но урожай в Ташкенте снимают три раза за лето. Мы засадили её капустой и помидорами. Единственное из всех домашних поручений, которое я выполняю с огромным удовольствием: «Катя, сходи на огород, принеси помидоров». Это совсем не то, что «сходи за керосином» или «почисть кастрюлю». Я подхватываю ведро и весело бегу к нашей грядке. Первое, что я там делаю, это окидываю взглядом свой «участок», выбираю аппетитный матово-красный помидор, срываю его и впиваюсь зубами. Удовольствие неописуемое! Затем я набираю полное ведёрко. Удивительная грядка – сколько ведер я уже вынесла отсюда, а помидоров по-прежнему много, спелые, красные, и здесь и там выглядывают из зеленой листвы. Это вот и есть три урожая за лето: рвешь их, рвешь, а всё не убывают.

Воспользоваться до конца благодатным третьим урожаем нам не суждено было. Эвакуация доживает последние дни. Учреждения, заводы, институты и отдельные семьи – все двинулись на запад. И одесская киностудия теперь будет снимать фильмы непосредственно в Одессе. Я жду не дождусь возвращения в Киев, в ту столь памятную мне мирную жизнь. Мама тоже рвется в Киев, так же, как приехавшая к нам в гости тетя Женя.

Но прежней жизни после войны не бывает, война оставила неизгладимые следы. Виктор получил ужасное известие: немцы казнили его мать, они повесили её за то, что она прятала у себя партизан и евреев. Грозная старуха, встреч с которой избегали близкие мне люди, оказалась героиней. (Тут я вспоминаю, что до революции она принадлежала к известному в Киеве социалистическому сообществу. Оно подробно описано в романе моего отца «Степан Кольчугин». Виктор в детстве видел их и говорит, что они вовсе не такие милые, какими показаны в романе).

Следует ли из этого, что жесткие и неуживчивые в большей степени способны на подвиг, чем уступчивые и мягкие? Я думаю, здесь действует другой критерий: невозможность не исполнить то, что человек считает своим долгом. Вот и моя мягкая, уступчивая бабушка Мария Тимофеевна в те годы, когда арестовывали духовенство, участвовала в акции спасения, прятала в своей коммуналке монахинь, невзирая на возражения старших детей, рискуя собой, рискуя детьми. В критических обстоятельствах люди жертвуют либо не жертвуют собой независимо от того, какой у них в обычной жизни характер.

Виктор решительно отказался ехать в город, где казнили его мать. Спорить

с ним – об этом и подумать стыдно. К тому же «наши» – бабушка и дядя Василий тоже не вернулись в Киев, а поселились в маленьком городке Житомире. Быть может, он и не так мал, но мне, привыкшей к столицам, он представляется крошечным. Да и почти все мамыны подруги разъехались по разным городам.

Бабушка настойчиво и нежно уговаривает тетю Женю приехать в Житомир. То, что маму не зовет, это понятно. Виктор – доцент, преподаватель института, в районном городе что ему делать? Бабушка лишь смутно выражает неосуществимую надежду, что когда-нибудь мы все будем вместе. И все-таки меня как-то царапнуло: поток горячей нежности к неустроенной бедолаге Жене и чуть больше сдержанности в обращении к маме.

Тетя Женя хлебнула лиха за эти четыре года. С Гончаровым она не ужилась, устроилась в кишлаке учительницей. В подробности она не вдавалась, с нас хватило рассказа о том, как в пятидесятиградусный мороз она, раздетая, выскакивала из юрты, спасаясь от неистовства блох.

Упрямая она осталась, как и прежде, а тут еще и во мне стала проявляться временами эта национальная черта. Однажды ночью между нами разгорелся удивительный спор. Мы обе знали, что двое из казнённых декабристов носили двойную фамилию. Муравьева-Апостола мы запомнили, но как назывался второй? Тетя утверждала, что Салтыков-Щедрин. На мои возмущенные протесты она отвечала, что писатель с такой фамилией ей, конечно, известен, но декабрист, вероятно, его однофамилец. Моя версия была не лучше: Римский-Корсаков. И я тоже стояла на том, что о композиторе знаю, но декабрист ведь мог быть его родственником, двоюродным дядюшкой, скажем. Спор длился долго и бесплодно. Наконец раздался голос мамы: «Бестужев-Рюмин его фамилия. Эрудиты!»

Поскольку решено было, что в Киев мы не едем, Виктор вступил в переписку с коллегами военных и довоенных времен. Результатами своих поисков он делился с мамой. Вскоре в речи его замелькало часто повторяющееся имя «Бершоу». Учитывая его манеру проглатывать слова и слоги, я расшифровала это загадочное наименование, как Бернард Шоу, и не могла понять, какое отношение имеет знаменитый драматург к преподаванию в техническом вузе. К слову, с пьесами его я познакомилась еще в шестом классе и, воспитанная на золотом веке и старинной беллетристике, сочла его излишне авангардным. Свое неодобрение я выразила фразой: «Шоу пишет не по-людски», чем очень насмешила маму: «Что ты выдумала, Катюшка, Шоу не по-людски пишет. Почему?» Так и осталось на всю жизнь, включая стиль одежды, телевизор, эстраду и даже членство в комсомоле. Мама охотно принимала все новое, я ворчливо

держалась за старину.

Бершоу же, как выяснилось, был профессором Бершовым, с которым Виктор сотрудничал и в Киеве, и в Ташкенте до перехода в Автодор. Он раньше нас уехал на Украину. Этим летом его назначили директором формирующегося во Львове технологического института. Виктору он предлагал должность своего заместителя.

Итак, мы спешно едем во Львов, не воспользовавшись плодами третьего урожая с нашей замечательной грядки.

Прощай, Ташкент, прощай, Автодор, прощайте, милые мои подруги Таня, Галя, и ташкентские книги, театры, кино и сорокаградусная жара, и грядка. Во Львове будут новые подруги, театры и книги.

Но в памяти останутся... В памяти много чего останется. Но почему-то, вспоминая Ташкент, я в первую очередь четко себе представляю сверкающий розовый куб – арбу, с горой наполненную виноградом. Я залюбовалась этим зрелищем в солнечный день на рынке, как любуются картиной в музее, и даже мысли не было, что за четыре года я ни разу не попробовала ни одной подобной виноградины. Это розовое чудо принадлежало другому миру. Ведь не срываем же мы в музее со стены понравившуюся нам картину.

Собрались мы необычайно быстро – да и что нам было собирать? – и вот уж мы в пути. Сперва в товарном вагоне, где с мамой беседует старичок писатель, из чего я заключаю, что в дорогу нас отправил Литфонд. Наш спутник жалуется на антисемитов и рассказывает странные вещи. Я слушаю с удивлением: до войны я никогда не сталкивалась с национальным вопросом – мы дружили и с русскими, и с украинцами, и с евреями. В Ташкенте иногда к нам относились с раздражением – эвакуированных называли «выковырянными», но бывало это не столь часто и национальностей никто не выделял. Сейчас, слушая старика попутчика, я вдруг вспомнила кличку: «выковырянный еврей», правда, кличку эту я слыхала только от обижавшихся на нее евреев. Припомнилось и как я спорила с соседками из хора Пятницкого, что так великолепно пели про славное море Байкал. Они утверждали, что на фронте нет ни одного еврея; и мои доводы, подкрепленные фактами: на фронте мой отец, на фронт пошел добровольцем мамин сотрудник, пожилой человек, не подлежащий призыву, – нисколько их не убеждали. Я сочла это тогда простым упрямством.

На одной из станций мы пересели из товарного состава в пассажирский. Вагон битком набит, на нижних полках сидим вплотную, тесно прижавшись друг к другу. Те, кто успел захватить вторую и третью – лежачие полки – просто счастливы. И в проходах, на вещах тоже сидят люди, пробраться из конца в конец вагона – сложное мероприятие.

Нашему купе особенно не повезло. С нами едет женщина, которая везет старушку маму в дом умалишенных. У старой дамы на редкость неудобный для такого тесного купе заскок. Ей кажется, что на нее что-то вытряхивают, и при малейшем движении соседней она злобно вскрикивает: «Не трусите на меня!» Мы сидим съёжившись, поджав под себя ноги. Она категорически запретила занимать полки, находящиеся у неё над головой, считая это недопустимым «трусением». Вторая полка так и осталась пустой, а на третью взобрался какой-то смельчак, игнорируя вопли безумной. Ей пришлось смириться: под потолком он оказался для неё недостижимым. Ночью я проснулась от тычка и яростного вопля: «Не труси!» Очнувшись, встретила ненавидящий взор старухи. Оказалось, что во сне я слегка вытянула ногу. Я немедленно упрятала её под полку. Так мы промучились три дня, потом они сошли в Саратове.

К тому времени в вагоне стало попросторней – не все ехали до Москвы. Оставшиеся повеселели. Какой-то человек настойчиво угощал всех огромным арбузом. Нас расстрогала его щедрость. Приятно есть сладкий, сочный арбуз, к тому же подаренный добрым человеком. Затем появился истинный владелец арбуза. Ни малейшего умиления он не испытывал и настроен был воинственно. Но в вагоне царил такое добродушное веселье, что инцидент закончился довольно мирно. Драки во всяком случае не было.

В начале сентября мы, наконец, приехали в Москву. Тут наше семейство разделилось. Мама с Виктором остановились у его знакомых, а меня забрал к себе отец. Три дня гостила я у папы в коммуналке на Большой Никитской. Всего три дня, но какие! До этого мы не виделись шесть лет. Шесть, а не пять, потому что едва ли стоит считать те торопливые дни 40-го года, когда папа встретил меня в начале лета и отправил во Внуковский лагерь, а в конце лета забрал оттуда и посадил в киевский поезд. Вскоре он прислал маме письмо, где с раздражением перечислял забытые мною в лагере вещи. Список был большой, подробный, наверняка составленный его женой, Ольгой Михайловной. До этого я четыре года подряд ездила гостить к папе на дачу, но в 39-м выяснилось, что меня там сильно обижают Ольга Михайловна и гувернантка её сыновей. Выяснилось случайно, я молчала об обидах и побоях, ведь каждый раз я целый год мечтала, что летом вновь увижу своего любимого замечательного папу.

Я расстроилась, узнав, что поеду не на дачу, а в лагерь. Когда мы ехали туда автобусом, где многие друг друга знали, я почувствовала себя одиноко и даже закрыла глаза. Кто-то из мальчиков сказал: «Гражданка спит». Я не знала, обижаться мне или смеяться, но очень скоро поняла, что обижать меня никто не собирается. Счастливое чувство равенства, какого я не ведала на

даче, словно сбросило с меня какие-то вериги. Я стала такой, какой бывала в Киеве: общительной, веселой, готовой радоваться всякому пустяку. Палатка была у нас дружная, по вечерам интересные разговоры. Я особенно подружилась с Наташей Чалой, девочкой с явными данными лидера. Потом мы уже никогда не встречались, и я лишь случайно узнала, что знаменитая Наталья Крымова это та девочка со светлыми косичками, с которой мы так оживленно болтали в нашем шалаше. Палатками наши жилища назывались условно, как положено в лагере, в действительности же они представляли собой нечто похожее на обширный, вполне тёплый шалаш.

Мне очень нравились мои новые подружки, но главной радостью, пожалуй, оказалась спортплощадка. Освобождённая от несправедливых наказаний: «Весь день не выходить из комнаты!» (сказано утром и абсолютно без всякой причины), я ощутила непреодолимую потребность не просто двигаться, а что-то вытворять. Я висела вниз головой на турнике, освоила на кольцах всевозможные «березки» и «лягушки», молниеносно взбиралась вверх по канату. Я забегала и запрыгала, как обезьяна, что было очень кстати, так как в лагере готовилась «Спартакиада», именно по бегу и прыжкам.

Вспоминая сейчас все эти чудеса, должна добавить, что не одно лишь чувство освобождённости способствовало проявлению моих спортивных талантов, но и замечательный тренер, постоянно находившийся на спортплощадке и очень быстро приучивший меня не бояться и не внушать себе, что я чего-то не сумею. Помню его очень отчётливо. Американец, не без африканской примеси, живой, весёлый – только что он что-то объясняет с заметным акцентом и вдруг начинает танцевать, как Чарли Чаплин, артистично, с прыжками и глиссадами, тихонько напевая какую-то абракадабру на ломаном русском. Он уверяет нас, что и Чаплин в кинофильме поет такую же белиберду. В распространённом у нас народном переводе эта песенка звучит осмысленно и патетично: «Я Чарли безработный, живу я, как животный...»

Американец в Москве в ту пору явление не частое, но и не одиночное. Многих интересовала, а кого-то и сманила первая социалистическая страна.

День Спартакиады стал днём моего триумфа. Я занимала первые и вторые места, обогнав соперников из первого отряда, где некоторые были лет на пять меня старше. На торжественной линейке, на которой нам объявили результаты и вручили грамоты, я вкусила славу в полной мере. Первое место по праву оказалось у Люси Бобровой, тренированной спортсменки лет четырнадцати. А потом сразу: третье, четвертое. Все завопили: «Второе пропустили! У кого второе?» А вожатый все читает: «шестое», «седьмое»... Наконец он переходит ко второму отряду, к нам, ученикам младших классов.

Лагерь загудел: аплодисменты, крики. Впрочем, никто так уж особенно не удивился. Меня уже знали. Помню, я вышла на старт, и кто-то из чужих родителей громко сказал: «Это Гроссман. Она хорошо прыгает». Спартакиада отмечалась торжественно, и родители приехали ко многим.

Что касается моих, то они дружно проигнорировали мои успехи. Мало того, Виктор заявил, что грамоту мне дали из педагогических соображений, «Катя такая хи-иленькая, – сказал он противным голосом, – они молодцы, решили подтолкнуть ее к занятиям физкультурой». Интересное кино. Кто бы это позволил? Там учитывались метры и секунды.

Мама просто не обратила внимания на мои спортивные достижения, она считала главным школьные успехи и воспитание литературного вкуса. А папа и не знал об этом, он ни разу не навестил меня в лагере.

Почему я так подробно описываю этот давнишний случай? Ну, во-первых, мне досадно. У меня ведь в самом деле и много позже оставались спортивные данные: быстрая реакция, отличная координация движений. Займись я спортом, профессионалом бы, конечно, не стала, но была бы в моей жизни и такая страничка.

Главное же, я расстроилась, что папа не приехал в лагерь и не узнал, какой я молодец. В свои десять лет я была в полном неведении о той борьбе, которая началась с первых же дней его нового брака. Сколько сил пришлось ему приложить, чтобы не прервалась окончательно и безвозвратно его связь с единственным родным ребенком. Летом 41-го меня отправили не во Внуковский лагерь, а близ Киева, на Истру. Бабушка Екатерина Савельевна, как всегда, собиралась на подмосковную дачу к сыну. В своих письмах к отцу он писал, что намерен и меня пригласить тем же летом. Сомневаюсь, что это бы удалось даже в мирное время.

Но тут грянула война. Немцы двигались очень быстро, и в его письмах к отцу отчаянное беспокойство: «Что с мамой?», «Что с Катюшей?» Затем выяснилось, что Катюша в безопасности, а мама, судя по всему, не сумела выехать из Бердичева. Потом худшие опасения подтвердились, страшное, непоправимое горе.

Всю войну мы переписывались с папой, живого контакта не было. Он расспрашивал обо мне всех, кто меня видел. Ничего существенного отзывы не содержали. Худая, плохо выглядит, отличные успехи в школе. Как сказано в одной комедии: унылая картина!

Но вот я наконец приехала на целых три дня. И он так обрадовался, меня увидев. Что они там писали? Почему не рассказали главного? Родная дочка, родная душа! Нам интересно и тепло друг с другом. И он пишет бабушке: «Замечательная девочка – умная, чистая, добрая». Дедушка, как всегда, в ответ ни слова об единственной внучке. При дальнейших контактах дед,

помнится, оценил мое чувство юмора. Черта у нас фамильная. Бог не обидел ни с той, ни с другой стороны.

Прошли три дня и мы уехали во Львов. Но с папой после этой встречи мы виделись ежегодно.

Львов. Какой огромный скачок с востока на запад. Еще недавно наше ташкентское утро начиналось на четыре часа раньше, чем в Москве, сейчас мы отстали от московского времени на три. Здесь теплее, чем в Москве, к тому же из-за частых дождей листья на деревьях долго не желтеют и не вянут. Возникает странное, но приятное чувство: из начинающейся осени мы вернулись в зеленое, чуть прохладное лето. Это чувство привлекательности и необычности не покидает меня все четыре года, что я живу во Львове. Я полюбила этот город, так непохожий на все, в которых я до этих пор бывала. Я полюбила Львов, мне хорошо жилось там. Но если бы меня спросили, какой город самый любимый, я бы сразу ответила: Киев. Киев моего детства, не знаю, какой он сейчас.

Мы поселились в гостинице «Европа», но в скором времени ожидаем квартиру, первую отдельную квартиру в моей жизни. И, вероятно, роскошную. Виктор, замдиректора Технологического института, вошел в так называемую малую номенклатуру. Эту квартиру и многочисленные львовские впечатления я описала в очерке «На окраине империи». Точно так же, как о предстоящих мне поездках к отцу, рассказала в воспоминаниях «Январские каникулы». Осталось немного: рассказать о гостинице, о наших первых неделях во Львове.

Я не знаю, был ли в гостинице ресторан, и жили ли в ней какие-нибудь командировочные люди. Командировочные, скорей всего, были, но мне гостиница запомнилась полупустой и тихой. Общалась же я только с такими, как мы: приехавшими надолго и ожидающими квартиру. Встречались мы на маленькой кухне, где кроме нас никого не было. Несколько женщин готовили здесь еду на двухконфорочной плите.

До сих пор не понимаю, как мы там умещались. Но столкновений не возникало. Случалось, кто-нибудь просил без очереди допустить к конфорке. Просили ненадолго и по уважительной причине, скажем, муж спешит на работу. К таким просьбам относились с пониманием. Народ подобрался не склочный и довольно колоритный. Я запомнила нескольких, других, возможно, не было.

Царила на кухне добродушная величественная дама, жена главного архитектора города. Общалась она больше всего с моей мамой. Причиной, полагаю, была не принадлежность к номенклатуре, а принадлежность к интеллигенции.

Всех сместила «молодая хозяйка». Готовить она не умела и постоянно ссылалась на это обстоятельство, хотя на вид ей было далеко за тридцать. Ей охотно давали советы, но за глаза посмеивались: «Что поделаться, она ведь м о л о д а я хозяйка».

Две сестры из Вологды так и представились, сильно окая: «Мы вологодские». Их поразила обеспеченность жизни львовян. «Как хорошо народ-то тут живет, – рассказывали они с изумлением. – Вчера идем по улице, видим, лежит тазик. Хороший такой тазик, только без донушка. И никто его не берет! Идем назад, опять видим: на том же месте лежит. У нас в Вологде давно бы уже подобрали».

Бедная Вологда! Мне после ташкентской нищеты не пришло бы в голову подобрать такой «хороший» тазик. А, может, их окружали мастеровитые люди? Подбери я на улице бездонный тазик, наша семья едва ли нашла бы ему применение.

Но вологодские мне нравились. Нравилась и балеринка, маленькая, чернявая, весёлая. И муж у неё тоже был балерун, такой же шустрый, небольшого росточка. Они поразительно были друг на друга похожи. Стоит ли удивляться, что их шестилетние мальчуганы-близнецы были похожи друг на друга и на родителей. «Скажите, милая, – важно растягивая слова, вопрошала жена архитектора, – ну как вы их рожали?» «А! Рожать это ерунда, – беспечно отвечала балерина. – Вы лучше спросите, – как я их воспитала?»

Кто-то, уж не помню кто, первым получил квартиру. Постепенно мы все разъехались. Отношения сохранились только с семьей архитектора. Квартиру дали нам и в самом деле роскошную: трехкомнатную, с действующей ванной.

Но атавизмы ташкентского бытия на какое-то время еще задержались. Виктор получил по «литерному» пайку несколько плиток шоколада. Меня тут же по инерции отправили продавать их на рынок. Там я познакомилась с пожилой женщиной, тоже продававшей что-то сладкое. Как я поняла, её торговля была постоянной. Мы разговорились и вскоре выяснили, что не только обе выходцы из черниговской области, но даже из одной и той же Шаповаловки; мало того, моя собеседница утверждала, что мы родственницы. «Журавлевы мы! Ты спроси у мамы. Она знать должна: Журавлевы!» Я всё же усомнилась. Шаповаловка, одна из трех крупнейших деревень Черниговщины, с числом жителей побольше, чем иной городок, населена была потомками разных народов. Среди нашей родни попадались и польские Людкевичи, и совсем уж близкие нам, не то татарские, не то турецкие Шерембеи, но о Журавлевых я никогда не слыхала.

Мама рассеяла мои сомнения. «Журавли! – воскликнула она оживлённо. – Да полдеревни у нас Журавли. И родней нам приходится, дальней». Продлить знакомство с родственницей мне не пришлось. Мы довольно

быстро осваивались с новой жизнью и следующий шоколад съели сами.

Вот так мы и вошли помаленьку в мирное время, отрешаясь от привычек военного. Но война не позволяет, чтобы её забывали. Как-то днем в своей уютной комнатке, оклеенной розовыми обоями, по которым причудливо разбежались какие-то цветные линии (стиль модерн), я внезапно нелепо затопталась на месте и упала в обморок, к ужасу мамы и Виктора. Затем врачи, консилиум, рентген. Диагноз невесёлый: начальная стадия туберкулеза – результат четырехлетней голодовки. Решительно приказано весь год не ходить в школу. Теперь, когда я вылечусь, я уже не буду самой младшей в классе. Главное лечение: побольше гулять и усиленно питаться. Что сказали бы теперешние диетологи, услышав, как меня усиленно питали? В первый день одно сырое яйцо, на следующий – два, довести до десяти и так продолжать до победы. Узнав, что мне ежедневно предстоит съесть десять сырых яиц, я решительно воспротивилась. Меня поддержала мама, высказав убеждение, что это возможно только для лисицы. Врачи пошли на компромисс, разрешив глотать одни желтки. Это оказалось исполнимым. Я аккуратно отделяла целенький желточек, зачем-то присаливала и заглатывала, не чувствуя вкуса. Что бы не говорили теперешние врачи, но вылечилась я радикально.

Год незаметно пролетел в прогулках и посещении трофейных фильмов. Война и тут напомнила о себе – фильмы трофейные. Поют на разных языках, разговаривают по-английски, титры немецкие, а из динамика русский перевод. Войну не забудешь – на каждом шагу военные, с палочками, протезами и на своих двоих. Кто с погонами, кто без погон. Но это было хорошее время.

Анатолий ПАНИН

ТОРГОВАТЬ ЗЕМЛЕЙ – ВСЕ РАВНО, ЧТО ТОРГОВАТЬ РОДИНОЙ

Много сейчас идет разговоров о земле и так называемом «эффективном пользователе», настоящем ее хозяине. И это неслучайно. Земля – главная кормилица человека. Селился ли он возле реки или моря – все равно одной рыбой прожить не мог. Жил в лесу – тоже без хлеба не обходился. В общем, еще в старину говорили: «Хлеб – всему голова».

Такое вступление мне потребовалось для того, чтобы лишний раз подчеркнуть зависимость человека от земли. Это не простое подножное пространство, которое окружает нас, и не наш дом, который занимает часть этого пространства, а земля пахотная, плодородная – земля-кормилица.

И вот сейчас смотрю, как рвутся к земле не настоящие ее хозяева, а дельцы, которые только и мечтают, как добыть из земли барыши, а не по-умному ее эксплуатировать для общей пользы.

А что такое настоящий хозяин на земле? Вопрос непростой. Я прошел длинный жизненный путь (родился в январе 1920 г.), так или иначе связанный с землей и отношением к ней людей. Хорошо помню деда и бабушку по матери. Они были простые неграмотные крестьяне. После революции нарезали им небольшой клочок бывшей барской земли. Завели лошадку – без нее никак не обойдешься. Пахали сохой, а потом «стянулись» на однолемешный плуг. Засевали надел рукой из лукошка, повешенного на шею и плечо. И ровно засеять было большое искусство, которым владели не все. Созревала рожь – дед косил косой, а бабушка и еще малолетние дочери вязали скошенное в снопы. Потом их свозили к сараю за домом, возле которого был ток — утрамбованный круг земли. Молотили на нем вручную, цепами. Затем зерно провеивали на ветру деревянными лопатами и собирали в кучу, которую оберегали от дождя. Потом везли зерно на мельницу и т.д.

И все руками, руками. Вставали до рассвета и ложились уже в сумерках. И за длинный трудовой день столько поту проливалось...

В общем, тяжело доставался хлебушек крестьянину. А ведь к хлебу нужно было и еще что-то. И крестьянин держал корову, овец, кур, гусей. А это все труд и труд. Подрастали дети – и тоже включались в нескончаемую

крестьянскую работу, чтобы как-то прожить, не умереть с голоду. И хозяйство было почти натуральным – все делали из своего, так сказать, сырья – и валенки, и полушубки, и чулки, варежки, грубую одежду из холста, лапти из лыка (обдирали липку). Покупали лишь спички и керосин для ламп, когда перестали щепать лучину для освещения.

Когда начали создавать колхозы, крестьяне отнеслись к ним с понятным недоверием: дело-то новое. Приезжали агитаторы, разъясняли что и как, но на местах часто спешили, старались скорей доложить в район, начали обобществлять лошадей и коров, даже птицу, не имея для этого подходящих помещений.

Правильно поступали там, где подходили к делу продуманно. Я хорошо помню, как в деревне, где я часто гостил у дядьев – отцовых братьев, вначале создали ТОЗ, т.е. «Товарищество по совместной обработке земли». Здесь еще не было общего поля, но «тозовцы» сообща обрабатывали свои наделы. Вскоре они приобрели конные сеялку, косилку, а потом и молотилку (тоже конную). И я еще вместе с другими ребятами помогал в ее работе. Стоишь в центре на площадочке и погоняешь четырех лошадей, которые ходят по кругу, вращая устройство, от которого отходил железный вал к молотилке. Работа шла дружная и дело подвигалось быстро.

А уже потом, когда построили конюшню и коровник, объединили поля и создали с помощью отца колхоз, который назвали по его предложению «Свет маяка», появились и конюхи, и доярки, и птичницы и другие колхозные профессии.

Помню, как пришел своим ходом со станции первый трактор – без кабины, на железных колесах и с железным сидением для тракториста («Фордзон-Путиловец»). Мужики шли за ним, отмахиваясь от едкого дыма, вылетавшего из короткой трубы, и недовольно говорили:

- Фу! Вонючка-то какая!
- Землю всю керосином провоняет – рожать не будет!
- А берет как глубоко – глину наверх вывернет...

Но земля стала урожайнее, и жизнь в колхозах улучшилась. Особенно после того, как укротили кулаков, а к руководству в колхозах пришли толковые руководители, любящие землю и людей, на ней трудившихся.

Не могу не сказать о кулаках. Здесь, в Украине, не раз слышал утверждения, что кулаков вообще не существовало, а были лишь «справные хозяева», и село, дескать, многое потеряло, когда их стали репрессировать.

Нет, кулаки были, и отличались алчностью и высокомерием по отношению к тем, кто беднее их. Случись у крестьянина беда: пала единственная лошадь. К кому ему обратиться за помощью? Идет к этому «справному хозяину». Тот, поламавшись, дает одну из своих трех на время, а отработку за это требует

такую, что бедному мужику приходилось совсем забыть об отдыхе, и семью всю подключать, чтобы расплатиться за оказанную «милость».

Конечно, кулаки резко воспротивились коллективизации, всячески мешали ее проводить, а то и по-бандитски убивали активистов. И неслучайно было проведено раскулачивание. Разумеется, в этом сложном деле были и перегибы, и оплошности, большие и малые недочеты. И не везде разобрались по совести. Но факт тот, что в крепких колхозах люди зажили, чувствуя себя людьми, делающими важное дело и для себя, и для государства. И по заслугам их отмечали высокими наградами.

А посмотрите на нынешнее село (где они еще сохранились). Там уже тоже появляется что-то вроде кулачества. Так называемые теперь фермеры – оборотистые люди, сумевшие «вовремя» прибрать к рукам брошенную колхозную технику, скупить по дешевке паи у бывших колхозников и развернуть на этой основе прибыльное хозяйство. И стали эти «деловые люди» чем-то вроде плантаторов, латифундистов, потому что на посев, прополку, уборку и на другие работы нанимают менее успешных бывших колхозников. Опять идет расслоение села.

А что такое настоящий хозяин на земле? В бытность свою корреспондентом областной газеты я не раз выезжал на периферию. Видел разные колхозы – богатые и не очень. И убедился: почти все здесь зависело от председателя и правления – от тех, кто работал сам и умел заставить других.

Бывало, сидишь с председателем, беседуешь, но разговор не получается. Только начнем говорить, входит бухгалтер: «Иван Петрович, подпишите ведомость, деньги выдавать надо». Через несколько минут влетает секретарша: «Со свинофермы пришли, у них там что-то не ладится». Разобрался председатель, а тут бригадир со своим делом явился... В общем не работа, беготня какая-то.

А вот побывал я у Г.С. Могильченко. Мы с ним долго разговаривали, и никто не помешал. Только в конце беседы напросилась одна колхозница и скороговоркой начала излагать свое дело. Григорий Сергеевич сразу ее оборвал:

- Ты де робиш?
- На МТФ.
- Хто у тебе начальник?
- (Такой-то)
- Ось і йди до нього, хай він вирішує – це його справа.

Григорий Сергеевич Могильченко, дважды Герой Социалистического Труда, новатор сельского хозяйства, руководил колхозом им. Орджоникидзе в селе Катериновка, что возле Лозовой в Харьковской области. Колхоз у него был

образцовым, в 1967 г. награжден орденом Ленина. Колхозники жили неплохо, в домах с городской обстановкой и устройствами. (О Г.С.Могильченко есть статья в Большой советской энциклопедии).

Он был, как говорят, руководителем от Бога, народный самородок. Несмотря на то, что ему часто не помогали, а мешали, он не склонял головы и вел свою линию. А мешали чем? Идет на полях напряженная работа, а тут звонок из райкома:

- Вы закончили сев?
- Нет еще.
- А почему?
- Не на всех полях можно сеять, земля еще не везде просохла.
- А в других хозяйствах уже отсеялись. Из области звонят, срываем график...

И вот итог: вызов на бюро райкома и выговор по партийной линии.

– Бывало, до трех выговоров за весну и лето «навешивали», – усмехается Григорий Сергеевич. – А осенью все снимали, потому что получал более высокие урожаи, чем в других колхозах.

Не терпел Григорий Сергеевич всяких некомпетентных инспектирующих, справедливо считая, что они зря отрывают время у себя и других. Встречает как-то в своей конторе районного работника:

- Ти що тут робиш?
- Да вот прислали к вам уполномоченным на уборочную кампанию.
- Ты що, кращий за мене хлібороб? Хіба для мене якийсь «смотритель» потрібен?.. Більш на очі мені не з’являйся.

Могильченко не побоялся вступить в спор даже с таким могущественным «начальником», как Н.С. Хрущев. Был случай, когда он приезжал на Харьковщину. Попросил показать ему поля какого-нибудь колхоза. Конечно, повезли высокого гостя к Могильченко. Увидел Никита Сергеевич поле с плохими всходами (зима сложная была) и авторитетно распорядился: «Пересеять!» А Могильченко: «Пересевать не буду». «Это почему?» «А потому, что я и на этом поле получу не менее 22 центнеров с гектара». «Ну, если и по 20 получишь, представлю к Герою».

Могильченко получил по 24 центнера. Доложили Хрущеву. Тот слово сдержал.

Я затеял этот разговор к тому, что колхозный строй похоронили у нас зря. Он особенно показал свою целесообразность и мощь во время Великой Отечественной войны, когда кормил огромную армию и народ, несмотря на колоссальные трудности и потери. И не дай Бог, если бы в это время землей владели единоличники! Проиграли бы мы войну! И в мирное время колхозный строй способен дать крестьянину больше, чем дала бы ему

земельная собственность. Это видно даже сейчас на примере сохранившихся кое-где в Украине хозяйств, которые по своей сути являются колхозными.

Еще великий мудрец и гуманист Л.Н. Толстой в потрясающем своей смелостью и правдивостью письме к П.А. Столыпину (от 30 августа 1909 года) писал: «...Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность – деятельность, угрожающую вашему материальному благу (потому что вас каждую минуту хотят и могут убить)... уже по теперешней вашей деятельности вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи... Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение и озлобление людей всеми этими ужасами произвола, казней, тюрем, ссылок и всякого рода запрещений и не только не вводите какое-либо такое новое устройство, которое могло бы улучшить общее состояние людей, но вводите в одном, самом важном вопросе жизни людей – в отношении их к земле – самое грубое, нелепое утверждение того, зло чего уже чувствуется всем миром и которое неизбежно должно быть разрушено – земельная собственность» (стр. 673, тт. 19 – 20).

В этом письме Л.Н. Толстой требовал от Столыпина «прекращения насилий и жестокостей», апогеем которых было массовое вешание крестьян («столыпинские галстуки»), удовлетворения требований огромной армии народа, «никогда не признававшего и не признающего право личной земельной собственности». А ныне Столыпину возводятся памятники!!

Великий мыслитель Лев Николаевич Толстой призывал «руководствоваться разумной жизнью», которая, по его мнению, возможна только при «земледельческом труде» и без «поземельной собственности, но с вольной общинной землей». Эта истина, подчеркивает писатель, «не есть мечта – она факт. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана» (Т.21, стр. 260).

Далеко смотрел и многое видел в будущем великий писатель. Он считал, что торговать землей – все равно, что торговать Родиной. И это верно. И никакие уловки, вроде той, что покупать землю разрешат только гражданам Украины, ничего не меняют. Во-первых потому, что у нас ловко научились обходить подобные препятствия. Во-вторых, и гражданам Украины землю продавать не надо – она должна находиться в общественной собственности.

Задумаются ли над этим управители нашего в недалеком прошлом действительно свободного государства, или жажда наживы затмит умы тех, кто отвечает за нашу будущность?

Анатолий ДОЛГАРЕВ

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ

Прошедший год выдался для меня исключительно благоприятным: уже с самого его начала – 19 января 2010 года, в День Крещения Господнего, мне удалось побывать в Москве. В этот день в Союзе писателей России писателям и другим общественным деятелям вручалась «Имперская премия». Этой награды были удостоены такие известные люди, как Илья Глазунов и Никита Михалков, Виктор Захарченко и Дмитрий Бородин, Николай Зиновьев и наш земляк Александр Романовский и целый ряд других известных людей России и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Примечательно и то, что премии вручались Валерием Николаевичем Ганичевым, возглавляющим Союз писателей России, и выдающимся писателем современности Валентином Григорьевичем Распутиным. После вручения премии мы с Александром Георгиевичем Романовским с согласия Президента Международного общественного фонда имени полководца Г.К.Жукова – Василия Прокопьевича Чурина наградили Валентина Григорьевича Распутина высшей наградой фонда Жукова – знаком «За мужество и любовь к Отечеству». Как и ожидалось, Валентин Григорьевич с большой радостью воспринял вручение ему этого знака. Церемонией награждения было предусмотрено и выступление артистов с концертными номерами. Особенно понравилось присутствующим выступление Татьяны Сёмушиной, которая буквально покорила всех красотой своего голоса.

Не менее интересной в 2010 году была наша поездка с А.Г. Романовским в Храм Христа Спасителя на XIII Всемирный русский народный собор, который традиционно проходит в мае месяце. Как оказалось, в этом храме имеется огромный конференц-зал на 3000 мест. Открыл пленарное заседание Собора Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Вел заседание Валерий Николаевич Ганичев. В президиуме находились служители разных религиозных конфессий, а также члены российского Правительства, без В.В.Путина, о чем многие из присутствующих искренне сожалели. Не повторяя содержание услышанных сообщений, замечу, насколько удалось Патриарху Кириллу поразить всех участников Собора высочайшим уровнем интеллекта и обаяния, умением выражать научные мысли языком, доступным для понимания всех присутствующих. Объясняя сущность информационного

общества, Патриарх заметил, что: «В первую очередь – это возможность получать информацию, интеллектуально расти. Сегодня только человек ленивый не будет расти интеллектуально. Но если лень под контролем, то появляются неограниченные возможности для интеллектуального роста: компьютерные технологии, которые выводят нас на любые источники знаний; научная работа становится просто захватывающе интересной, потому что у человека, сидящего дома, открываются такие возможности, о которых в прошлом даже помыслить было невозможно. Это, конечно, подталкивает научно-технический прогресс, но, с другой стороны, в этом информационном потоке чего только нет». Далее Патриарх заметил, что необходим фильтр для того, чтобы критически воспринимать обрушивающийся на нас поток информации. Этот фильтр, в первую очередь, наш нравственный голос. Мы должны по совести определять, что такое хорошо, а что такое плохо. Но сделать это очень непросто – помимо нравственного чувства должно быть еще некое мировоззрение, некий набор идей. Придавая первостепенное значение генетической природе человека, он как-то заметил: «От осины не родятся апельсины» или, объясняя важность целостного подхода к воспитанию, он высказал суждение о том, что вряд ли возможно целостное воспитание ребенка в семье, которая не является целостной из-за отсутствия одного из родителей, и много других замечаний, которые вызвали восхищение у слушателей, находящихся в зале.

Весьма корректным и содержательным был доклад, сделанный супругой российского Президента Светланой Медведевой, как всегда яркой была речь Никиты Михалкова и многих других участников Собора. Так Муфтий мусульман, живущих в России, заметил, что управление может быть эффективным лишь в том случае, когда эффективно взаимодействуют все три его составляющие, как-то Космическая, Земная и Семейная. В 1917 году все, что было связано с Космосом, а точнее с Богом или религией, было отменено Декретом Советской власти на все 70 лет существования России. Хорошего из этого, как известно, ничего не получилось. Также не получится ничего хорошего и в том случае, когда не будет по достоинству оцениваться роль и ответственность не только государственного, но и семейного управления.

Во время проведения Собора мы встретились с давним другом харьковчан, с которым не виделись больше 30 лет, Михаилом Ивановичем Ножкиным. Оказалось, что М.И. Ножкин с трепетом в сердце хранит свои незабываемые встречи с харьковчанами во Дворце студентов Политехнического института, которые проводились в 70-е годы прошлого века по линии бюро пропаганды советского киноискусства, организуемые его уполномоченным Сергеем Александровичем Скощукком.

Не менее трогательной была встреча с Владимиром Андреевичем Костровым, председателем российской комиссии по Пушкинскому наследию, с которым мы также познакомились в Харькове на одной из первых конференций по Переясловской Раде.

В кулуарах собора также встретились с писателями, возглавляющими редакцию Санкт-Петербургского литературного журнала «Родная Ладога», а также с главным редактором журнала «Родная Кубань» Виктором Лихоносовым. С Валентиной Ефимовской из журнала «Родная Ладога» и Виктором Лихоносовым мы познакомились еще в 2009 году на пленуме Союза писателей России, проходившим в Калуге. Тогда на пленуме Союза писателей России В.Н. Ганичев предоставил мне слово сразу после выступления В. Ефимовской. В своем выступлении Валентина высказала мнение о том, что российские писатели не выдержали испытание демократией. Я не согласился с этим положением. В начале выступления я выразил восхищение высоким уровнем аналитического обзора жизни и творчества Н.Ф. Иванова, который сделала В. Ефимовская в «Российском писателе». Далее я сказал, что, по-моему, писательское, как и любое творчество, является вторичным, а первичной является сама жизнь. Так может быть это так называемая «демократия» не выдержала испытания предъявленными ей требованиями нового времени? Ведь талантливые писатели были и есть, а вот жизнь людей изменилась далеко не в лучшую сторону. И то материальное и моральное обнищание большинства людей страны не вписывается не только в мировоззрение писателей, но и здравый смысл большинства населения! И писателям, как и многим честным людям, об этой жизни не только не хочется писать, но иногда приходится тяжело задумываться о тех последствиях, которые внесла в нашу жизнь эта, так называемая, «демократия».

Мне припомнился случай из юности. Один из моих приятелей, неплохой художник, благодаря таланту был оставлен на работу преподавателем в Художественно-промышленном институте. Через несколько лет он пригласил меня на свою выставку портретов во Дворец студентов. Когда я увидел на его портретах ничего не выражающие лица, то мне стало жалко растрченного таланта своего друга. Я посоветовал ему для своего творчества находить таких людей, в образах которых действительно можно было бы разглядеть кладезь мудрости и интеллекта. Видя замешательство художника, я пообещал найти ему таких людей. Первым, кого привел к нему, был Георгий Никитович Леонов. Георгий Никитович был не просто прославленным человеком, во время Великой Отечественной войны побывавшим и в партизанах, и в фашистских застенках, и в армейской разведке. По заданию командования, он на своих плечах доставил с передовой одиннадцать немецких «языков». Этот мудрейший человек обладал недюжинной силой оптимизма и веры в

могущественные силы человека. Портрет Г.Н. Леонова, написанный этим художником, побывал почти на всех выставках, проводившихся в 80-е годы в Украине. Портреты его отца М.Б. Алексеенко и вузовского учителя А.М. Константинопольского принесли заслуженный авторитет художнику Алану Михайловичу Алексеенко, который больше двадцать лет заведует кафедрой и является профессором в своем художественно-промышленном институте. Когда я спросил у Алана Михайловича, что же является главным для художника-портретиста, он ответил: «Я считаю, что для художника главное – это способность вначале проникнуть во внутренний мир своего будущего образа, а затем и передать на полотне не только его внешнее сходство, но и богатство этого внутреннего мира, его мудрость и духовность. А самые удачные портреты, как я теперь понял, только тогда выходят из-под кисти художника, когда ты пишешь портрет человека необыкновенной мудрости, который является ещё для тебя и самым близким, и самым дорогим, когда ты его по-настоящему любишь и ценишь. Любовь в сочетании с талантом приносит невиданный успех художнику».

Участие в Калуге на писательском пленуме России было очень важным событием в моей жизни еще и потому, что удалось буквально увлечь на родину Георгия Константиновича Жукова, в село Стрелковку многих писателей, в числе которых были и харьковчане Владимир Глебов и Леонид Мачулин, а также и председатель Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев, заслуженная артистка России Татьяна Петрова и многие другие. Самый лучший музей в мире, созданный земляками полководца под руководством В.П. Чурина и с помощью В.С. Черномырдина, находится неподалеку от известного всему миру Обнинска всего в ста километрах от Москвы. С 1996 года я ежегодно езжу в город Жуков, вожу туда ветеранов, школьников, артистов, депутатов и других общественных деятелей. Меня тянет на родину великого полководца, как будто на свою Родину, потому что именно там собирается и живет много моих единомышленников.

В год столетия Георгия Константиновича нас впервые радушно встретил глава администрации Жуковского района Василий Прокопьевич Чурин, который до этого был здесь первым секретарем райкома Коммунистической партии Советского Союза. Сменивший его на этом посту Илья Иванович Благодатский, кавалер ордена Ленина, оказался выпускником радиотехнического факультета Харьковского политехнического института. В 2011 году администрацию района возглавил Анатолий Владимирович Суярко, уроженец Украины из Черниговской области. Здесь, в Жукове, мы встречались с Маршалом Советского Союза Д.Т. Язовым, дочерьми и внуком Г.К. Жукова, его водителем А.Н. Бучиным, известным политиком Р.Н. Нишановым, Министром Кабинета министров Украины 1993 года В.Ю.

Пехотой, академиком В.А. Петросовым из Харькова, а в 2011 году гостем города Жукова и Президента Международного общественного фонда имени полковника Г.К. Жукова В.П. Чурина стал летчик-космонавт СССР, трижды побывавший в космосе, дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко. В 2011 году на родине Жукова побывали делегации из моих родных городов – Грайворона и Белгорода, а также из Бреста, Минска, Тулы, Смоленска и многих других городов России. Представители этих городов в этот раз подписали Соглашение об участии их в деятельности Межгосударственного союза городов героев. Провожая нашу Харьковскую делегацию, Анатолий Владимирович Суярко заметил: «В этом районе Калужской области открыты для вас не только двери во все учреждения, но и в сердца всех земляков великого полковника».

Второй день тринадцатого Всемирного Собора проходил по секциям. Наша секция проводилась в Союзе писателей России, и её работой руководил Валерий Николаевич Ганичев. Первым на секции выступил Евгений Петрович Белозерцев. Этот удивительно обаятельный ученый из Воронежа покорила всех участников не только своим обаянием, но и удивительно глубоким знанием и пониманием проблем воспитания молодежи. Это о нем написал однажды академик В.А. Слостёнин: «Талант только тогда талант, когда он не свободен от постоянной внутренней тревоги, когда он способен на самостоятельную жизнь и самостоятельное слово. Талант Белозерцева заключается в том, что ему дано было увидеть и понять главное – смысл бытия человека на Земле, почувствовать, что благороден не трибунный громовержец, а тот, кто, правя дорогой собственной жизни, скромно, без позы, без оглядки отдает свои силы общему делу. И ещё. С юных лет Евгений Петрович усвоил: гордое право учить и воспитывать требует от человека широты и масштаба взглядов на жизнь, умной, выстраданной любви к детям и сердца – горячего, богатого, честного и доброго».

Особенно меня порадовала своим выступлением на заседании секции в Союзе писателей России член – корреспондент Академии педагогических наук России Галина Федоровна Суворова, с огромным увлечением поведавшая нам о проводимых ею экспериментах в школах на Белгородщине. Оказалось, что Галина Фёдоровна – коренная москвичка, а внедрением своего эксперимента занимается в Почаевской средней школе Грайворонского района, в той школе, в которой я ещё в 1960-м году заканчивал выпускной седьмой класс. В той же школе учительницей начальных классов работала моя мама, Долгарева Анна Ивановна, когда наш отец, Долгарев Василий Павлович, бывший двадцатипятилетний, вытаскивал в передовые колхоз «Красный Октябрь», которым впоследствии руководили и нынешний глава Грайворонской администрации А.И. Головин, и теперешний председатель

совета ветеранов Грайворонского района И.К.Евсюков. По иронии судьбы Почаевскую школу сегодня возглавляет моя троюродная сестра Надежда Ивановна Смогарева, о которой мне в Москве поведала много теплых слов Г.Ф. Суворова.

Побывав затем в Грайвороне, я поведал об этой встрече в Москве Н.И.Смогаревой и М.Л. Кучерявенко, которые выразили свое яркое восхищение этой женщиной, которая помогла им взглянуть под несколько иным углом на проблемы современного образования.

Во время работы секции профессор из Винницы пытался убедить присутствовавших в том, что на Украине нет и не будет в ближайшем будущем положительных перемен к лучшему. Какая-то неведомая сила после этих слов буквально вынесла меня на трибуну. Дело в том, что совсем недавно именно в нашем Харькове было подписано историческое соглашение между В.Ф.Януковичем и Д.А.Медведевым об углублении сотрудничества между нашими странами и продлении срока пребывания Черноморского флота в г. Севастополе еще на 25 лет. Буквально той же весной 2010 года в Харькове был проведен традиционный творческий вечер А.Г.Романовского «Колокольный звон пасхальный», к участию которого подключился и областной совет, возглавляемый С.И. Черновым и, как всегда, Союз писателей России во главе с В.Н. Ганичевым. Эти творческие вечера, как и научно-практические конференции «Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации», «Пространство литературы – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами», по авторитетному заявлению Валерия Николаевича Ганичева, превращают Харьков в столицу русской культуры. Эти мероприятия приобрели огромный авторитет у жителей нашего города, а Харьковское отделение Союза писателей России, которое возглавляет поэт и ученый А.Г. Романовский, продемонстрировало всему славянскому миру нерушимое единство наших братских народов. В конце 2010 года А.Г.Романовский был избран членом-корреспондентом Национальной академии педагогических наук Украины, что повысило авторитет и отделения Союза писателей и НТУ «ХПИ», в котором он работает проректором. В нашем городе также находится штаб-квартира международного общественного фонда имени полковника Г.К. Жукова. Георгий Константинович начинал свою воинскую службу в Балаклеевском районе, затем учился на унтер-офицера в Изюме, а в 1943 году участвовал в организации освобождения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков. 30 августа 1943 года Г.К. Жуков выступал в Харькове на митинге, посвященном его освобождению. Все, кто занимается пропагандой полководческого таланта Жукова, проводит конференции, посвященные укреплению дружбы народов бывшего Советского Союза,

обогащает нашу общую культуру своим творчеством. Именно они, ученые, писатели и другие общественные деятели, вносят бесценный вклад в дело мира и прогресса, в дело улучшения материального и духовного благосостояния наших народов. Всё это вселяет надежду на лучшее будущее, возрождает у нас чувство социального оптимизма, помогает нам двигаться по пути инновационного развития. Выход в свет нового журнала «Славянин» еще больше вселяет и укрепляет у нас эту большую надежду, о чем я также выпалил на заседании нашей секции. В.Н.Ганичев после моего выступления заметил, что теперь можно обойтись и без подведения итогов работы секции, так как последнее выступление определенным образом обобщает сверхзадачу нашей деятельности на ближайшее будущее.

Еще одним событием 2010 года явилось проведение в городе Жукове первого Международного фестиваля любимых песен Г.К. Жукова. Благодаря директору Харьковской филармонии Юрию Владимировичу Янко, нам удалось привезти в город Жуков заслуженного артиста Украины Андрея Тимошенко, где он и москвичка Татьяна Сёмушина стали лауреатами. Фестиваль не имел бы такого потрясающего успеха, если бы в нем не приняли участие Грайворонские участники художественной самодеятельности, прибывшие на фестиваль во главе с прекрасным поэтом, председателем совета ветеранов этого района Иваном Кузьмичом Евсюковым при поддержке главы районной администрации А.И. Головина.

Организатор и вдохновитель этого мероприятия В.П. Чурин был настолько доволен участием Грайворонской молодежи в этом фестивале, что высказал мысль о необходимости создания в Грайвороне филиала государственного музея Г.К. Жукова, который способствовал бы обогащению зарождающейся в районе и области новой туристической отрасли высоким патриотическим содержанием. В этом районе имеет место множество интересных инициатив, связанных с воспитанием молодежи. Особенно нас поразило то, что глава администрации Головин А.И. знает всех руководителей воинских частей, в которых служат посланцы района. При каждом подведении итогов работы района за год, на праздничную сцену выходят студенты – отличники вузов, выходцы из этого района, которым вручаются подарки и премии главой организации за успешную учебу. Мне однажды пришлось быть свидетелем того, как глава администрации объяснял прибывшим с Украины гостям методику начисления зарплаты российским учителям с учетом их стажа и категории, доплат за проверку тетрадей, руководство разными кружками и т.д. В этом мы увидели особую заботу о создании инновационного человеческого потенциала в районе, способного жить и работать в новых условиях XXI века.

Незабываемым событием в том же году была поездка в Брянск и Козельск.

Козельск, как известно, был основан раньше Москвы, в 1146 году. В 2010 году этому городу было присвоено звание «Город воинской славы». Когда я в 2009 году присутствовал на пленуме Союза писателей, то в программе пленума были поездки по историческим достопримечательностям Калужской области. Я, естественно, был в той делегации, которая отправилась в город Жуков, но часть писателей выезжала в Оптину пустынь. Посетившие этот чудный монастырь, долго восхищались поездкой и делились с нами тем высоким благородным духом, который царил в Оптиной пустыни. Когда мой спутник Николай Павлович Шишкин предложил посетить Оптину пустынь, то я с удовольствием согласился. С ним и его матерью Марией Ивановной, уроженкой нашего города Чугуева, а ныне живущей у дочери в Козельске, отправились вначале в Оптину пустынь, а затем и в Шамордино. Конечно, посещение этих святынь земли русской не просто вдохновило меня, а приподняло на небывалую до сей поры высоту понимания своего собственного предназначения, так как эти места не могут оставить равнодушным любого славянина, которому дорога своя Родина, свой народ и своя история.

В 2011 году судьбе было угодно организовать еще две памятные встречи. Первая произошла в моем родном селе Ломное, что на Грайворонщине в Белгородской области. Казалось, что моя поездка по просьбе супруги Зинаиды Васильевны Першиной посетить могилы её родителей ничего особенного не предвосхищала. Однако, когда мы подъезжали к церкви, построенной ещё моим родным прадедом Григорием Ивановичем Исаевым, женатым на моей тетушке Клавдии Павловне Долгаревой, то вместе с нами к храму подъехала в сопровождении охраны еще одна машина. Кто и зачем в ней приехал, было неизвестно. Как потом оказалось, именно в эти минуты привезли в Ломное икону Песчанской Божьей матери, которую в свое время митрополит Иоасаф обнаружил в селе Замостье Изюмского района Харьковской области и увидел в ней чудотворную силу. «В сем образе, – сказал Иоасаф, – преизобилует особенная благодать Божия. В нем Пресвятая Владычица являет особое знамение Своего заступления для сей веси и целой страны». Ломенский священник отец Дмитрий, которому мой отец преподавал географию в Головчинской школе, подумал, что я прибыл в сопровождении этой иконы, но оказалось, что это простое совпадение во времени. Когда я об этом рассказал председателю Харьковского отделения Союза писателей России Александру Георгиевичу Романовскому, тот подумал и сказал: «Я думаю, Долгарев, это не простое совпадение, как и все другие встречи. Я вижу в этом посланную тебе Божию благодать. Не мешало бы задуматься о том, почему тебе передал свои послания в последнее время сам Всевышний: то ли это за твои страдания в связи с трагедией твоей Валечки, а может быть

еще за что-то другое. Думай».

Конечно, эти слова на меня, православного славянина, произвели неизгладимое впечатление, что и заставило поделиться своими мыслями с читателями, рассказать им о дорогих моему сердцу людях.

Через пару месяцев, в декабре 2010 года, волей судьбы и по приглашению моего большого друга Владимира Молчанова, председателя Белгородского отделения Союза писателей России, я побывал на самом дорогом для меня мероприятии в родном Белгороде – на Иоасафовских чтениях. Может быть, и в самом деле мое присутствие на этих чтениях стали проявлением Божьей благодати, посланной Владычицей, изображенной на этой удивительной иконе? Именно в городе Белгороде началась моя карьера «публичного политика». Еще в 1963 году в Доме советов я председательствовал на областном слете ученических производственных бригад, потому что производственная бригада, которой я тогда руководил, была признана лучшей в области. За эту работу меня наградили знаком Белгородского обкома комсомола «За личный вклад в семилетку». На первом Всесоюзном слете ученических производственных бригад, делегатом которого я был в Москве, награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

На тех чтениях, которыми руководят талантливейшие люди – владыка Иоанн и губернатор Евгений Степанович Савченко, царила атмосфера небывалой духовности. О Белгородском губернаторе сказано немало теплых слов разными российскими журналистами и политиками. Но он мне особенно дорог своей активной деятельностью. В нем я вижу образ того же Маршала Жукова, который спас наше Отечество, также как Евгений Степанович сейчас своим трудом и талантом спасает людей Белгородщины и вместе с ними всех людей России.

В своем родном Белгороде я впервые присутствовал на конференции, на которой выступали и священники и ученые с великолепными научными докладами, пронизанными удивительной болью за судьбы новых поколений нашей молодежи. Тон выступлениям задали ведущие этих чтений: Е.С.Савченко и Владыка Иоанн. Владимир Ефимович Молчанов, видя, как эмоционально я реагирую на происходящее событие, договорился с президиумом, чтобы после перерыва мне дали слово для выступления от Харькова на этих чтениях. Мне подумалось, что нужно рассказать о двух главных моментах нашей работы – о деятельности по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими славянскими народами, прежде всего, о работе Харьковского отделения Союза писателей России по превращению Харькова в город русской культуры на Украине, и о деятельности Украинского отделения Международного общественного фонда имени полководца Г.К.Жукова по пропаганде исторической правды о нашей Победе в Великой

Отечественной войне. Отметив работу фонда и его Президента Василия Прокопьевича Чурина, и вручив знак фонда Владыке Иоанну, я рассказал и о том, что мы делаем в Харькове и на Украине, чтобы не забыла молодежь имя прославленного полководца – Маршала Победы Жукова.

После выступления председательствующий попросил В.Е.Молчанова свозить меня в Центр молодежных инициатив, чтобы я повторил свое выступление на молодежной секции, где были участниками чтений слушатели Белгородской духовной семинарии и студенты Белгородского университета. После окончания работы секции мы с В.Е.Молчановым побывали в тот вечер еще на одном мероприятии – на открытии нового здания Белгородской областной филармонии, на церемонии которого я встретил много давних знакомых по нашей совместной работе еще на культурно-воспитательном поприще.

Меня не просто радовали все эти мероприятия своим размахом и целенаправленностью. Они вселили в меня чувство огромного оптимизма, веру в то, что на смену нашему поколению обязательно придет новая молодежь, которая действительно сможет жить и плодотворно трудиться в новых для них условиях глобализации. Они ещё лучше нас поймут смысл своей жизни и свою огромную ответственность перед человечеством за его дальнейшее существование.

Василий ПОПОВ

«ЗНАЮ, ГДЕ-ТО ДОМИК СТАРЫЙ...»

Когда-то я – ещё не зная,
Что буду сочинять стихи –
На крыше нашего сарая
Сушил на солнце лопухи.

И думал, что листочки эти
Я закурю, как курит дед.
И накрутил я из газеты,
Как мне казалось, сигарет...

Прошли года, прошло и детство,
Теперь я в комнате один.
Я не курю, но хочет сердце
Почуять этот горький дым.

Стихов не надо. Да, когда-то,
От них кружилась голова.
Но всё равно летят куда-то,
Как дым, летят мои слова.

...И вот он, мальчик соловьиный,
На сеновале спички жжёт,
И с длинным прутиком малины
Из-за угла отец идёт.

Лес наш не высокий,
Редкий лес.
На березу сбоку
Бурундук залез.

Много, много света,
Хоть в дом бери.
А в Сибири лето
Свечой горит.

Машут мне листочки,
Шумит трава.
Буераки, кочки
Да мошкара.

Кружево искрится
У паутин.
Свищет где-то птица,
Но не найти.

ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ

1

Снег пошёл и ветер тихий...
Ветка щёлкнула в горах –
Лось несёт своей лосихе
Жёлтый листик на рогах.

2

По реке вода искрится,
Солнце яблоком висит.
Как серебряные птицы
Вылетают караси.

3

Глубоко в норе так сладко
На сухой траве вокруг,
Чуть подёргивая лапкой,
Спит калачиком барсук.

4

И бежит, бежит в припрыжку
Муравей бежит лихой.
Мимо веточек и шишек –
Он торопится домой.

Деду

Едем мягко на арбушке,
Свесив ноги, тихий шаг.
На лице моём веснушки
В лес по ягоды спешат.

Веет мёдом на поляне,
И кузнечики шуршат.
Я нащупал, что в кармане
Карамельки две лежат.

Угощу одной я деда,
А другую сберегу.
Он рассказывал, что где-то
На далёком берегу,
За высокими лесами,
Среди ночи, среди скал,
В терему под образами
Мне невесту подыскал.

Е. Семичеву

1

Между лесом и полем – дорога,
А дорога в деревню мою,
Где когда-то мальчишкою трогал
За огромные уши свинью.
Где пузатые были коровы
И лениво шагали в загон.
А за печкой томился кедровый,
Дожидаюсь гостей, самогон.

2

Пыль столбом летит на поле,
Всё шиповника кусты.
У сосновых колоколен
Раскачались кресты.

Пахнет ягодой клубникой,
В небе ласточка-вьюнок,
На холме кивает дикий
Проезжающим чеснок.

Ах, дорога, в нашем беге
Всё равно летела пыль.
Были лошади, телеги,
А теперь автомобиль.

Ничего не изменилось,
Как была душа темна,
Так и сердце колотилось,
Словно белая луна.

Ночь, и я лечу к могилам,
Попроведывать родных.
За стеклом уже не в силах
Разобрать картин ночных.

Знаю, где-то домик старый
Будет ждать меня в пути,
А пока лишь светят фары,
Только фары впереди.

Отгуляла Русь, Россия отгуляла
Всё пропили, продали вчиста.
Что осталось? Только честь и слава,
Да и та у пыльного куста.

Подымайся, Ваня, подымайся,
Отряхни рубаху и штаны.
Храм построен, заходи и кайся –
Нет твоей здесь никакой вины.

Только ты, тебе дана дорога,
Твой народ, твоя это судьба.
Потерпи – еще совсем немного,
Потерпи и кончится борьба.

Расцвела под окнами сирень,
Полетел на двор медовый запах.
Как медведи – избы деревень
Память сжали в деревянных лапах.

Обнялись забор и огород
И пошли по полю до обрыва.
Сколько было пройдено дорог –
Всё трава зелёная укрыла.

Спи, деревня, спи, не умирай.
День придет, и я приду – открою
И амбар твой низкий, и сарай,
И глаза забитые доскою.

И увидишь ты, как мир хорош,
И услышишь ты звучанье мира,
Но, очнувшись вдруг, ты не поймешь,
Что же это, что же это было.

Валерий ГАНИЧЕВ

РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Нелитературоведческие заметки на фоне воспоминаний и сегодняшних реалий

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.
(*Песня времён войны*)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Да, война началась двадцать второго июня. А готовились ли к ней? Тут водораздел мнений.

– Нет, конечно, никакой подготовки. Жертвы первых дней говорят сами за себя. Руководство страны растерялось, испугалось, бросило армию и народ. Промышленность не работала. Идеологию не отработали.

Другой взгляд:

– Готовились, но не успели. Против нас оказалась вся Европа. Времени не хватило. Ведь за 40 дней пала Франция, за несколько дней – Дания, Норвегия, Греция, Югославия. Рухнула Польша, руководство которой отказалось из-за своей зоологической ненависти к России от помощи Советского Союза. Вся Европа (кроме Англии) работала на Германию.

Кто способен был остановить эту Европу во главе с Гитлером?

После войны выходило немало книг, воспоминаний о начале войны, её победоносном окончании. В общем, шёл поиск причин поражений и истоков побед. Официальная идеология отвечала довольно чётко: причина побед – в руководящей и направляющей силе Коммунистической партии и социалистическом строе, в умении, сплочённости её руководства во главе со Сталиным (после XX съезда КПСС этот тезис всё больше и больше корректировали), в мощной индустриализации страны, в мужестве, стойкости,

терпении нашего народа, в отсутствии мощной пятой колонны.

Ну, что же, в каждом из этих положений была своя доля правды.

Но была правда и в другом. Ошиблись в сроках, когда ожидали нападения Германии (1942 г.). Ожидали нападения Гитлера (Сталин предупредил об этом на выпуске командного состава из военных училищ), объявили частичную мобилизацию в ряде областей в мае и июне 1941 года. И только что запустили в производство лучшие образцы военной техники (танк Т-34, штурмовик ИЛ-62, реактивный миномёт «Катюша»). Эх, если бы раньше!

Гудериан, танковый стратег Германии, получив ощутимый удар по своей бронированной орде от атак 34-четвёрок под Ельцом глубокой осенью 1941 года, глубокомысленно отметил: «Если бы мы знали, что у России есть такой танк, как Т-34, то Германия бы не начала войну».

Если бы они и мы больше знали к началу войны...

К ошибкам, просчётам и преступлениям относят аресты и расстрелы, устранение из армии большого количества командного состава. Нет сомнения, что это ослабляло армию, но новая война показала, что старыми методами и приёмами воевать было нельзя. Командиры появлялись и учились в бою, там же погибали, и на их место становились другие. Это были жестокие, но необходимые уроки войны.

В 1972 году я от имени Комсомола и издательства «Молодая гвардия» поздравлял с 75-летием Георгия Константиновича Жукова. В беседе с маршалом я спросил: «А всё-таки, Георгий Константинович, почему мы победили?» Секретарь ЦК Комсомола взглянул на меня с удивлением, но маршал после паузы сказал: «Правильный вопрос. Вот один из ответов. Действительно, Германия по всем статьям тогда была лучше готова к войне, чем мы. Возьмите генералов. Мы в академиях военных учились у Клаузевица, Шлиффена, Мольтке. Прусский офицер – это же военная косточка, каста целая. Немецкий солдат покорила Европу, победоносно прошёл по дорогам Франции, Бельгии, Польши, взял Норвегию, Грецию, Крит. Англия дрожала. Немецкая техника на начало войны была лучше нашей – «мессершмитты», «фоке-вульфы», «тигры», автоматы. Мы войной учились, – подумав, Жуков закончил, как мне показалось торжественно и с назиданием, – мы победили потому, что у нас был храбрый, патриотический молодой солдат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться за Родину». В какой-то мере, для нас это было откровение, хотя, возможно, и сказано было с учетом присутствия делегации молодёжи.

Так вот, как же выработывалась эта идеология, этот дух патриотизма, который помог воспитать такого солдата? В тридцатых годах в стране произошло важное и переломное событие для массового сознания.

Если в двадцатые годы идеологи, «пролетарские» писатели лихо гарцевали

на лозунге «мировой революции», на всеобщем интернационализме, на отрицании «буржуазной» классики («Пушкин – певец дворянской усадьбы», «Во имя прекрасного завтра сожжём Рафаэля, растопчем искусства цветы...»), то к концу подлинной «культурной революции», когда народ в массе своей стал грамотным (а ведь до 30-х годов 60 % населения не владела грамотой), и в этот момент определённые круги в партии и во власти приняли решение издавать миллионными тиражами русскую и мировую классику. В русской эмиграции, когда узнали об этом, наиболее прозорливые воскликнули: «Россия спасена!» Иногда, правда, издания адаптировались и с предисловиями, где Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Крылов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов представлялись как антибуржуазные писатели, что в немалой степени было и верно.

К молодому читателю, жадно поглощающему книгу, пришли великие светочи, мастера слова и высокого духа и, конечно, патриоты России.

Представляете, что было бы, если бы к нам тогда хлынул поток американских комиксов, детективов сегодняшнего дня, пошлости и порнографии, западного «цивилизованного» мира, что идёт сегодня к молодым. Способны ли были бы молодые тех лет встать на защиту Отечества через пять-десять лет («Да лучше бы нас немцы завоевали, мы бы баварское пиво давно пили», – заявляли поглотители такого чтива в период перестройки).

В это же время появляются и знаменитые документы и постановления о том, чтобы перестать заимствовать образцы «передового» просвещения цивилизации и некие «стандарты» безответственного «бригадного» обучения, а изучать конкретную историю с реальными историческими лицами и событиями, изучать классический русский язык, его духовную народную основу («Болонский процесс» того времени заканчивался).

Но были и попытки остатков троцкистской оппозиции, бухаринцев объявить Россию страной Обломова, а русский народ обладателем таких национальных качеств как «лень», «сидение на печи», «рабская природа». Фельетоны Демьяна Бедного в «Правде», «Известиях» обрушились на Россию, которая была «дикой страной», всегда «плетущейся в хвосте у культурных Америк и Европ», а ее патриоты были мелкие низменные люди. Особенно досталось Минину и Пожарскому – двум «историческим казнокрадам», памятник которым в Москве следовало «взорвать динамитом» и вместе с другим историческим хламом вынести из Москвы (Во как!).

Но время поносителей России и русских проходило. Появились новые учебники по истории России и СССР. Комиссии, которые создавались для их подготовки, были раскритикованы на Политбюро, и Сталин выдвинул там важный тезис о роли русского народа в отечественной истории. Он сказал:

«Русский народ в прошлом собирал другие народы. К такому же собирательству он приступил и сейчас». По указанию ЦК был поставлен вопрос о Минине и Пожарском, о защите Москвы от посягательств на ее памятники. Был спасен великий мировой шедевр – храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя «поносителям» удалось до этого поворота уничтожить.

Разухабистым поносителям отечественной истории досталось. Самого Демьяна Бедного, частушечника и балагура, псевдонародного певца революции раскритиковали в «Правде». В статье подверглась критике постановка в Камерном театре пьесы «Богатыри», в которой были искажены образы былинных богатырей, не раскрыты такие свойства национального характера, как мужество, доблесть, геройство, допущена «фальсификация народного прошлого». Смысл публикации, обращённой ко всем сочинителям: пора кончать издеваться над русским богатырями – они ещё пригодятся. Особая роль отводилась русскому народу. Сменился тон пропаганды. «Правда» призвала отказаться от «левацкого интернационализма», заявляла, что коммунисты отнюдь не должны отгораживаться от положительной оценки прошлого своей страны. А идеология «Иванов, не помнящих родства» объявлялась антиленинской, широко стали использовать термин «патриотизм».

В конце тридцатых годов стало ясно, что надо опираться на свой народ, на его историческую традицию, на нашу общую историю и те завоевания социализма, которые близки массам (отсутствие класса эксплуататоров, дружба народов, широкая грамотность, бесплатное образование), на исторический коллективизм нашего народа.

С конца тридцатых годов всё больше появляется исторических произведений о великих полководцах и героях прошлого. Выходят книги и фильмы о Суворове, Александре Невском, Кузьме Минине, Богдане Хмельницком и даже об императоре Петре I. Большое впечатление произвела эпопея С. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Это было обращение к образам русских воинов: матроса Кошки, сестры милосердия Даши Севастопольской, богатыря Шевченко, адмиралов Нахимова, Корнилова, великого хирурга Пирогова. В этих страницах дышало будущее отношение к людям Великой Отечественной. Как бы в преддверии войны, её народного начала и партизанского движения создаются книги о самородках и героях войны народного типа (Чапаев, Пархоменко, Щорс, Кочубей, Лазо). О войне говорили, фашизм представал перед нашим народом в своём зверском, капиталистическом и человеконенавистническом обличье. Была, конечно, надежда на интернациональную помощь трудящихся, но ещё после похода на Польшу в 1920 году, а особенно после советско-финской войны 1940

года стало ясно, что этого массового резерва для будущей войны нет, хотя справедливости ради и следует сказать о героических действиях отдельных коммунистов и честных людей в пользу Советского Союза в Германии, Швейцарии, Югославии, Франции, Англии, США.

Война чувствовалась, о её приближении говорили А.М. Горький, М. Шолохов, Н. Тихонов, Вс. Вишневский. А.С. Макаренко писал на страницах «Литературной газеты»: «Мы окружены безумием агонизирующего империализма. Где-то там, в чащах дымящихся труб Рура, на нищих полях Италии, в тесноте японских ограбленных городов последние капиталисты истории жаждут войны, они протягивают руки ... к железу, углю, к машинам, к нефти, хлебу» (А.С. Макаренко. Т. 7, с. 150).

Конечно, многие вздрогнули, когда между СССР и Германией был заключён в 1939 году мирный договор. Некоторые фарисеи и сегодня заявляют: «Как можно было заключить договор с фашистской Германией?» Они просто не хотят замечать, что в 1938 году с Гитлером заключили договор (Мюнхенский сговор) цивилизованные Англия и Франция, отдав на растерзание Германии Чехословакию и толкнув немцев на восток против Советского Союза. Двойные стандарты у противников России всегда были наготове.

Коммунистическая партия всё больше и больше понимала роль и значение литературы и искусства в жизни общества, в воспитании нравственности, патриотизма, чувства гордости за своё Отечество, за советский народ. Она постоянно вычленяла роль русских людей, подвижников державы, национального русского характера. Ещё вчера это было немыслимо, а сегодня героями народа становились Сусанин, Минин и Пожарский, Суворов, Пётр I. На их фоне бледнели и почти исчезали из народного восприятия Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Клара Цеткин, Кингисепп, Сакко и Ванцетти. Правда, их именами ещё называли улицы, но городам, посёлкам, улицам с именами Троцкого, Зиновьева, Бухарина уже возвратили старые названия или имена «красных командиров».

Потрясением для русской эмиграции оказалось невиданное по масштабу празднование памяти А.С. Пушкина в 1937 году, и как говорили позднее: «Пушкин связал в единый узел Россию до войны».

В общем, идеологи Советского Союза переделывали, приспособляли идеологию к новым мировым реалиям. Однако модернизировать её к началу войны в полной мере не удалось.

Перед войной наше общество отнюдь не представляло единый конгломерат людей, как об этом говорила официальная пропаганда.

Да, не было в нём олигархов, не было вызывающе богатых, нищете запрещалось демонстрироваться у метро и на площадях.

И было уже немалое количество людей, принявших идеи социального

равенства, было довольно многочисленное молодое поколение, прошедшее школу созидательного социализма на Магнитке, Турксибе, Днепрогэсе, Московском метро, запечатлевших их личный, отмеченный государством вклад. Был умудрённый слой людей, преданных Делу. Одни из них исходили из вековой высшей крестьянской живительной повинности: "Умирать собираешься, а рожь сей". Другие, как один мой собеседник, доктор наук видели своё предназначение – служить и работать на благо отечества, а не власти.

Он однажды при мне в 60-е годы жёстко ругал «большевиков», заявлял, что не только не любит, но и ненавидит их. Я спросил: «Как же Вы, награждённый премиями и орденами системы, не любили её выразителей?». Ответ был таков: «Да, я не люблю их и боролся с ними, но в 1929 году, когда был провозглашен план индустриализации страны, я понял, что надо укреплять мощь страны, её индустрию, хотя и провозгласили это большевики. Я решил работать на индустриализацию Отечества».

Да, не принимая нового строя, многие должны были смириться и работать, чтобы выживать, другие, чтобы укреплять национальное отечество.

К числу не соединённых, не скреплённых узами социального и патриотического единства с государством, относилась часть бывшего господствующего слоя, оставшегося в стране, раскулаченные крестьяне, расказаченные казаки, несправедно репрессированные, отторгаемые от общественной жизни верующие люди.

Да, многим из-за границы, да и изнутри, ослеплённым потерями собственности, идеалов, имущества, привилегий, разгулом несправедности, казалось, что один небольшой толчок, и страна распадётся, рассыплется на враждующие группы.

На это долгое время рассчитывала известная геополитическая противница России (в том случае Советского Союза) Англия, амбициозная Франция, самодовольная Америка. Но перед лицом агрессивной фашистской Германии они были готовы для собственного спасения искать союза даже со столь несоответствующим их взглядам государством СССР.

Особую надежду на слабость восточного соседа питал Гитлер. Его разведка, агенты, многие русские эмигранты докладывали о расколе Советском обществе. Помимо военной мощи, Гитлер рассчитывал в военной операции на внутреннюю оппозицию, на сепаратистские силы, на подкуп и запугивание.

Исходя из реальной картины, казалось, что это было возможно. Кое-какие из этих расчётов оправдались. Было немало мест, где добросовестно служили оккупантам полицаи, старосты. В Западной Украине, Крыму, на Северном Кавказе, Прибалтике создавались отряды националистов, к 1944 году

сформировалась так называемая РОА под командованием генерала Власова, лозунгом который было освобождение России от коммунизма. Но в тот момент народ не принял этих лозунгов от людей, воевавших чужим оружием против собственной страны.

Да и в целом надежды Гитлера не оправдались. И это тоже был феномен Великой Отечественной войны.

Удивительно, но народ в эти суровые, военные дни сплотился.

И это характерно для русского народа: перед лицом большой, смертельной и внешнеполитической опасности сплотиться. Не пришло ли это время сегодня? Но это уже другой разговор.

Трагедия 22 июня, жесточайшая из войн взывала к глубинам народного сознания, вызывала новый подход к Слову, Русской речи, к памяти.

НАМ ОБЪЯВИЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

И первый, кто откликнулся на вселенскую беду, стала Русская Православная церковь. Только отзвучала ошеломляющая всех речь В.М. Молотова о нападении Германии, как через два часа в Богоявленском (Елоховском) соборе местоблюститель патриаршего престола (фактический хранитель его) митрополит Сергей произнёс молитву в защиту православного русского народа.

Пока агитпроп, штаб которого был в Москве до 1944 г., отшелушивал лозунги и идеи III Интернационала для войны, И. Сталин, учившийся в православной гимназии, уловил изменившуюся глобальную, мировоззренческую суть войны и обратился к народу с небывалым обращением: «Братья и сестры! Соотечественники мои!» А закончил словами, которые уже были сказаны в храме народными пастырями: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

До победы было, правда, ещё очень и очень далеко, впереди были дороги отступления, миллионы жертв, сожжённых городов и деревень.

Однако стало ясно, что Слово выходит на первое место в душевном и духовном ободрении, в призыве, в разъяснении, в том, что было истиной, что порождало у бойца-труженика тыла самоотверженность, ограждало от паники, от бессилия, уныния, хотя причин для этого было достаточно.

Ну, а что литература? Поэзия, проза, публицистика? Было ли им место в строю, в бою, в рядах сражающихся?

В то время можно было сформулировать её задачу просто: помогать фронту. Судьба писателей слилась с народной судьбой – они ушли на фронт. Почти все писатели Ленинграда и Ростова записались в добровольцы. В боях за Родину погибло более 300 членов Союза писателей, десять из них получили

звание Героя Советского Союза. Надо было проявить наиболее быструю реакцию, обратиться к чувству тысяч и миллионов людей. Подлинно поэтическим, литературным, поистине былинным качеством явлена была в первые дни войны песня В. Лебедева-Кумача (музыка Александрова) «Священная война». Казалось, откуда-то свыше появились эти чеканные, грозные и провидческие слова:

Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

И далее, как грозная молитва-заклинание в ответ на вероломство:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Это ведь был новый язык, новый символ, это было раскрытие сути войны, её сакральный смысл: священная война.

Какой мерзостью отдаются сегодня опусы либерал-демократов, обсэшников, исторических фальсификаторов, объявляющих, что наша война была всего-навсего войной двух тоталитарных систем, войной двух тиранов Гитлера и Сталина и, следовательно, никакая не отечественная, никакая не священная.

Большого поругания памяти наших отцов и дедов придумать нельзя.

А наши поэты в эти дни вооружали новыми и новыми песнями отправлявшихся на фронт красноармейцев. Звучала, как оберег, «Песня смелых (А. Суркова): «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт». М. Исаковский, подаривший уже всем нам, да и всему миру «Катюшу», написал с домашней и близкой интонацией песню «До свиданья, города и хаты//Нас дорога дальняя зовёт.//Молодые, смелые ребята,// На заре уходим мы в поход...»

Народные ополчения, комсомольские отряды, регулярные части уходили на фронт с песней.

РОДИНА. ОТЧИЗНА. РОССИЯ

В той встрече с маршалом Г.К. Жуковым я подарил ему две книги: «Тихий Дон» (четыре тома), выпущенные впервые в одной книге и книгу «О русская земля!» (антология русской поэзии о России). Маршал погладил «Тихий Дон» и сказал: «Любимый писатель!» А полистав антологию, сказал: «Мы на фронте очень ценили патриотическую поэзию!» Вот так великий маршал

включал поэзию в стратегический фактор Победы (!). Поэтому поэзия, в первую очередь, и приходила в армию во всех видах. Особую роль сыграли писатели и журналисты, работая во фронтовых газетах всех уровней, боевых листках.

Рядом с этим была «большая поэзия», была огневая проза, которые и создавали, прорезали, выжигали образ войны, изымали из глубин народного сознания образы Родины, Воина, Богатыря, Героя, Мстителя.

Идею врага, идею расового превосходства фашизма можно было победить только другой высокой, вдохновенной, понятной для всех идей. Такой была идея Родины, Союза. Уже до войны в ряде государственных и партийных документов вывели в разряд высших общественных ценностей понятие Родины, Отчизны, Отечества, патриотизма.

Вдруг, в полный рост, без указующего перста вырисовывался образ России, высвечивалась необходимость воспитания национального самосознания, обобщения опыта великих побед и мучительных поражений («Слово о полку Игореве», «Варяг»). Требовалось новое осмысление литературой и искусством всех национальных, культурных, государственных культурных традиций. В. Вишневский в 1943 году записал в своём «Дневнике»: «В войне мы быстро познали себя с национальной стороны. Проснулись все чувства, мысли, инстинкты, воскресли старые традиции» (В.В. Вишневский, 1958 г. Т.4., стр. 28). По нынешним временам такой подход можно было бы осудить за «не толерантность» и даже ксенофобию. Тогда же, как и всегда, это было спасенье для русских людей, для представителей всех национальностей. Ибо никто уже, кроме русского народа, не мог спасти мир от «коричневой чумы».

Может быть, самое главное в советской, русской литературе военных лет то, что выстроила, вывела из закоулков социалистического реализма, из пугливого забвения двадцатых и тридцатых годов – дух, мир, суть России. Она превратила это в фундамент идеологии, мировоззрения, художественной, образной системы поколения победителей. Она вселила в души и сердца понятие «Русский характер». Простой, драматический и сентиментальный рассказ с этим названием графа Алексея Толстого стал известен везде, его и сегодня читают молодые в притихшем зале. И этот признак характера – русский, который ныне становится даже запретным. А прямая в названии и образах песенника-поэта Александра Прокофьева «Россия» создавала эпический и лирический образ великой России. Прокофьев задумал в поэме поэтическое воспевание героических братьев-миномётчиков Шумовых. Но замысел развернулся в песенную эпопею России. И поэт создал цикл песен о героях, их родных местах, об исторических судьбах страны, о национальных чертах наших людей. В поэме утверждалась вечная красота и бессмертие

России. В огне и пламени войны, в привычном окружении смерти, когда душа, казалось, очерствела, огрубела, поэт предложил ключ:

Товарищ, сегодня над нею
Закаты в дыму и крови,
Чтоб ненависть была сильнее,
Давай говорить о любви.

Может быть, казалось, что это противоестественно, но поэт создавал такой красивый, светлый, возвышенный образ Родины, что было ясно, что защищает в этой войне солдат.

Сколько звёзд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколь гроз,
Соловиное горло – Россия,
Белоногие пущи берёз.

Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По родному, по-русски – взахлёб,
Да какой-нибудь старый шалашик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
С-под ладони глядели вдаль,
Да простор вековечный, огромный,
Да гармоник размах шире плеч,
Да вагранка, да краны, да домны,
Да певучая русская речь.

Летит гроза с военных рек,
В крови твои поля.

О, непреклонная навек,
О, русская земля!

Всегда я всюду, мы с тобой,
Всей силою любви,
На новый бой, на смертный бой
Ты нас благослови.

.....

Вернём весенний шум лесов

Ромашки на лугу.

За край родной, страну отцов

Идём – и смерть врагу!

У Твардовского, который прославил подвиг русского солдата, который хорошо знал, что «Россию, мать старуху, нам терять нельзя никак». Симонов

гордился тем, что на русской земле «Умереть мне завещано//Что русская мать нас на свет родила//Что в бой провожала нас русская женщина//По-русски три раза меня обняла».

Ольга Бертгольц клялась «Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей». Павел Коган категорически восклицал: «Я патриот. Я воздух русский, я землю русскую люблю».

И в 1942 году Александр Прокофьев ещё раз в стихотворении, посвящённом А. Фадееву, как бы ещё раз напоминает:

За красную шапкой рябины,
За каждым дремучим ручьём,
За каждой онежской былиной,
За всем, что мы русским зовём.
Родней всех встают и красивей
Леса, и поля, и края...
Так это ж, товарищ, Россия —
Отчизна и слава твоя!

О ГЕРОЯХ

Жесточайшей силы удар был нанесён в июне-июле 1941 года по Красной Армии и советской стране. По оценкам «военных специалистов» немецких, европейских, мировых сопротивление будет недолгим. Британский разведкомитет определил, что сопротивление Советов будет не больше трёх-шести недель. Начальник имперского генштаба Д. Дилл добавил: «от шести до семи недель». Министр США Г. Стивенсон полагал, что «с русскими будет покончено минимум в один, максимум два месяца. Слегка отличалось мнение У. Черчилля: «Почти все авторитетные военные специалисты полагали, что русские армии скоро потерпят поражение и будут в основном уничтожены. Президента Рузвельта сочли очень смелым человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил, что русские удержат фронт и Москва не будет взята. Замечательное мужество и патриотизм русского народа подтвердили правильность этого мнения» (...) Так Черчилль увидел одну из причин того, что Гитлер не смог одержать молниеносную победу. Да, было много факторов, которые не позволили ему это сделать. Но один из них – это то мужество, смелость и героизм наших людей, который стал на пути бронированной, «цивилизованной» Европы.

Историки войны обращают внимание при её начале на поражение, на отступление, на гибель солдат. Казалось, сладить с таким победоносным врагом невозможно. Но ведь находились такие герои, которые поражали и уничтожали врага!

И в свете нашего материала для журналиста, писателя вставала задача этого героя открыть, показать, восхититься им, вознести в ранг подлинного народного воина, справедливого и грозного мстителя. Надо было сделать это убедительно, чётко, не плакатно, хотя и плакат был нужен тогда.

С первых дней к соотечественникам приходили такие люди. Мало кто знает, что уже 22 июня советские лётчики сбили 200 немецких самолётов и совершили 10 таранов.

Через 25 минут после начала войны лейтенант Иван Иванов таранил «Хейнкель-III» вблизи города Дубно. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Мемориал героев возростал.

Вот в это время и начинают появляться очерки, брошюры о героях. Помню первую привезённую к нам в Сибирь в сентябре 1941 года книжечку и листовку о бессмертном лётчике Гастелло, направившего свой горящий самолёт в немецкую автоколонну. Портрет, скорее рисунок, долго висел у нас в классе. Помню позднее, как мы стали искать у нас в библиотеке издательства «Молодая гвардия» книжки, выпущенные в годы войны. Их, рядом с книжками из «Библиотеки красноармейца» («Как подбить танк», «Как научиться метко стрелять», «Как быстро вырыть окоп», «Как перевязать рану»), было немало, этих изданий о героях-комсомольцах.

В 70-х годах я выпускал книгу бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ в годы войны Н.М. Михайлова. Он рассказывал, что И. Сталин вызвал его специально в Кремль и потребовал внимательно следить за подвигами комсомольцев, юношей и девушек и лично докладывать о наиболее героических ребятах. Вот тогда-то появились брошюры-молнии, книжечки, листовки и плакаты о молодых героях войны. Нынче их, по-видимому, не станет, их надо десталинизировать.

Мы в школах тогда знали о подвиге пятнадцатилетнего Леонида Голикова из книги Ю. Королькова «Партизан Лёня Голиков». Особо известен был подвиг комсомольца-подпольщика Саши Чекалина. Его именем назывались комсомольские смены, вахты. Саша Чекалин был схвачен фашистами и расстрелян. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Было известно и имя героини-комсомолки Лизы Чайкиной. Ее имя, знак «Чайка» взяла в полет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Всей стране была известна деятельность «Молодой гвардии» из Краснодона. Вначале появились главы о юных подпольщиках, потом, ставшая в 50 – 80-е годы настольной, книга о героях Александра Фадеева «Молодая гвардия». Недавно при нескольких опросах я убедился, что никто из нынешних молодых людей эту книгу не читал. Так вымываются из народного сознания герои. Эта глубинная операция глубоко продумана и проводится уже немалое количество лет наследниками Геббельса, хотя они прикрываются

листом демократии.

В грозном 1942 году один из самых маститых русских писателей Леонид Леонов создаёт очерк об отважном герое-партизане Владимире Куриленко, который у себя на Смоленщине организовал партизанский молодёжный отряд. В октябре 1942 года Л. Леонов в журнале «Красноармеец» публикует свой знаменитый очерк «Твой брат Володя Куриленко». В этом очерке, как и в других очерках и рассказах о героях той поры, вскрывалась природа их подвига. Они вводились в героическую рать героев Отечества.

«Набатный колокол бьет на Руси, – начинается очерк. – Свириное лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор».

«...Навстречу врагу поднялись на борьбу наши славные юноши и девушки, об их подвигах узнает страна, и самый слух о них рождает все новых и новых героев». ...«Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья в стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится ныне закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия». К такой «человеческой стали» относился и Володя Куриленко. Леонов, чтобы вскрыть истоки рождения этой «стали» характера советского юноши, обращается к биографии его, которая во многом была похожей на биографии Зои Космодемьянской и Александра Матросова, Лизы Чайкиной и Юрия Смирнова, молодогвардейцев и многих известных и безвестных героев. «Рано закончилась юность у поколения русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть», – так завершался очерк Л. Леонова о Володе и его боевых товарищах.

Позднее, в письме «Неизвестному американскому другу», писатель развил эти мысли: «Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, возводить заводы и театры, проникать в тайны мироздания... Они мечтали о золотом веке мира... Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволочла безоблачное небо нашей Родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодежь и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.

Они-то крепко знают, что в этой схватке победит правда и добро. Орлиная русская слава парит над молодежью нашей страны. Какими великими оказались наши, вчера еще незаметные люди! Они возмужали за эти годы, страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину народной войны. Они дерутся за Родину так, как никто, нигде и никогда не дрался... Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь, – ненавистью, когда уже не чувствуется ни боль, ни

лишения...» Даже сегодня ощущаешь живое чувство автора, которое согревает эту публицистику, а потому делает ее предметом художественного творчества. В чем тут секрет, где скрыты не видимые сразу, но постоянно действующие родники большого чувства, которые заставляют волноваться и сердца тех, кто пришел в этот мир после войны? Собственно, в этом секрет не только леоновской публицистики, но и очерков многих военных писателей, как писал об этом профессор Б. Леонов в своей книге «Русская литература о Великой Отечественной войне» (М., 2010).

Надо было дать услышать этих воинов, атакующих, сражающихся, погибающих. Вот короткая публицистическая зарисовка П.А. Павленко «Последнее слово». «Боец морской пехоты, черноморский моряк, упал на поле атаки тяжелораненым. Осколок мины разворотил ему грудь, и смерть была от него не дальше, чем в десяти минутах. Но он все еще пытался встать, и из последних сил ему удалось приподнять туловище и оглядеться. Бой уходил от него. За дальней волной наступающих моряков бежали связисты и саперы. Он не окликнул ни тех, ни других. Но когда заметил кинооператора, позвал его. Тот подбежал, хлопая себя по карманам: искал индивидуальный пакет. Но раненый махнул рукой: не то.

– Сыми меня! – крикнул он. – Умру, так ничего и не выскажу! Сыми!

– Есть снять!

Кинооператор оставил на умирающего свой аппарат. А тот поднял вверх окровавленную, дрожащую от напряжения руку и громким, страшным – точно звал всю свою роту – голосом прокричал в объектив:

– Ребята! Не жалейте себя! Надо же понимать!

– Глаша! Не жалея меня!

– Деточки мои, помните...

И только тут понял кинооператор, что моряк хотел не фотографии, а звука. Он хотел быть услышанным. Пусть так и будет, как он хотел. Воля его священна».

Вспомнив про этого героя-моряка из «Последнего слова», Александр Кривицкий обобщил изображенное Павленко: «Умирая, он хотел быть услышанным! И он услышан. В тысячах сказаний, песен, романов и очерков скорбящий и благородный народ увековечил память погибших сынов Родины – героев войны».

В одном из своих выступлений А. Твардовский сказал, что действительность, даже героическая действительность, нуждается в подтверждении и закреплении искусством, «без этого она как бы ещё не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей. То же самое можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941–1945

гг. Он подтверждён в нашем сознании, в том числе, в сознание самых непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого слова».

Литература и искусство выступили тогда как хранители памяти поколений, особенно это проявилось в произведениях, запечатлевших героические страницы жизни народа. Думаю, что это была величайшая связь литературы с народом. Писатели утвердили тогда своё право говорить от имени народа, от имени Родины. И мы можем и должны обратиться к произведениям тех лет. Твардовский подчеркнул: «В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырёх лет».

НАУКА НЕНАВИСТИ

«Наука ненависти», которую представил Шолохов в 1941 – 1943 гг. продолжали разрабатывать все писатели. Это ныне за столом симпозиумов и конференций можно говорить о недостаточном гуманизме по отношению к врагу, а в 41-ом году вопрос стоял о жизни и в целом государства, и отдельного человека. Надо было не только остановить врага, но и уничтожить его. Понятия «немец» и «фашист» очень скоро слились в одно целое. Германия становилась очагом, откуда ползла смерть.

Толстой в статье «Родина» пишет: «Немецкие солдаты так же обезличены, потрёпаны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной сволочи. Они жестоки и распущены, потому что в них вытравлено всё человеческое... Германия только фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса: впереди – смерть, позади – террор и чудовищный обман». (А. Толстой. Публицистика, с. 671)

А. Сурков отметил: «Только обмолвись словом «немец», как все сразу начинают раскрывать страшное, ещё год назад казавшееся невероятным». (А. Сурков «Земля под пеплом») Ярким выражением этой тенденции стала фраза И. Эренбурга «Убей немца!», ставшая лозунгом войны. Он писал: «Мы поняли: немцы – не люди. Отныне слово «немец» разряжает ружьё. Не будем говорить, не будем возмущаться – будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты убил одного немца – убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов... Убей немца! – это просит старуха-мать. Убей немца, – молит тебя дитя. Убей немца, – кричит родная земля» (И. Эренбург. «Убей», Война. 1943, с. 22).

А почему эта ненависть? Да потому, что враг жесток и бесчеловечен, и публицистика это показывала, не особо преувеличивая. «Под серым холодным пеплом лежит исконно тверская земля, осквернённая, погранная

стопой гитлеровских орд. Они ещё недавно бесчинствовали здесь – эти жадные до крови, глумливые пришельцы». (А. Сурков. «Земля под пеплом»)

А. Толстой: «Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить сапогом на шею, нашу Родину назвать Германией, изгнать нас из земли «отчич» и «дедич»... А что такое фашист, мы узнали, все они детоубийцы, растлители, мародёры, надменные дураки, связавшие себя с Гитлером круговой порукой страшного преступления, разумного и доброго в них нет, а есть зло, они сознательно хотят делать злое». (А. Толстой. «Родина. С. 20»).

Л. Леонов: «Всё меркнет перед ними – утончённая жестокость европейского средневековья, свирепая изобретательность заплочных мастеров Азии. Нет такого мучения, какого не было бы причинено нашим людям этими нелюдями». (Л. Леонов. Письмо неизвестного американскому другу. Письмо первое. Стр. 147).

Чем дальше разворачивалась картина зверств, мучений, разрушений, тем больше обозначение немцев сводилось к понятиям: убийцы, людоеды, изуверы, палачи.

Д. Заславский в «Правде» в 1944 г. 2 мая писал: «Попытки немцев выдать за людей были бесполезны и бессмысленны. Что из того, что у двуногих немецких зверей есть матери и отцы, есть дети, что некоторые у себя в Германии слыли за людей, «добрых людей». Их надо было уничтожить, как уничтожают хищников. Для гитлеровского отродья, покрытого кровью советских людей, советских детей нет и не может быть места в человеческом обществе. Может быть законченной формулой были слова Эренбурга: «Души зачерствели? Ложь – у них нет души. Это одноклеточные твари, микробы, бездушные существа, вооружённые автоматами и пулемётами («Их исправит могила», т. 2, с. 11).

Естественным было и чувство ненависти к врагу, оно прирастало с каждым новым убитым человеком, с каждым сожжённым селом, с каждым разбомблённым городом, с каждым погибшим ребёнком, с каждой жертвой насилия. Один из первых это понял Михаил Шолохов, его книга «Наука ненависти» становилась книгой-наставлением для бойца. Действительно, враг стал не противником, а убийцей. И поэтические строки приобретали форму приказа. Вот напечатанные во многих газетах, на листовках, плакатах стихи Константина Симонова:

Если ты фашисту с ружьём
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что родиной мы зовём, —
Знай, никто её не спасёт,

Если ты её не спасёшь,
Знай: никто его не убьёт,
Если ты его не убьёшь.

Да, надо было спасать страну, сражаясь с безжалостным врагом.

В 1999 году делегация Союза писателей России была в Белоруссии. С нами был писатель Владимир Карпов, Герой Советского Союза, бесстрашно сражавшийся в боях и захвативший в плен 74 «языка». В университете города Витебска, куда Карпов ходил на задания во время войны как разведчик, был задан вопрос: «А какие чувства испытывали Вы, когда убивали человека?» Карпов побелел и резко ответил: «Я не убивал ни одного человека, я убивал недочеловеков. Я видел, как они насиловали девушек, как разбивали головы младенцев... А Вы говорите о человеке?»

Наверное, об этом и известные стихи Алексея Суркова, написанные в начале войны.

Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьём он дал обет
Беспощадно, яростно казнить
Тех людей, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток?

Нынче находятся такие, и добро бы только на Западе, которые привыкли считать Россию жестокой, её царей ужасными (Иван Терибль, то бишь Ужасный, а не Грозный), забывая, как уничтожались «цивилизациями» целые народы и нации (индейцы США, славяне Пруссии, народы майя, инки, ацтеки, рабы Африки и т.д.). Но ведь и наши либералы-гуманисты, спустя 70 лет после начала войны, не хотят помнить, что немецко-фашистские завоеватели сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сёл и деревень (!), было уничтожено 6 миллионов зданий.

Лишились крова 25 миллионов человек, было уничтожено и разрушено 31850 промышленных предприятий. Почти 17 (!) миллионов человек, наших граждан, погибло от бомбардировок городов и сёл, на дорогах эвакуации, мирные люди были уничтожены в концлагерях, в немецком плену, погибли от рабского труда на территории Германии. Это был самый массовый геноцид в истории человечества, большинство погибших были русские люди. И поэтому столь суровым и гневным было Слово писателей страны и столь необходимо было оно.

Герой Шолохова лейтенант Герасимов говорит от себя: «Тяжко я ненавижу фашистов за всё, что причинили они моей Родине и мне лично, и в то же

время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас драться с таким ожесточением. Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на всё, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Именно эти два чувства, воплощённые в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагу всегда мы носим на кончиках штыков («Наука ненависти»).

Мне кажется, что здесь великий писатель вычленил ту подлинную ненависть к врагу, исходящую из любви к родине, и от зверства оккупантов и захватчиков. И ведь предостережение Сталина о том, что гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остаётся, и о том, что мы не можем отождествлять немцев и фашистов, не принимается ни бойцами, видевшими зверства, ни писателями и журналистами, описывающими их. И лишь только когда наши войска вступили в 1945 году в Европу, пришлось, как в знаменитой статье в «Правде» «Товарищ Эренбург упрощает», в наших партийных публикациях разграничивать эти понятия, показать, что наступает новое время, и на территории Германии мы должны отличать немца от фашиста.

Когда пришла Победа, у солдата ненависть отступила на задний план, на первый план вышла человечность, гуманизм и, конечно, память.

«Господь вас спаси...»

И ещё главное, что вошло в жизнь всей страны, встало нескрываемым образом литературы. В 1941 году совершился великий поворот к вере, к Богу, к душе.

И Русская Православная Церковь проявила себя в эти грозные дни как духовный поводь народ, с первых часов нашла точные и верные слова, обращённые к соотечественникам.

Ей не надо было подыскивать эти слова и призывы – они шли из Евангелия, из храма, из русской истории. 22 июня 1941 года по церковному календарю День всех святых в Земле российской просиявших. В Богоявленском соборе отслужили литургию. И вот война! Как только прозвучало выступление наркома иностранных дел В.М. Молотова, пришедший с богослужения местоблюститель митрополит Сергей стал рассылать послание «Пастырям и пасомым христианской православной церкви». В нём было сказано:

«...Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать

благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству».

Митрополит в этом первом послании Церкви как бы стягивает, сшивает историю нашего народа. «Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет фашистскую вражью силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что молили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посраим же их славного имени и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может».

Ошеломляющими для старого агитпропа явились слова:

«Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатыре Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-разбойника.

...Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больше сея любви ничтоже иметь, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою положит не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой или выгодой ради Родины». Сергей далее говорил, что «негоже пастырям лишь посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией». И уж если найдутся те, кто искусится «лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно ради Иисуса, а не ради хлеба куса, как выразился Дмитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой».

Послание заканчивалось торжественно, высоко, жертвенно:

«Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

И подпись: Патриарший Местоблюститель Смиренный СЕРГИЙ, митрополит Московский и Коломенский. Москва, 22 июня 1941 г.

Потрясающий документ. То, о чем сказал Сталин 3 июля, 7 ноября 1941 года, то, о чем сначала робко, а затем более решительно заявляла советская пропаганда да и наша литература, патриарший местоблюститель написал в первые часы войны. Ведь еще не появились ни листовки, ни плакаты, призывающие к борьбе. Боевой агитпроп еще в раздумье смотрел на свои

прежние лозунги о классовой солидарности и соединении пролетариев всех стран, а церковь уже определила лицо врага, указала на истоки грядущей победы, на перерастание народной войны в священную.

Через три дня, 26 июня, митрополит Сергей в Богоявленском соборе совершает торжественный молебен о победе русского воинства. Один из присутствовавших вспоминал слова митрополита, произнесенные во время молебствия: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной».

Перед лицом национальной опасности церковь призвала к национальному единению, к борьбе с захватчиками, агрессорами, оккупантами. Во всех православных храмах России, всего Советского Союза молились о победе русского народа. И сотни тысяч православных людей дерзали и стояли насмерть, ожидая спасения от Господа. В Петербурге до сих пор показывают два узеньких окошка кельи, где во время ленинградской блокады жил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий Патриарх всея Руси. В осажденном – голодном и холодном – городе в храмах горели свечи, люди молились. Митрополит ежедневно совершал молебны святителю Николаю, обходил с иконой Божьей Матери крестными ходами храмы и молился «о спасении града и храма сего».

Незабываемо яркое слово было сказано митрополитом Ленинградским Алексием на литургии в кафедральном Богоявленском соборе в Москве 10 июля 1941 года. Слово будущего патриарха я бы сегодня поместил в хрестоматии для учеников. Владыка Алексей начал так:

«Патриотизм русского человека ведом всему миру. По особенным свойствам русского народа он носит особый характер самой глубокой, горячей любви к своей родине. Эту любовь можно сравнить только с любовью к матери, с самой нежной заботой о ней. Кажется, ни на одном языке рядом со словом «родина» не поставлено слово «мать», как у нас. Мы говорим не просто родина, но мать-родина, и как много глубокого смысла в этом сочетании двух самых дорогих для человека слов! Русский человек бесконечно привязан к своему отечеству, которое для него дороже всех стран мира». (Нет сомнения, что так называемая «цивилизованная» интеллигенция, позирующая на высоких собраниях, привыкшая громить все русское, и это слово, сказанное перед лицом смерти, перед лицом фашистского агрессора, ныне может причислить к разряду шовинизма и оголтелого сталинизма. – В. Г.)

«Когда Родина в опасности, тогда особенно разгорается в сердце русского человека эта любовь. Он готов отдать все свои силы на защиту ее; он рвется в бой за ее честь, неприкосновенность и целостность и проявляет беззаветную

храбрость, полное презрение к смерти. Не только как долг, священный долг, смотрит он на дело ее защиты, но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить, который он должен до конца исчерпать». Алексей, может быть, первым тогда дал широкий экскурс в историю: Батый, Мамай, псы-рыцари, – и Дмитрий Донской, преподобный Сергей, Александр Невский, сокрушившие врага. Особо отметил Алексей Отечественную войну с Наполеоном. «Промыслом Божиим ему попущено было дойти до самой Москвы, поразить сердце России, как бы для того только, чтобы показать всему миру, на что способен русский человек, когда отечество в опасности и когда для спасения его потребны почти сверхчеловеческие силы... И поражение гениального полководца явилось началом его полного падения и разрушения его кровожадных планов».

Алексей продолжил: «И теперь русский народ в беспрецедентном единстве и с исключительным порывом патриотизма борется против сильного врага, мечтающего раздавить весь мир и варварски сметающего на своем пути всё то ценное, что создал мир за века прогрессивной работы всего человечества. Борьба эта не только борьба за свою родину, находящуюся в великой опасности, но, можно сказать, за весь цивилизованный мир, над которым занесен меч разрушения».

Вот как! Иерархи гонимой и притесняемой православной церкви видели, что Советская Россия, Советский Союз спасет мир и человеческую цивилизацию, а нынешние «цивилизаторы», десталинизаторы, стремясь облить грязью Россию, ее прошлое, приравнивают в войне фашистскую Германию и СССР с одной целью: оправдать разрушение и уничтожение великой страны.

Киевский митрополит Николай обращается к верующим со словами обличения самочинной автокефалии, провозглашенной епископом Волынским Поликарпом Сикорским, которого незамедлительно поддержали немецкие оккупанты. (Вот когда еще хотели уничтожить единство верующих людей России и Украины).

По призыву церкви стали собираться средства в помощь стране и армии на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского. К празднику Красной Армии храмы Москвы выделили 1,5 миллиона рублей на подарки воинам. Троицкая община в Горьком собрала в фонд обороны миллионы рублей и много теплых вещей. Митрополит Сергей написал на этом сообщении: «Браво, Нижний Новгород. Не посрамил мининскую память». Из блокадного Ленинграда через церковь жертвуется 3 миллиона рублей. По всей же стране через церковь поступило 300 миллионов рублей. Любопытно слово, сказанное при передаче танковой колонны частям Красной Армии, и их ответ. Митрополит Николай обратился к красноармейцам

так: «Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет вас на битву за священную Русскую землю! Вперед, к победе, братья-воины!»

Через несколько месяцев командование танковой части написало ответ митрополиту: «Выполняя Ваш наказ, рядовые, сержанты и офицеры нашей части на врученных Вами танках, полные любви к своей матери-родине, к своему народу, к вождю и отцу народов великому Сталину, успешно громят заклятого врага, изгоняя его из нашей земли. На этих грозных боевых машинах танкисты прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев на первом Белорусском фронте и продолжают преследовать врага, освобождая от фашистской нечисти родную землю...»

Священнослужителей в те годы можно было увидеть на подготовке рубежей обороны. При храмах создавались санитарные пункты и убежища для престарелых и для бесприютных детей. Многие священники помогали партизанам, несли слово правды верующим.

В осадные октябрьские дни 1941 года митрополит Сергей обращается к московской пастве: «Не первый раз русский народ переживает иноплеменных, не первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли!» Силен враг, но и «Велик Бог земли русской» – так воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас теперешнему нашему врагу». До Москвы, до Кремля оставалось едва ли полсотни кило-метров, и тот призыв говорил о высоком мужестве и ответственности иерархов церкви, об их исторической прозорливости.

Кстати, отвечая тогда на вопросы иностранных корреспондентов, Сергей сказал: «Коммунистическая партия отрицательно относится к религии, и мы сожалеем об этом». Это было неслыханно – выразить несогласие с позицией и политикой могущественной партии! Это была твердость, убежденность и духовность, с которой стали считаться (конечно, не всегда и не на долгий период).

Писатель Владимир Крупин в очерке «Без Бога ни до порога» пишет об этих днях: «Но разве не Господь сохранил среди превращенного в руины Сталинграда единственное здание – церковь Казанской Божией Матери с приделом в память преподобного Сергия Радонежского. Также и в Старой Руссе: город в развалинах – храмы стоят. В блокадном Ленинграде устояли все храмы... Старец Троице-Сергиевой Лавры Кирилл, бывший легендарный сержант Павлов, рассказывал нам, как много бойцов в тяжелые минуты приходили к Господу, как многие, особенно в Курской битве, видели над войсками небесное воинство.

Церковь и народ были едины в горе и борьбе в Великой Отечественной

войне. Это прекрасно поняли и Сталин и часть его окружения. В 1943 году, наконец, был снова избран Патриарх Московский и всея Руси, вышел «Журнал Московской Патриархии», было объявлено об открытии духовной семинарии и монастырей... Устанавливались – через Совет по делам русской православной церкви – отношения церкви и государства.

Святейший Патриарх Кирилл в слове в день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии недавно сказал то, что относится к нашей теме, это слова призыва к людям, к народу нашему: «помнить священные моменты своей истории, обновить своё национальное самосознание, превратить свою национальную историю – как это происходит в церкви – в нечто актуальное, значимое, черпать в истории силы, в том числе, для своей жизни, для устройства общественной и государственной жизни страны».

Высокое чувство Родины, её слитность с Господом было не только у тех, кто соединён был с ним с молоком матери, но и у тех, кто отодвинут был от этого, но и у тех, в ком родовое начало выявило его.

Одно из самых пронзительных стихотворений начала войны, где это проявилось в полной мере, было симоновское.

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
...И вот оно, это чувство, поразившее поэта...
Как слёзы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь Вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Он ощущает, что весь глубинный строй предков России, все её духовные силы встают на защиту своих непутёвых и не верящих потомков.

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены
С простыми крестами их русских могил.

...Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе, поняв своим бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идёте, мы вас подождём».
«Мы Вас подождём!» – говорили нам пажити.
«Мы Вас подождём!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

...Константин Симонов понимает всю сращенность истории, природы, обычаев и гордится русской землёй.

Нас пули с тобою пока ещё милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
На бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла...
...Хотя ясно, что и перекрестила...

Да, напрямую писатели о Боге, о Вере ещё не писали, но Дух этого, отношение к этому всё больше и больше чувствовался в литературе тех лет. Вот небольшая новелла, рассказ «Крестик», который написал основательный, серьёзный русский писатель И.С. Соколов-Микитов.

«У нас в дивизионе был один паренёк, младший сержант Петрушкин – отличный боец. Много раз его представляли к наградам. С этим парнем вышло на фронте такое. Пошли раз солдаты в баню. Разделся Петрушкин – товарищи смотрят: у него на шее крестик. Ну, знаете, обыкновенный крестик на шнурочке, как раньше носили. Подняли ребята Петрушкина на смех. А ты, комсомолец, Боженьке молишься. Он им что-то дерзкое в ответ. Ну, сгоряча ребята за него взялись – народ на фронте злой был. Затужил паренёк. Ходит злобный, повесивший нос. Призываю, спрашиваю: «Что невесёлый ходишь, Петрушкин? О чём думаешь? Письма из дома получаешь? – Получаю письма. – А невеста у тебя есть? – Есть, – говорит. – Пишет? – Пишет – Покажи письма.

Прочитал, вижу, всё в полном порядке.

– Что, говорю, с тобой поделалось боец, объясни.

– Не могу объяснить, товарищ майор.

– Ну, смотри, если не справишься с собой, откомандирую тебя из части.

Внушение майора мало подействовало, тот расспросил товарищей и узнал про эту историю с крестиком. Опять вызываю.

– Слушай, Петрушкин, откуда у тебя крестик взялся? Ты верующий? Не стесняйся. – Нет, я не верующий, я комсомолец. – Ну, а крестик у тебя? – Молчит. – Говори, не бойся.

Вот и рассказал он мне, что крестик подарила ему мать, когда он из дома уходил на фронт. Сама повесила на шею, просила не снимать, слово взяла. Из любви к матери носит он этот крестик. Подумал я и говорю:

– С тобой крестик? – Нет, я спрятал. – Можешь ты этот крестик на два часа мне представить... – Молчит. Потом принёс материнский подарок.

Приказал построить моё подразделение. Выхожу, поздоровался, вынимаю из кармана крестик. Вижу: кое-кто из солдат ухмыляется – поняли, в чём дело. Я сделал лицо строгое.

– Вот что, говорю, товарищи-солдаты. У каждого из нас на родине осталась мать. Вспомните, как вы прощались с матерями, когда уходили на войну из родного дома. Одна мать родной землячке сыну в платочек завяжет, другая – записочку в рубаху зашьёт. Вот младшему сержанту Петрушкину старуха-мать на память о своей материнской любви подарила этот крестик – то, что ей самой всего дороже. Он и берёт дорогую для него память о своей матери. А матери наши – наша любовь, наша родная земля, наша Родина, которую мы защищаем. Можно ли над этим смеяться?

Вижу, призадумались мои ребятки. Вижу, на Петрушкина поглядывают.

– Ну, как, – спрашиваю, – дошло?

– Точно, – говорят, – товарищ майор, дошло.

Вернул я крестик Петрушкину – тем и окончилась вся история. А Петрушкин опять стал лучшим и самым храбрым солдатом».

Известно, что маршал Жуков (об этом писала дочь Георгия Константиновича Мария) однажды урезонивал ретивого политрука, ругавшегося солдата, у которого на бруствере стояла иконка: «Дурак ты, дурак, политрук. Она ему дорога».

Об этом же рассказывал после войны участник Сталинградской битвы Василий Грязнов в журнале «Советский Казахстан». Он вспоминал, как в окопах Сталинграда к ним пришёл Шолохов. Идёт он по ходу сообщения и нет-нет выглянет, посмотрит в бинокль в сторону фашистов. А кто-то из солдат и говорит: «С биноклем, товарищ полковник, поосторожнее. У немцев снайперы начеку». Шолохов улыбнулся в ответ: «Благодарю за упреждение, но я снайперов не боюсь. Заговорённый я, брат, от пули». Ну, солдаты нашего окопа окружили его. Все сразу узнали в полковнике Шолохова. Я говорю

ему: «Может Вы, Михаил Александрович, и молитву какую от пули знаете?» «Знаю», – отвечает Шолохов, – и те молитвы, что имеются в «Тихом Доне», и новые. Много знаю молитв, но сейчас у меня на уме и в сердце одна. Начинается она так: «Во имя отца, и сына, и матери моей – ни шагу назад» (М. Шолохов. Собр. соч. том 8, стр. 112).

В леоновском «Нашествии», в платоновских рассказах, в книге про бойца Василия Тёркина тип поведения героев был вековечный и христианский и отнюдь не противостоял тому героическому духу, который взращивался социалистическим обществом (Господь спасал Россию).

У того же А. Платонова, который в 1942-м году добровольцем ушёл в армию, а затем был откомандирован в «Красную звезду», одними из употребляемых слов были слова «одухотворённый», а также понятия, как «дух» и «душа». Платонов вводил, по существу, понятия «духовная память народа», которая несла в себе как историческую, так и память сердца и души.

«Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на войне», – писал Платонов в очерке «О советском солдате» («Три солдата»). Отсюда его дух. А у пришельцев, явившихся на нашу землю грабить, жечь, уничтожать всё живое, – пустодушие. И поэтому война – это сражение «одухотворённых людей» с «неодушевлённым врагом». В этих словах и соединялись, и сталкивались понятия «добра» и «зла», «света» и «тьмы», «жизни» и «смерти», «любви» и «ненависти». Победив зло, русский солдат выручит из фашистского рабства всё человечество. Так считает и его герой Степан Трофимов из рассказа «Дерево Родины». Уходя на фронт, Стёпка простился с матерью у родной избы и на выходе из деревни остановился у одинокого старого дерева, которое селяне прозвали «божиим», потому что оно стояло у дороги вопреки всем напастям. Его била молния, обжигали горячие ветры, но оно держало листву, не сбрасывая ни одного листика. Проходя мимо, Степан сорвал листок и спрятал за пазухой. Степан задавался обычным платоновским вопросом: «Кто этот враг, зачем он пришёл на нашу тихую землю?» Чтобы убить его, Степана, а потом его мать. В первый бой он убил одного фашиста. Был ранен, попал в плен. И дальше Платонов показывает духовную силу простого человека, опирающегося на духовную мощь – культуру и дух народа.

«Значит, Вы знаете Вашу силу?.. В чём же она заключается?», – спрашивает немецкий офицер... – Чувствую, значит, и знаю, – проговорил Трофимов. Он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. – И ты здесь, со мной! – прошептал Трофимов Пушкину, – изба-читальня, что ль была? Потом всему ремонт придётся делать». Офицер рассвирепел и ударом рукоятки нагана заставил раненого «отвыкать» от жизни.

Очнувшись в карцере, Степан ощутил то, что лист с Божьего дерева Родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно. Осторожно отделил его, прилепил его к стене повыше, чтобы фашист не заметил, «он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить и он начал немного согреваться». Понимал, что должен непременно выдержать всё, чтобы послушать, как шумят листья на божьем дереве... «Я вытерплю, – говорил себе Трофимов. – Мне надо ещё пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве». Он встал и снова загляделся на лист божьего дерева... Пусть то дерево родины растёт вечно и сохранно... Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что, если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче». Так у Платонова в этом рассказе, как и других из сборника «Одухотворённые рассказы» (1942), «Рассказы о Родине», «О броне» (1943) соединилась правда жизни, жестокая реальность войны, одухотворённость поступков наших воинов и мастерство художника. Это уже была литература Духа.

СЛОВО

Исторически Слово на Руси играло великую роль в дни опасностей, вражеских нашествий, смертельных испытаний. Оно возбуждало, требовало очнуться от безразличия и пассивности, оно становилось оберегом, тезисом спасения, предостережения, призывом. В нём ощущался особый сакральный, спасительный смысл. Сколько их пришло из старой дореволюционной Руси, встало на плакатах, листовках, в шапках газет и было созвучно чувствам русских людей в годы жестокой, смертельной войны.

Вот они, ставшие словами на всю жизнь, хотя были сказаны давно: «Кто с мечём к нам придёт, от меча и погибнет». Это сказал Александр Невский.

А восклицание Кузьмы Минина из «Слова о полку Игореве» стало неким молитвенным обращением к нашей Родине: «О русская земля, ты уже за холмом еси!»

– Не следует беречь своего имущества; да не только имущества! Не пожалейте и дворы свои продавать, и жён, и детей закладывать!

А слова Петра I из приказа, обращённые к войскам перед началом Полтавской битвы, появлялись не раз в публикациях во время войны: «Воины! Сей пришёл час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство... Не должна вас мучить слава неприятеля, яко непобедимого..., которую ложну бытия и которую вы сами победами своими над ним неоднократно доказали... А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия...»

А вдохновляющие слова, сказанные ополченцам в 1812 году победоносным флотоводцем Фёдором Ушаковым: «Не отчаивайтесь, сии грязные бури обратятся к славе России», высвечены на иконе святого адмирала.

Особо пригодилось нашим политработникам, журналистам, писателям та великая работа, которую проводили русские патриоты в 1812 году. Готовясь к выступлению на ежегодном фестивале «Бородинская осень», я вдруг обнаружил, что советский агитпроп напрямую пользовался приёмами антифранцузской, антинаполеоновской пропаганды 1812–1814 гг., который создавался для информации и просвещения русской армии, духовной мобилизации населения Москвы и всей России.

Особо следует отметить роль выдающегося патриота, учёного, просветителя, писателя, лексикографа, государственного деятеля, министра просвещения, президента Академии наук, адмирала Александра Семёновича Шишкова. В нашей дореволюционной и советской историографии его пытались зачислить (особенно западники) в разряд махровых консерваторов, реакционеров, противников прогресса (ну так это принято у наших господ либералов всех видов, когда человек исходит из интересов России, русского народа). Александр Семёнович – человек, тонко чувствовавший Слово, его глубинную суть. И в России Александра I начала XIX века отодвигался от серьёзной деятельности за его правду и резкость в её выражении. Но пришла гроза на границы России, и тогда он понадобился, сменил на посту государственного секретаря М. Сперанского (да, когда приходит гроза, либералы и революционеры неуместны). По указанию императора он пишет правительственные манифесты, приказы по армии, обращения. Назову всего несколько типов обращений, сделанных Шишковым для императора.

Вот один из первых (от 6 июня 1812 года): «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие своё внутрь России, надеясь силою своей и соблазнами потрясти спокойствие Великой сей Державы...

С лукавством в сердце и лестью в устах несёт он вечные для неё цепи и оковы. Мы призываем на помощь Бога, поставившем в преграду ему войска Наши, кипящие мужеством попать, опрокинуть его, и то, что останется не истреблённого, согнать с земли нашей.

...Да, найдёт он на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина...

...народ русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все – с крестом в сердце и оружием в руках, никакие силы человеческие вас не

одолеют».

Некое примечание. Именно в эти дни начала июля 1941 года прозвучало обращение к народу из уст председателя Совета Оборона с необычными для того идеологического времени словами: «Братья и сестры! Соотечественники мои». Не знаю, пользовался ли он и его помощники текстами императора и адмирала Шишкова, но дух 1812 года явно в нём присутствовал.

Шишков писал и обращения, связанные с отступлением и сдачей Москвы. Это были горькие слова: «С крайней, сокрушающей сердце каждого сына Отечества печалью сим возвращается, что неприятель сентября числа 3 вступил в Москву. Но да не унывает от сего Великий народ российский».

Позднее он сказал о том, что «радость и торжество гордого победителя превращается в мрачную зависимость». Он увидел, что россиянам отечество своё драгоценнее, чем великолепные жилища и сокровища. Он увидел, что Москва – ещё не Россия. Зловещее предчувствие сказало ему, что легче было в неё войти, нежели выйти из неё: «Полчища его, забывшие Бога и Веру, предаются всякого рода буйствам и мерзостям и терзают единственных, оставшихся им больных и убогих, томимые голодом, питаются подобно себе хищными вронами, неистовствуют, жгут, оскверняют Божественные храмы...».

Врага изгнали из Москвы в октябре 1812 года, а в октябре 1941 года он подошёл к Москве, и 19 октября улицы столицы были завешаны Постановлениями Государственного Комитета Оборона, начинались которые в старом русском стиле (почти как в воззвании 1812 г.):

«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-200 километров западнее Москвы, поручена командующему западным фронтом генералу армии Жукову.

...В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укреплении тыла войскам, защищающим Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов и диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Оборона постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 года в Москве осадное положение. Нарушителей порядка неминуемо привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Председатель ГКО И. Сталин».

Ну, а знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад», пожалуй, не имеет аналогов в 1812 году, хотя мотив отступления и предупреждения нарушений в рескриптах и манифестах Шишкова присутствует.

Можно сколько угодно метать громы и молнии в адрес 227-го приказа, обвинять его в негуманности и введении штрафных батальонов и

загранотрядов, но катастрофа, которая произошла на юге летом 1942 года, требовала особого слова и особой стилистики особого приказа.

«Враг бросает на фронт всё новые и новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, рвётся вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, убивает советское население».

«...Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».

Так ещё никто и никогда не говорил с бойцами, командирами, политработниками.

«Ни шагу назад! – таким должен быть наш главный приказ. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

И дальше штрафбаты, загранотряды, которые давно были у немцев, дальше объявление «предателями» тех, кто будет продолжать отступать. Заканчивался приказ требованием: «Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах штаба». Народный комиссар обороны И. Сталин.

Далее были жестокие бои, дальше был Сталинград.

Слова военных документов, в которых чувствовалась опасность, их грозное дыхание входили в поэтическое и прозаическое повествование писателей и журналистов. Были ли последними словами Зои Космодемьянской слова: «Сталин придёт» или это плод журналистского повествования – это уже не важно, они срастались с именем героини.

Ну а исторические слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва», сказанные 16 ноября 1941 года военным комиссаром 2-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка Василием Клочковым под знаменитым Дубосеково, где он со своими бойцами сдержал натиск фашистов, подбили 18 танков.

А как категорична и монументальна фраза сталинградцев 1942 года «За Волгой для нас земли нет».

Слово ограждало, защищало, сберегало.

«ПУСТЬ ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС ОБРАЗ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ...»

Уже до войны прорывались в общество, к читателю, выстроились в оборонный ряд и охоронную дружину Александр Невский и Суворов, Кутузов

и Нахимов. Спрос на историческую литературу, на рассказ, на очерк о великих сынах России был велик.

Глубинная истерия и история Отечественной перекликались. Автор известных романов «Чингиз-хан» и вышедшего в 1942 году «Батый» В.Г. Ян в газете «Литература и искусство (15 мая 1943 г.)» сформулировал задачу перед авторами таких произведений: «исторический роман, прежде всего, должен быть учителем героики».

Очень современно прозвучал роман С.Н. Голубева «Багратион». Он проводил читателя по полям сражений начала XIX века, показал великое сражение Бородино, беззаветность русского воина и русского полководца. А то, что Багратион был русский полководец, никто не сомневался, как русскими полководцами были в те годы К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, Р. Малиновский, да и сам Сталин не претендовал на звание грузинского военачальника.

Может быть, не все черты и достоинства великого полководца показал Л. Раковский в своём романе «Генералиссимус Суворов», но его бесстрашие, любовь к солдатам, победоносность там были ярко явлены и явились к читателю в самом начале войны (роман был дополнен в 1947 году).

Как бы предвосхищая свершение исторической справедливости, А. Степанов переработал и издал написанные ещё до войны 1-ю и 2-ю книги романа «Порт-Артур» в 1944 году. Это была книга о самоотверженных, благородных офицерах, людях чести и долга, о большого масштаба адмирале Макарове, о великих тружениках войны – русских солдатах. После войны многие считали эту книгу эталоном исторической справедливости к тем, кто ушёл из жизни, потерпев поражение, но не сдался.

Толстыми и неподвижными казались нам романы В. Шишкова «Емельян Пугачёв» (1938 – 1945 гг.) и «Дикое поле» (1945 г.), Н. Петрова-Бирюка «О Бухавинском восстании». В соответствии с идеологией того времени изображались бунтари, но в их характерах выделялась удаль, молодечество, смелость, что соответствовало и нашему солдату.

Удивительно ли, что последний номер «Роман-газеты», выпущенный в военное время (1942) – это был «Дмитрий Донской» Сергея Бородина.

В 1941 г. были изданы книги документов и материалов о войне нашего народа с врагами. Вот книги того периода, что выписаны из абонементов Томской и Смоленской библиотек:

– Выступления по радио товарища Сталина и товарища В.М. Молотова о Великой Отечественной войне.

– Отечественная война против германских оккупантов в 1918 г. Гослитиздат. Подписан в печать 3 ноября 1941 г.

– Отечественная война 1812 г. Сб. документов и материалов. Ин-т

истории. Изд-во АН. 1941.

– Тарле Е. Отечественная война 1812 г. Разгром империи Наполеона. – Госполитиздат. 1941 г. 110 тыс. экз.

– Шугрин М. Славные страницы истории русского народа: борьба с немецкими захватчиками. – Новосибиргиз, 1941. 10 тыс. экз.

– Алексей Толстой. Я призываю к ненависти. – Госполитиздат. 1941.

– На фронте и в тылу. Все как один на защиту Отечества. – ОГИЗ-Госполитиздат, 1941.

– Гитлер должен пасть. Стихи и проза писателей-антифашистов. – М.–Л.: АН СССР. Институт мировой литературы. 1941.

– Политическая агитация в условиях Отечественной войны. – М.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1941.

– П. Павленко. Героизм советских людей. – М.: Советский писатель, 1941.

– За Родину, честь и свободу. – М.: Военная библиотека школьника, 1941.

– Алексей Толстой. В сальских степях. – М.: Госполитиздат, 1941.

– М. Шолохов. Пулеметная команда. – 1941.

– Николай Асеев. Первый взвод. – 1941.

– Илья Эренбург. Враги. Библиотека «Огонек». – М.: Из-во «Правда», 1941.

– М. Эдель. Дорога танкистов. – М.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1941.

– Бахрушин С. Иван Грозный. – М.: Госполитиздат, 1942 г. 50 тыс. экз.

– Брагин М. Фельдмаршал Кутузов. – М.: Детгиз, 1942 г. 25 тыс. экз.

– Воины русского народа 1858-1878 гг. Библиографический указатель. – М.: Книжная палата, 1942 г.

– Корнейчук А. Фронт. Пьеса. – М.: Искусство, 1942. 20 тыс. экз.

– Лесков Н. Рассказы. – М.: Детгиз, 1942 г. 50 тыс. экз.

– Мавродин В. Брусилов. – М.: ОГИЗ. Госполитиздат, 1942 г. 50 тыс. экз.

– Маяковский В. Избранное. – М.: Детгиз, 1942 г. 50 тыс. экз.

– Отечественная война 1812 г. Сб. стихов. – М., 1942 г. 100 тыс. экз.

– Рожкова. Денис Давыдов. Партизан 1812 г. – М., 1942 г. 200 тыс. экз.

– Сибиряки на фронте. Сб. очерков, стихов. – М.: ОГИЗ. 1942 г.

– Симонов К. Русские люди. Пьеса в 3-х действиях. – М.: Искусство, 1942 г. 20 тыс. экз.

– Ярошевский Э. Александр Невский. – Новосибирск: ОГИЗ, 1942 г. 20 тыс. экз.

Уже в 1943 году вышли очерки «Герои Краснодона» в «Правде» тиражом 100 тыс. экз. Стала выходить серия «Великие борцы за русскую землю» и др. (Данилевский «Александр Невский», 250 тыс. экз.), Осипов К. «Адмирал Макаров», 23 тыс. экз., Пигарев К. «Солдат-полководец». Очерки о Суворове, 100 тыс. экз., вышли и афоризмы Суворова «Для художественного чтения» (!), вышли отрывки из «Войны и мира».

В 1944 г. вышли книги о Кузьме Минине Данилевского, 200 тыс. экз. Книга Н. Коробкова о фельдмаршале Румянцеве-Задунайском.

Все исторические книги того времени были, конечно, книгами об Отечестве, о народной силе, о служении России, даже если они были о царях, императорах или великих деятелях.

Так, Алексей Толстой выпустил блестящую по слогу и слову книгу о Петре I, где император предстаёт как возрастающий государственный деятель, заботящийся о державе, подбирающий верных соратников по государственным делам, живой, импульсивный, стремящийся к победам человек. Конечно, в этом случае были и параллели с руководителями страны. Но это уже зависело от фантазии и образованности читателя как хранителя исторической памяти.

Борцом за русский язык был Алексей Югов. В годы войны вышел его роман «Даниил Галицкий». Казалось, к чему эти далёкие сопоставления? Нет, во всём был смысл. Советская Армия двигалась по древним славянским землям, где удерживал западные границы славянства Даниил Галицкий, гордо стоял и против немецкого нашествия.

Помню, как в апреле 1942 года стремительно вошла в наш первый класс учительница и сказала: «Дети, у нас сегодня победа! Ура! Да нет, ребята, это семьсот лет назад Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера! – На доске она написала: – «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет». Это его слова! Так в нас входила педагогика и история военных лет. Символично, что книг, брошюр об Александре Невском, русском святом князе, вышло во время войны более миллиона.

ЧУВСТВО ЕДИНОЙ СЕМЬИ. ВПЕРЕД, СЛАВЯНЕ

Когда я приехал из Сибири в самый центр Украины, на Полтавщину, еще шла война и я пошел учиться в сельскую украинскую школу. В первый же день я писал диктант на мове. Диктант состоял из 56 слов, я сделал 74 ошибки. В учительской этот «образец» висел долго как пример глуповатого «москаля». Постепенно украинскую мову я не только выучил, но и полюбил, чувствуя ее мелодичность, напевность, а еще и жесткость, когда она была обращена к врагам. Первые стихи на украинском языке я и выучил тогда.

Максим Рыльский свое классическое слово в годы войны обратил к Украине: «Україна моя, чисті хвилі ланів, променісті міста, голубінь легкорила», – торжественная музыка. И в эти дни он вдохновлял своих сынов и дочерей: «Україно, ты в славний борні не одна». Да, все советские люди, русские поэты и писатели посвящали свои произведения Украине. Об этом писал Твардовский, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Евгений Долматовский

(«Ой Днипро, Днипро»). Стихи ведущих классиков, видных поэтов Украины были посвящены Родине, ее освобождению, нашей вековечной дружбе. Об этом писал Павло Тычина, его книга «Победить и жить» вышла в 1942 году, наиболее значительной была его поэма «Похороны друга» (1943 г.), Владимир Сосюра посвящал свои стихи Победе, Украине («Любить Украину»), Верховному главнокомандующему:

Людина стоїть в зореноснім Кремлі.
Людина у сірій віськовій шинелі.
Ця постать знайома у кожій селі,
У кожній оселі на нашій землі.

Во фронтовых газетах трудились Олесь Гончар, Александр Малышко и др. На фронте воевали многие украинские поэты. Всех тогда соединяло, как красиво и проникновенно сказал Павло Тычина: «Чуття єдиної Родини» («Чувство единой семьи»).

Украинец-воин Владимир Буласко родился на Хмельниччине, с третьего курса Университета ушел добровольцем на фронт. Сражался, погиб на земле Латвии. Стихи писал и в 41–м, и 42–м. Отступал, видел убитых людей, сожженные села, но просил у далекой матери:

О дай же мне силы забыть про могилы
И петь лишь о милой отчизне моей!

В декабре 42-го, когда немцы захватили всю Украину, он пишет песню-заклинанье:

Над Украйной ночь плывет,
Мешая с плачем чьи-то тени.
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.
Повешен сын. Мать косы рвет.
Но жив предатель и изменник.
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.
Наш час в веках еще пробьет,
Потомок подвиг наш оценит,
Пока в нас сердце не умрет –
Нас не поставишь на колени.

Погиб от ран Кость Герасименко, до войны был известен своей поэмой «Кони». Сражался под Ленинградом за Отчизну, за Украину, обращался к другу, погибшему там же:

Прерваны мысли, раскиданы роты.
Вечер похож на кровавую рану.

Финским ножом, перерезавшим тропы,
Ступка звенит на путях к Ленинграду...
...Десять ранений. И возле кювета
Братский наш холмик, неровный и голый,
Все было немо... И только у ветра
Был твой негромкий и медленный голос...

Под стихами стояла дата: 1942 г., год, в котором тоже погиб от тяжелых ран Кость.

Не менее тяжело, чем бывшим на фронте солдатам и поэтам, было и Платону Воронько, воевавшему в партизанских отрядах Ковпака. Иногда было тяжелее, ибо Украина пылала вокруг него. Но удивительно, что поэтическая душа его не зачерствела, не испарилась. Он читает на партизанских привалах бойцам Шевченко и Пушкина. Используя образы Леси Украинки (той, що гребли рве»), сказочной Мавки с карабином за спиной. Он подтверждает свое партизанское ремесло:

Да, я плотины рвал
Я не скрывался в скалах
... Укрытый, я лежал под партизанским кровом,
И кровь текла по капле сквозь бинты,
И лесовик склонялся седобровый
И спрашивал: «Ты все взорвал мосты?» –
Да, все.

Помню, как встречали мы аплодисментами в актовом зале Киевского Университета нашего славного и легендарного тогда поэта, партизана, истинного борца «за незалежність» Украины, принесшего ей место в ООН, присоединившего к родному краю западные области, Закарпатье, Буковину, Измаил. Он и его соратники, вместе с бойцами всех национальностей освободили Украину, дали ей силу и мощь, а не те, кто стрелял в спину нашим воинам. Платон Воронько – Поэт! Партизан! Славный сын Украины и Советского Союза!

Ну, а подлинным всенародным признанием пользовались пьесы украинского драматурга А. Корнейчука, известного до войны по пьесам «Гибель эскадры» и «Платон Кречет». Его поистине «стратегическая» пьеса «Фронт» как бы вмешивалась в стратегию, призывала отказаться от устаревших взглядов на войну, призывала ценить солдата и проникать в замысел врага. Пьеса была поддержана самим И. Сталиным. Обратился он и к подвигу народа в тылу врага – «Партизаны в степях Украины», выступал с яркими публицистическими статьями.

Минск, столица Белоруссии, был захвачен немцами 28 июня. Казалось, голос белорусского народа надолго затих. Страна еще ничего не знала о

героизме Брестской крепости, героях-партизанах Пинска, Гродно и других городов, ужасы Хатыни не были известны, над Белоруссией опустилась ночь оккупации. Но слово белорусских писателей звучало с первых часов войны, взывая к мужеству, стойкости, к сопротивлению. Старейший белорусский поэт, народный поэт Белоруссии Янка Купала (Иван Луцкевич), чувствуя и понимая место белорусов в Отечественной войне, обращается к тем, кто уходит в леса, в своей балладе «К белорусским партизанам»:

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны,
Бейте ворогов поганых,
Режете свору окаянных,
Свору черных псов войны.

На руинах, на погосте,
На поганых их следах
Пусть скликает ворон в гости
Воронов считать их кости,
Править тризну на костях...

Пусть у Гитлера – урода
Сердце вороны клюют,
Пусть узнает месть народа
Вурдалакова порода.
Партизан, будь в мести лют.

Вас зову я на победу,
Пусть вам светят счастьем дни!
Сбейте спесь у людоедов –
Ваших пуль в лесу отведав,
Потеряют спесь они.

За сестер, за братьев милых,
За сожженный хлеб и кров
Встаньте вы могучей силой,
В пущах ройте им могилы –
Смерть за смерть и кровь за кровь.

Вам опора и подмога
Белорусский наш народ,

Не страшит пусть вас тревога,
Партизанская дорога
Вас к победе приведет.

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны,
Бейте врагов поганых,
Свору черных псов войны.

1941 г.

Позднее он напишет о том, что «день мести и расплаты» наступил и подписался: «партизаны».

Другой белорус Петро Глебка сражался в рядах Красной Армии, его стихи «Лес» перевел сам М. Исаковский.

Ломая вражеские доты,
Не дав опомниться врагу,
Мы вышли к Сожу всю ротой,
В дубовый лес на берегу...
Вперед ребята! Близко Гомель, –
Мой город, родина моя!

Белорусские писатели Максим Танк, Иван Шамякин были рядом со своим народом, были в рядах ополченцев советской литературы. Чувство советского единения было безусловным. Но, может, знаково выглядело и славянское братство. Я не раз рассказывал, как один из преподавателей, подполковник, на военной подготовке в Университете рассказывал нам об особенностях атаки. Мы спрашивали его: «А что вы кричали, бросаясь на врага? За Родину, за Сталина?» Он, не видя подвоха, качал головой и отвечал: «Нет, я, тогда лейтенант, Ванька-взводный, выскакивал на бруствер и, подняв вверх пистолет или автомат, кричал: «Вперед, славяне!» А у меня во взводе, кроме русских и украинцев, были мордва, башкиры, грузины, даже якут. А сам я татарин».

Вот что значили героизм, самопожертвование, стойкость славян. Была она такой и в русской, украинской, белорусской литературе во время войны. Была она и в литературе братства народов Советского Союза, но об этом особый разговор.

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...

Заканчивалась война. Всё естественнее звучал колокол победы. В некоторых статьях о литературе конца войны (подлаживаясь, скорее под

идеологические веяния то оттепели, то перестройки, то десталинизации), позднее писалось и утверждалось, что «с литературой произошёл странный парадокс: правда ушла, а осталась идеологическая пропаганда о силе советского оружия, о коммунистической партии, о роли вождя, товарища Сталина. Было забыто, что перед войной Сталин подписал пакт о ненападении с фашистом Гитлером». Как это возможно – союз фашиста с коммунистом? – лицемерно восклицал автор, преднамеренно забыв Мюнхенский сговор 1938 года Англии и Франции, открывший дорогу второй мировой войне. Ну, Бог с ними (вернее, Бог с нами, а бес с ними), литература конца войны вышла на небывалую живительную высоту правды, героических, драматических, трагических, человеческих обобщений.

Великий Михаил Исаковский чувствовал горечь победы, знал её великую цену, видел испепеляющую его Смоленскую землю. Сколько погибло там солдат в Смоленском сражении 41-го и в оборонном и равном Сталинграду противостоянии 42-43 годов!

А сколько сожжено сёл и деревень, уничтожено мирных и трудолюбивых жителей, женщин, стариков, детей на Смоленщине – 530 тысяч!!!

Это ведь 19 (!) Бухенвальдов. Мы помним Бухенвальд, а кто вспомнит русские Ивановки, Николаевки? Где им памятник? Где наша Хатынь? Где правозащитники? Как умело и тихо забыла Европа, наша доперестроечная и перестроечная власть о 17 миллионах погибших мирных жителей. Не о 9 миллионах бойцов идёт речь, те ведь погибли в боях, сражениях, концлагерях, а эти под бомбами, в пожарах, при массовых расстрелах, насилиях, на немецких заводах и полях. Ну, как же не забыть Европе, развязавшей войну, вооружившей Гитлера, толкнувшей его на Восток, свою вину. Ведь виновата не она, а две тоталитарных системы, два тирана! Ух, как бросились поддерживать этот тезис наши либералы, ведь им за это что-то перепадёт с барского стола толстосумов Запада. И не заболит у них сердце о 17 миллионах погибших от врага наших мирных людей. А у Исаковского душа изболелась, в конце войны он сердцем пишет народный реквием, великую печальную, сжимающую горло песню-плач «Враги сожгли родную хату», каждый куплет которой – глыба памяти и боли.

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя – мужа моего.

Боже мой! Какая горестная, а могла быть радостной, картина этой встречи.

Готов для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришёл...»

Я не знаю, какие ещё более психологически и душевно верные слова могли быть найдены в ответ на эту скорбь. Исаковский их нашёл:

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только тёплый летний вечер
Траву могильную качал.
Вздыхнул солдат, ремень заправил,
Раскрыл мешок победный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:
Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой,
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Подлинно эпической картиной заканчивается баллада.

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Вот он – былинный русский богатырь, прошедший с боями всю Европу, отмеченный скромной наградой и отстоявший Родину, которая вся сожжена и испепелена. Где же эти паршивцы критики, увидели: что «правда» ушла из советской, русской литературы, осталась идеологическая пропаганда о силе

советского оружия». Вот взял бы он, этот паршивец, и написал о расцветающей нынешней деревне, куда приехал израненный и изувеченный солдат с чеченской войны, вот великой бы «правдой» отметил своё время.

ФЕЛЬЕТОНЫ, ШУТКИ

Как писал ленинградский профессор П. Выходцев: «Повседневное обслуживание фронта, независимо от тяжести условий и превратности боевой обстановки, на материале, не допускающем расслабленности духа, растерянности и уныния, было, говоря фронтовым языком, задачей номер один».

Конечно, тут и создавались образы бывалых солдат (Гриша Танкин, Вася Тёркин, Иван Гвоздев, Фома Смыслов, Федот Сноровкин и т.д.). Вот эти-то живые солдаты, с одной стороны, балагуры, острословы, смекалистые, находчивые, «служивые» войны и создавали образ бойца, ведущего его к победе. Через шутку бойцы ободрялись, заражались оптимизмом, развенчивали врага, «обезвреживали» чувство страха. Возрождались фольклорные жанры, в ходу была былина, сказка, частушка:

Как пришла война к морю бурному,
К полуострову, к порту Мурмана
И ещё грозней северок подул,
И ещё темней, холодок рванул.

(Карельский фронт. «В бой за Родину». 26 сентября 1941 г. С. Кирсанов. Северный сказ)

Часто газеты, как писал А. Твардовский, начинали с 4-й страницы. А там было всё – фельетоны, частушки, раёк, прибаутки. Часто частушка поэта становилась известна многим, становилась подлинно народной:

Бить повсюду не устанем
Силу окаянную.
Награждали их крестами
Только деревянными.

(А. Прокофьев)

Край, советский пулемёт.
Поливая с горочки.
Враг скорей всего поймёт
Твои скороговорочки.

(В. Лебедев-Кумач)

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Да, к сожалению, у войны было самое женское лицо. Помните великий плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовёт». А для бойцов на фронте лицо женщины было самое милое, самое дорогое. Правда, сказать об этом действительно втором фронте у литературы в полной мере не было ни сил, ни времени. Фронтовые писатели были там, на передовой, у бойцов. Если касались подвига женщин, то, в большей степени, тружениц госпиталей, врачей, санитарок. Это уже потом, после войны, Фёдор Абрамов в «Пряслиных», Валентин Распутин в «Живи и помни», Анатолий Иванов в «Тени исчезают в полдень» покажут невероятный, тяжёлый, спасительный для страны женский труд в тылу. А те из женщин, кто обладал талантом, славили бойца, бой, пророчили победу. Вызывает почти мистическое восхищение подвиг ленинградки Ольги Берггольц. Ежедневно, преодолевая боль, оттирая руки от холода и мороза, чувствуя тошноту от голода, писала стихи, создавала строки, ставшие афоризмами осаждённого Ленинграда. Умер муж, сгорели в буржуйке дорогие книги, но в её сердце и душе пылал огонь ярости к врагам, немцам, фашистам и горел свет любви к ленинградцам, к великим людям России.

Ольга Берггольц написала в 1942 году свои лучшие, пульсирующие сердечной болью, поэмы «Февральский дневник», «Ленинградская поэма». После метронома и объявленной отмены тревоги она выступала по радио. Выступила, преодолевая простуду, боль, горечь утрат. В её «Февральском дневнике», написанном в замёрзшем, засыпанном снегом, скованном льдом, под методическим обстрелом, в звуках сирен и взрывов Ленинграде, есть такие горькие и возвышенные строки:

 Был день как день,
 Ко мне пришла подруга,
 Не плача рассказала, что вчера
 Единственного схоронила друга,
 И мы молчали с нею до утра.
 Какие ж я могла найти слова?
 Я тоже ленинградская вдова.
 Мы съели хлеб, что был отложен на день,
 В один платок, закутавшись вдвоём,
 И тихо-тихо стало в Ленинграде,
 Один, стуча, трудился метроном.
 ...Когда немного посветлело небо,
 Мы вместе вышли за водой и хлебом

И услышали дальней канонады
Рыдающий, тяжёлый, мерный гул:
То армия рвала кольцо блокады,
Вела огонь по нашему врагу.
А город был в дремучий убран иней,
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят
Дрова и скарб, умерших и больных.
А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завёрнутое в одеяло тело
На Охтинское кладбище везёт.
Нет, мы не плачем. Слёз для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не даёт,
Нам ненависть залогом жизни стала
Объединяет, греет и ведёт.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
Чтоб мстила, мстила, как могу,
Ко мне взывает братская могила
На Охтинском на правом берегу.

Великие монументальные слова Ольги Бергольц: «Никто не забыт – ничто не забыто» ныне высечены на многих могилах

Но не забыты ли? Не забываются ли жертвы и победы?

А рядом великая Анна Ахматова, за которую боролись многие «литературные круги», а она не принадлежала никому, она принадлежала России. В Союзе писателей России (Комсомольский проспект, 13) есть скромная (может быть, чересчур скромная) мемориальная доска писателям-фронтовикам, писателям-воинам, и там знаменитое, поистине мемориальное стихотворение «Мужество» о том, что «час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет». И как великое завещание: «И мы сохраним тебя, Русская речь, // Великое русское слово».

Ну и, конечно, памятен был в военные годы «Пулковский меридиан» Веры Инбер, стихи Маргариты Алигер.

Женщины держали на своих плечах, руках и слезах весь тыл. Они убирали урожай, собирали автоматы, закручивали стабилизаторы у мин, строили, возводили эвакуированные предприятия. В июле 1941 года отец Николай

Васильевич, работавший секретарём Марьяновского сельского райкома партии, попросился добровольцем на фронт, ему строго сказали: «Убери урожай, прими эвакуированных с Украины, наладь на станции встречу и еду для едущих на фронт красноармейцев Сибири». Отец всё это сделал (даже я, первоклассник, помню, как мы выносили к поезду варёную картошку, яйца, лук и ранет (больших-то яблок в Сибири не было)). Урожай был убран отменный. Молодцы, марьяновцы! Но вдруг грянул гром. Представитель ГКО (Государственного Комитета Оборона), высшего строгого и требовательного чрезвычайного органа оборонной власти обнаружил, что в закромах колхозов и совхозов осталось зерно. «Семенной фонд – это священное для колхозов», – объяснил отец. «Святое – сдать до зёрнышка», – заявлял представитель ГКО. К расстрелу! Арест и ожидание приговора. В это время из Таганрога перемещалось авиационное училище – надо было готовить лётчиков для фронта. В Марьяновке была степь, там и решили построить аэродром. Секретарь обкома обратился к представителю ГКО: пусть Ганичев построит, он всё и всех в районе знает, а потом разберёмся. Отца выпустили, он и построил аэродром через месяц. Строгий выговор, предупреждение, а на следующий год в районе самый высокий урожай по Сибири (сработал семенной фонд). Отцу дали орден Трудового Красного Знамени. Так вот – от расстрела к ордену. Это война. Хорошо, что не наоборот. Отец и говорил, что всю войну в тылу женщины выиграли. Бывали и курьёзные случаи, когда строили аэродром, он, проверяя качество укладки алюминиевых полос, услышал, как две женщин, разбивая ломом смёрзшуюся землю, говорили о войне там на западе. Одна сказала: «Ну, прёт и прёт Гитлер, скоро и к нам дойдёт». Другая, с ожесточением опуская лом, ответила: «Ну, допрёт, тогда мы ему ноги-то из ж... повидёргиваем». Отец подошёл, сказал: «Спасибо женщины за боевой дух. Давайте-ка я вам выпишу по дополнительной пайке хлеба». Женщины отказались: «Ты командир (отец был в военной форме), отдай-ка вон лётчикам, пусть не отощат перед полётами».

То, о чём мало знают и почти забыли, следует вспомнить: как рабов, как американских негров гнали в Германию русских, украинских, белорусских девушек и женщин. Кто-то пытался скрыться, протестовать, но сила врага была безмерна и жестока. Женщины и девушки издавали подлинный плач – «песни из неволи». Большинство из них исчезли, пропали в кострах памяти.

Но многие зацепились за фронтовые газеты, за внимание писателей и журналистов. А. Твардовский написал о тетради из барака восточных рабочих, Надежды Коваль, этот альбом искренних и правдивых чувств, песни «полонянок» читались и пелись в бараках и казармах, пересылались на родину, распространялись среди партизан и жителей оккупированной территории.

Песнями обменивались с Родиной, да и оттуда получали. Так в альбоме Надежды Коваль была песня «Привет с Украины (о которой Надежда писала: «Цю пісню склали українці, що дома живуть. Вони посилають усім українцям, що живуть в Німеччені, привіт)».

Значит, эти песни были и средством общения и ободрения, поддержки, веры и мужества.

Такие песни нашёл на Псковщине и опубликовал в газете «На страже Родины» С. Васильев. (1944 г., 6 марта, Петрова Люба). Писали так, как из татарской неволи в давние века неслись песни с желанием вырваться из неволи, мольба о помощи и надежде:

Услышь меня за тёмными лесами,
Убей врага, мучителя убей!
Письмо писала я тебе слезами,
Печалью запечатала своей.

(На врага. 1943 г., 20 октября. № 230)

Песни из полона непреклонны, проникнуты мщением:
Ой вы, братики, братья родные,
Вызволяйте вы нас поскорей,
Приготовьте вы пушки
На проклятых кровавых зверей.
Прилетайте на крыльях могучих,
Приезжайте на танках больших,
Налетите вы грозною тучей
На мучителей подлых моих.
Пусть свинцовым дождём отольются
Слёзы те, что я лью по ночам,
Пусть скорей наши пули вольются
Прямо в сердце моим палачам.

(«Красноармейская правда». 1944 г., 17 октября)

Из плена доносились голоса, даже из лагерей смерти Заксенхаузена. Вот песня девушек из концлагеря Равенбрюк:

Мы живём по соседству с Берлином –
Островок, окружённый водой.
Там лежит небольшая равнина
И концлагерь за мрачной стеной.
...Нас в четыре утра поднимают,
Второпях воду тёплую пьём,
А потом на апель выгоняют
А потом на работу идём.

Мы работы совсем не боимся,
Но работать на них не хотим.
Мы как будто поём, веселимся,
А в душе своей горе таим.
Выше голову, русские девушки,
Будьте русскими всюду, всегда,
Скоро каторгу эту оставим
И вернёмся в родные места.

Да и это, то женское лицо войны, без которого нашу литературу тоже не ощутишь в полной мере.

В Омске в прошлом году поставили необычный и величественный памятник, скорее мемориал «Труженикам тыла». Что характерно – памятник встал у улицы Лизы Чайкиной.

Девять скульптур стоят перед взором омичей. Они пришли оттуда, когда Омск был одним из самых работающих, тягловых городов России. Оттуда в 1941 году отправлялись сибиряки под Москву и Ленинград. В Сталинграде сражалась знаменитая дивизия генерала Гуртьева, сформированная из омичей. В Орле, где генерал погиб, ему поставил памятник сам Вучетич. Омск стал каким-то денно и ночью работающим комбинатом обороны страны. Область приняла сотни заводов и предприятий из Ленинграда, Москвы, Украины, хлеба сдавала столько же, как зерновые Кубань и Ростов. В городе были десятки госпиталей, тысячи солдат из которых возвратились в строй. Омск дал приют многим театрам, музеям, библиотекам. В Тюмени, тогда он назывался город Омский, спасли даже тело Ленина из мавзолея. Когда я выпускал в издательстве книгу Михаила Ульянова, то мы много времени у меня в «Молодой гвардии» провели в воспоминаниях об Омске и Таре (он родом оттуда) военной. На него огромное впечатление произвёл театр Вахтангова, который был эвакуирован в Омск, часть его труппы была в Таре, после того, как бомба попала в московское помещение. Вахтанговцы выступали со спектаклями перед военными, уходящими на фронт, в госпиталях, перед рабочими и колхозниками. Моя мама вспоминала, что раз в квартал со станции Марьяновка отправляли автобус с передовиками производства на спектакли в Вахтанговский театр в Омске. А спектакли были поставлены омичами и вахтанговцами: «В степях Украины» А. Корнейчука, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва, «Парень из нашего города» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Тимур и его команда» А. Гайдара.

В общем, удивительно, но факт – Омск жил, работал, поставлял танки, самолёты, оружие, боеприпасы, радиостанции, зерно, мясо, лекарства.

И по праву заслужил звание города боевой славы и, конечно, трудовой.

И это звание к нему, безусловно, придёт. Но он и сам заботится о себе, он благодарит тех, кто создавал ему имя и славу, кто составил его гордость и совесть. Так вот в этом памятнике военному труду и времени женщины составляют большинство. На нём – мать с ребёнком, крестьянка с серпом, медсестра, женщина с рабочим (в годы войны половина населения работала на заводах и предприятиях), девочка с колосками. Белые крылья – консоль – обрамляют памятник. Это незримая связь с теми, кто ушёл на фронт, с теми, кто послал их. Это памятник женскому лицу войны.

Артиллеристы, Сталин дал приказ

Ну, конечно, не обойти роль и место Сталина в литературе военной поры.

В прошлом году на парламентской встрече в Костроме, посвященной патриотическому воспитанию, сбережению памятников истории, 65-летию Победы, которую вёл председатель Совета Федерации С. Миронов, выступил директор Института военной истории, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Махмуд Ахметович Гареев. Он, в частности, сказал, что вот поднимается вопрос, чтобы на 9 мая не было нескольких исторических стендов с портретами И.В. Сталина, что мы выиграли Великую Отечественную войну вопреки Сталину. «Такого ещё в истории не было, – сказал видный историк, боевой генерал, – чтобы войну выигрывала армия и страна, вопреки своему главнокомандующему. Если такое возможно и страна может без руководства обходиться, зачем сегодня у нас два руководителя?» Зал засмеялся и поаплодировал генеральской иронии. Ясно, что не под дулом пистолета «Вальтер» писались песни и стихи о Сталине, хотя многим, особенно в начале войны, было горько и обидно: просмотрели, проморгали, не подготовились.

У И. Стаднюка в его книге «Война» при описании первых неубедительных действий высшего руководства есть сцена, когда члены Политбюро пришли в здание Генштаба (на Знаменке, где он и нынче). Сталин стал жёстко распекать Жукова и Тимошенко за поражения. Жуков не менее жёстко ответил и вышел из кабинета. Сталин бросил Берии: «Пойди, посмотри, чтобы не натворил чего-нибудь». Что за этой сценой скрывалось у автора? Мог ли Жуков застрелиться? Или отдал бы приказ охране арестовать Сталина, считая его виновником первых поражений? Я расспрашивал у Стаднюка, он многозначительно молчал: «Потом узнаешь». Спросил у Чуйкова, который был тогда советником в Китае, тот пожал плечами: «Навряд ли». Адмирал Н.Г. Кузнецов, с которым я подолгу беседовал на больничных прогулках в садике на улице Грановского, считал, (я знал, что у них с Жуковым были нелады): «Георгий всё может с его характером». Николай Николаевич

Яковлев, замечательный историк, сын опального при Сталине маршала Яковлева, раскрывший впервые у нас в советское время роль масонов в февральской и октябрьской революциях (книга «1 августа 1914 года»), твёрдо сказал, что не мог Жуков этого сделать, ибо генералы, хотя и были недовольны политиками, не давшими им, как считали военные, всесторонне подготовиться к войне, но считали безусловной государственной фигурой Сталина, лишившись которой в начале войны, руководство страны показало бы, что сверху разлад и фактически проложило бы путь к капитуляции.

Думаю, что в этом смысле, кто эмоционально, кто рационально писал о Сталине, были искренны. И вряд ли кому в момент, когда решалась судьба страны, пришла бы в голову мысль о десталинизации общества.

Замечательный писатель, моряк Михаил Годенко, написавший легендарную книгу «Минное поле» о переходе нашего флота из Таллина в Кронштадт, сказал мне однажды: «Знаешь, мы моряки, когда шли в атаку, не кричали «За Родину!» «За Сталина!» – больше ругались. Но скажи нам кто тогда, что из-за Сталина мы терпим поражения, мы бы того пристрелили как гебельсовского пособника».

Вот никак С. Куняеву не удаётся выпустить книгу произведений о Сталине, написанную в военные и предвоенные годы поэтами и писателями (родственники многих не соглашались, а зря, хорошие были стихи, высокие чувства – другое дело, история их поправила наоборот, но в то время народ им верил).

В этом ряду и Б. Пастернак, и К. Симонов, М. Рыльский и Я. Колас, М. Шолохов и Л. Леонов, К. Федин и Б. Полевой, О. Гончар и М. Исаковский, А. Твардовский и А. Сурков, А. Софронов и И. Эренбург, М. Алигер и В. Инбер, А. Толстой и Вс. Иванов, А. Бирюков и Павленко, Антокольский и А. Яшин, Лебедев-Кумач и П. Тычина, А. Ахматова, П. Сосюра и Эм. Казакевич, А. Фадеев и Н. Тихонов, да и все остальные советские писатели – те, кто воспевал победу, славил советского солдата, испепелял фашизм. Ну, а кто вычеркнет из истории слова гениального писателя Ивана Бунина, отвергавшего какое-либо принятие революции, но сказавший Симонову, что «в 1941 году двадцать второго июня я, написавший все, что писал до этого, в том числе «Окаянные дни», я, по отношению к России и к тем, кто ныне ею правит, я навсегда вложил шпагу в ножны». А во время одной из встреч после войны Бунин предложил тост: «Выпьем за великий русский народ – народ победитель! И еще – за полководческий талант Сталина!»

Ну, Бунин сказал это после Победы, а вот стихи, обращенные к Сталину в самый драматический момент войны в октябре 1941 года написал Константин Симонов. Он был тогда на Севере, на Карельском фронте, на Северном флоте. Армия продолжает отступать, судьба Москвы не ясна, и Симонов пишет:

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем:
Не мать, не сына – в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.

...А те из нас, кто в этот день сраженья
Во славу милой родины падет, –
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдет.

Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны...

К. Симонов грезил, что 7 ноября на Красной площади пройдут полки, сам же он 7 ноября на катере вместе с моряками-разведчиками отправился в тыл врага, написав в конце стихотворения: «Мы знаем, что еще на площадь выйдем,/ Добыв победу собственной рукой».

Ныне по требованию фальсификаторов они могут быть изгнаны из нашей истории, из литературы во имя защиты прав человека, причём очень богатого, олигархического человека из Нью-Йорка, Лондона, Тель-Авива, да и нашего с Рублёвки.

Какие слова тогда следовало бы поставить в песню, которую пела армия (конечно, не в атаке, а при обучении, при создании боевого духа) –

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
Зв нашу Родину
Огонь! Огонь!

(автор слов В. Гусев)

Какой-нибудь нынешний хулиган победы, её депобедитель, десталинизатор может поставить и Власова вместо Сталина, но это он мог бы сделать лишь в том случае, если бы Германия победила Советский Союз. Вышло наоборот, народ, генералы, солдаты, поэты поверили Главнокомандующему. Правда, впереди ещё были многие послевоенные годы со своими оценками, с драматическими фактами. Но по мнению многих это не отменяет роль Главнокомандующего в победе. Кесарю – кесарево. Богу – Богово.

И ещё два факта нашей и мировой истории.

В конце 1943 года на слова С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана (музыка

А.В. Александрова) был создан Гимн Советского Союза. Позднее из этого текста очень тяжело было выбросить исторически точные и закономерные слова.

Союз нерушимый Республик Свободных
Сплотила навеки Великая Русь...
Ныне остались тоже чеканные строчки:
Россия – великая наша держава...

А вот такие, казавшиеся незыблемыми, слова:

Нас вырастил Сталин
На верность народу.
На труд и на подвиги
Нас вдохновил.

исторически испарились, но двадцать лет страна вставала под эти тексты. Меняются взгляды, и какой гимн будет у нашей страны через 20 лет, можно только догадываться.

А вот пример зарубежной истории. После разгрома Наполеона Бонапарта в Европе не было более бранного слова, чем слово Наполеон. В его адрес отпускались однозначные определения: тиран, деспот, узурпатор. В каждой стране добавлялись свои отрицательные дополнения. России было, что добавить в адрес грабителя, оккупанта, поджигателя не только Москвы, а сотен русских деревень и городов. Франция не скупилась на уничижительные эпитеты, ибо этот узурпатор принёс ей неисчислимые бедствия, почти уничтожил всю старую роялистскую элиту, духовенство, раздавил церковь, погубил самую сильную и здоровую часть французских мужчин. По некоторым сведениям рост французов после наполеоновских войн понизился на 15 сантиметров. Вот уж деспот, так деспот, узурпатор, так узурпатор. Французы попытались устроить свою жизнь по-старому: вернули королевскую династию Бурбонов. Те оказались не способны наладить жизнь в стране: в историю вошла знаменитая фраза, которая характеризует многих реваншистов: «Они ничего не поняли, они ничему не научились». Затем появились новоиспечённые короли. Они считались организованными революциями. Возникла республика.

Но случилось чудо: слава Наполеону во Франции возвратилась. По указанию короля Луи Филиппа, под влиянием общества и бонапартистов останки Наполеона в 1840 году привезли с острова Святой Елены, где он отбывал наказание за свои злодеяния. Были изданы десятки хвалебных книг «о подвигах» императора, а его прах был погребён в знаменитом Доме инвалидов. Затем был построен мавзолей из карельского порфира, который был подарен Николаем I. О, Россия, как она уважает чужую славу! К Мавзолею потянулись тысячи французов. Были и мы там, в его основании выбиты

барельефы побед Наполеона, в том числе, о взятии Москвы. Русская женщина-гид, когда вела нас по Мавзолею, тихо попросила: «Вы только не заглядывайте вниз, не склоняйтесь. Французы самодовольно говорят: «Вот и русские кланяются победам нашего императора». Уверен, что организаторы десталинизации вниз посмотрели.

Возможно, президент Франции Саркози, ныне один из видных столпов (или столбов) европейской цивилизации, после ливийской операции против «узурпатора» Каддафи, наконец, сможет развенчать культ узурпатора Наполеона, его тиранические, деспотические наклонности и уничтожить, наконец, всю память о тиране-императоре, возможно даже разрушит мавзолей и вынесет оттуда останки императора. Или всё-таки кто-то трезвый из окружения президента потребует относиться к Наполеону, как исторической фигуре страны, не устраивать плясок дикарей-туземцев вокруг ушедшего из жизни многие годы назад тоталитарного выходца из Корсики, относясь объективно к его памяти. Возможно, и у нас тоже появятся трезвые головы во власти.

ПЕСНИ В ГОСПИТАЛЕ 1943 г.

Зимой в январе 43-го я оказался в омской больнице. Да, не в больнице, а в госпитале, где через стенку от нашей громадной детской палаты был госпиталь. В нашей палате было человек 20 ребят. Одни были из детских домов, у других родители были, но они были днём и ночью на работе, а школа или соседи определили их в больницы. Болезни были всякие: открытые раны, переломы, болезни лёгких, дыхательных путей, малокровие, какие-то ведомые и неведомые болезни от собак и других животных, от грязных овощей и немытых рук, хотя, если честно говорить, то на страже наше-го здоровья стоят классные санкомиссии.

Два-три раза в месяц на уровне посещений из поликлиники в нашу железнодорожную школу приходили то старый врач, то медсестра. Они тщательно осматривали горло, нос, уши. Просили показать руки, раздевали, что было стыдно, но терпимо. Но обязательной процедурой были уколы. Я не совсем помню, но, по-моему, были уколы от тифа, кори, скарлатины, всякой заразы. Делали нам прививки и от оспы. Беспощадно боролись в школе со вшами. Медсестра внимательно осматривала бельё. Приговор был беспощадный: сегодня голову помыть золой (мыло-то не у всех было), а одежду брось после на солому в русскую печь. Вечером в печи раздавалось тонкое потрескивание: гниды лопаются, и вошь без особых сентиментальностей погибала. Не знаю, откуда во время войны были средства, чтобы спасти детей? Значит, страна и думала о будущем. Так же,

как говорят факты, в области школы не закрывались, деревни не объявлялись неперспективными. Что за идиотизм объявлять школу неперспективной и закрывать, изгоняя из неё учеников под видом более эффективной их учёбы в других более крупных сёлах?

Пропали будущие Жуковы, Распутины, Шолоховы в нынешних малых и неперспективных школах.

...Но тогда хоть и была война, мы дети, всё-таки болели. Меня то ли клещ укусил, или собака покусала, и на руках, на шее появились язвочки. Мама не знала, что делать, и врач отвёз из детского дома ребят и меня вместе с ними в больницу. Лечить нас там и начали. Может быть не так уж внимательно, но ихтиоловой мази, даже рентгеновских просмотров хватало. В общем, лечили. Но рядом-то стонал, хрипел, тяжело дышал, иногда бесшабашно пел госпиталь. Страшно было в полночь, когда кто-то душераздирающим криком обращался к сестре: «Сестрица, сестрица, дай морфию, ну, дай же ты, стерва! Я ж умру завтра!» Потом, наверное, был укол, становилось тише. Днём после обеда, когда проходил медицинский обход, госпиталь радовался, запевал песни. Наверное, вот эти:

Оба молодые, оба Пети,
Оба полюбили медсестру.
Чей-то постоянный голос запевал:
Ну, что ж не любит, так не надо,
Зато уж я её люблю.

Его прерывали: «Ну, хватит. Не рви душу, найдёшь другую».

Каким-то образом те, кто пробирались к нам в палату и кричали: «Пацаны, не робеть, я на фронт еду фрицев разогнать. Все вылечитесь».

Меня забрала тетя Дуня, сказала: «Сама вылечу травами». Через два месяца всё прошло. Но госпитальные звуки нередко приходили на память.

Часто пели «Шаланды полные кефали». Все затихали, когда один раненый (как нам сказали, почти слепой) запевал, медленно подбирал музыку:

Бьётся в тесной печурке огонь
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

«Это на нашем фронте написана», – сказал он, закончив песню.

«Да, брось ты, добавил, слегка...», – она вон постоянно в репродукторе звучит».

Раненный, который не поддавался требованию врачей быть в госпитальном белье, ходил в тельняшке, и, конечно, вызывал восхищение у нас, мальчишек: «Моряк! Из Севастополя»; он долго, долго подбирал, что на баяне, раненые сердились: «Кончай пиликать!» – «Подождите, подождите...»

– отмахивался он и уже перед выпиской запел хрипловатым голосом, подыгрывая на баяне: «Споем-те, друзья, ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан». Потом остановился, помолчал и с тоской закончил: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море», – и отложил баян. Только потом я узнал, что у этого куплета было окончание: «И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой».

Когда в палату приходила агитбригада из артисток театра, то они пели веселые бравые боевые песни. То «Смуглянку», то «Ты ждешь, Лизавета», то «Махорочку». Раненные, кто мог, аплодировали; другие кивали, вздыхали и просили: «Давай «Синий платочек» или «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца»). Те пели, и даже не раз.

Да, после первых набатных и укрепляющих дух песен появились и лирические, даже грустные, хотя политорганы грусть, тоску пытались в войска не пускать. Нынешние «умники политкорректности» заносят это в разряд жестокой тоталитарной цензуры. А это был закон войны: сохранить высокий боевой дух, не дать овладеть солдатом унынию, безволию и безразличию к боевому духу в обороне.

А песни-то и сами меняли характер: когда армия стала наступать, это видно и по стихам великих песенников Алексей Фатьянова «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Горит свечи огарочек», Евгения Долматовского «Моя любимая», «Офицерский вальс», «Песня о Днепре», М. Исаковского «Где вы, где ж вы, очи карие».

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

XIX век был «золотым» веком великой русской литературы. Для русской, советской литературы периода Отечественной войны это были годы возвышения Родины, нашего Отечества, прославления русского характера, требования возмездия, прославления воина, утверждения любви и гуманизма.

Если бы наша литература не создала ничего, кроме «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Взятия Великошумска» Л. Леонова и «Василия Тёркина. Книги про бойца» А. Твардовского, то всё равно была бы великой, а этот её военный период заслужил право быть занесённым в вечно живую летопись русской словесности.

Сдается мне, что из всех праздников советской эпохи в XXI веке всенародным останется лишь праздник Победы в день 9-го мая. Да и то на него покушаются десталинизаторы.

Этот день – и день Памяти, и день Скорби, и день Торжества. Может быть,

впервые в XX веке весь народ в ту весну 1945-го был един. Не было ни красных, ни белых, ни богатых, ни бедных, ни русских, ни нацменов, ни бомжей, ни олигархов. Была усталая, изможденная, но полная торжества страна. Был великий, израненный, преодолевший унижения и оскорбления поражениями народ-победитель. И эта Победа уже в генах каждого русского человека, в памяти истинного гражданина России, соотечественников бывшего СССР. Ее не вытравить, не уничтожить, как бы не старались вынырнувшие из небытия и оседлавшие многие российские СМИ группы бывшего геббельсовского агитпропа, из структурно неоформившегося, но цепкого комитета «Антипобеда». Правда, таких агит-проповцев сейчас поменьше, чем в начале перестройки, – народный гнев и отпор примяли многих. Но посеянные семена предательства то и дело дают ядовитые всходы. Вот одна газета перед праздником Победы дает интервью с Масхадовым под видом объективной информации. Ну, действительно, почему было не дать в 1942 году интервью с фельдмаршалом Паулюсом или с самим Гитлером?

«Московский» же, так называемый, «комсомолец» отвел целую полосу предателю Резуну, уже который год доказывающему: правильно, мол, что Гитлер напал на СССР первый, иначе бы Сталин вскоре напал на него, на фюрера бедного. А так Гитлер ведь стремился «спасать европейскую цивилизацию», которой он, Резун, ревностно служит. На целую полосу газетка развела глубокомысленную беседу об этом «историческом открытии» Резуна (т. н. Суворова). Нет сомнения, что Божие наказание не минет предателя, коль судебные, государственные и карательные структуры бессильны.

Да простят меня читатели за гневные и резкие слова, когда мы говорим о Победе. Но я воспитан в годы Великой Отечественной войны и замирал у черной тарелки репродуктора в день скорбных сводок, когда наши войска оставляли города, радостно кричал соседям, когда из-под дребезжащей мембраны прорывался отнюдь не громоподобный, а хриплый голос Юрия Левитана, извещающий о победах под Москвой и Сталинградом. Я вместе с мальчишками расставлял флажки и двигал ленточку на запад на карте Европы в 1945 году. Для нас, пацанов и девчонок, это была война наших отцов, наших братьев, всех родных, это была Отечественная война, а не какая-нибудь Пуническая или даже Вторая мировая война, или тем более, чем щеголяли либеральные писаки: «война двух хищников». Для нас Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев и Александр Матросов – были живыми современниками, утверждавшими победу своим подвигом. Тогда и помыслить было невозможно, что кто-то покусится на их жертвенность, на их мужество. Правда, и власть заботилась, чтобы их героизм не пустили по ветру, не запятнали, и поддерживала тех, кто воспевал воинов и героев. И это отнюдь не была тоталитарная традиция.

«Певец во стане русских воинов» – это лучшая традиция отечественной литературы. Когда в январе 2000 года писатели России провели свой «фронтовой» пленум в воинских частях, сражающихся с сепаратистами и бандитами в Чечне, мы не раз вспоминали фронтовые строчки А.Твардовского, Л. Соболева, А. Толстого, К. Симонова, А. Сафронова, Б.Полевого, А. Фадеева, В. Кожевникова, И. Эренбурга, А. Суркова и других писателей разящего слова Отечественной войны. Среди авторов той военной поры постоянным было и имя Михаила Шолохова. Когда мы с Валентином Осиповым в издательстве «Молодая гвардия» в 70-е го-ды решили выпустить книжку его военных публикаций, то набрался солидный томик публицистики. У Михаила Александровича тема войны была постоянной, пульсирующей, живой. Он, как никто другой, представлял трагичность войны и величие победы в ней. Он хотел запечатлеть образы рядовых, вынесших на своих плечах ее тяготы. Он хотел обозначить судьбу человека в ее разрушительное время.

Вспоминаю его рассказ, в котором возможно есть некоторые пропуски, недомолвки, связанные с тем, что слышал я его двадцать пять лет назад. Михаил Александрович рассказывал, что с передовой Западного фронта он приехал в редакцию «Красной звезды», отдал подготовленный материал и вдруг получил приглашение в ВОКС (Всероссийское общество культурных связей – аналог нашего общества Дружбы – СОД).

«Я, – говорил он, – еще подумал: идти или не идти. Одежда – гимнастерка, галифе помятые, подмасленные, фронтовые. Да и обещал возвратиться поскорее. Но воксовцы звонили, настаивали: «Важная встреча! Нам присылают американскую помощь!» Ладно! Пришел в Дом ВОКСа. Все толпятся вокруг кресла, на котором восседает невзрачный, похожий на скворца человек. Подбегают и ведут к креслу. Представляют по-английски:

– Это наш всемирно известный русский писатель Шолохов.

А он, сидя в кресле, небрежно протягивает мне руку. Разобрало. Я как крикну:

– Встать!

Он и вскочил, обе руки протянул. Оказалось, в прошлом из Одессы. Пригласили за стол. Провозгласили тост. Гость на меня с опаской косится, а Илья Эренбург ему рассказывает: в Калуге его поразило, что в центре города повесили еврейскую девочку. Я даже по столу пристукнул:

– А тебя, Илья, не поразило, что во рвах и на улицах тысячи русских убитых лежали?!

С досады хлопнул полстакана водки и вышел. Кто-то за мной побежал, кто-то просил возвратиться, но я отмахнулся.

Пришел в гостиницу и думаю: сейчас уехать на фронт или утром? Решил

утром. А утром – стук в дверь. Открываю... Два капитана с голубыми петлицами:

– Товарищ Шолохов?

– Да...

– Пройдемте...

Ну вот, думаю, говорил же себе, что надо вечером было ехать. Выхожу, сажусь в машину. Те двое рядом, с двух сторон. Едем от гостиницы «Москва». Смотрю: если прямо, то на Лубянку к Берии, если направо, то в Кремль. Повернули направо, еще раз направо, проехали через Спасскую башню в Кремль. Провели меня по коридорам, заводят в кабинет и исчезают. За столом Поскребышев, помощник Сталина. Молчит, и я промолчал, сел. Смотрю на галифе, а они замаслены над коленками. Тушенку в землянке поешь, а руки потом положишь на колени... Пятна получают. Звонок. Поскребышев зашел. Через минуту выходит, распахивает дверь, показывает рукой – заходи. Зловеще шепчет: «На этот раз тебе, Михаил, не отвертеться». Я пожал плечами, еще раз подумал: «Надо было вечером уехать», – и зашел. Дверь за мной аккуратно так закрылась. У окна спиной ко мне стоит Сталин, курит трубку. Молчит. Проходит минута, вторая. Затем тихое покашливание и из дыма трубки жесткий голос с характерным акцентом:

– Товарищ Шолохов, гаварят вы стали больше пить?

У меня что-то мелькнуло в голове, не объясняться же, я и ответил:

– Больше кого, товарищ Сталин?

Трубка у него вся заклубилась, он запыхал ей, запыхал, головой покачал и, отойдя от окна, с легкой улыбкой пригласил сесть. Прошелся вдоль стола и спросил:

– Скажите, когда Ремарк написал «На Западном фронте без перемен»?

– Кажется, в 28-м, товарищ Сталин.

– Мы не можем ждать столько лет, товарищ Шолохов. Нам нужна книга о тех, кто сейчас сражается за Родину.

А я уже о такой книге думал... Еще мы говорили о солдатах, о генералах, о женщинах, о жертвах...

Когда выходил, Поскребышеву под нос кукиш сунул:

– На!

И вечером был на фронте».

Наверное, именно там, на Западном фронте, где шла последняя кровавая битва и где летом 1942 года, как считало наше командование, должно было произойти решающее сражение. Шолохов и вбирал в свою творческую память кровь и пот, драму и героизм войны. Командование ошибалось. Гитлер пытался решить судьбу войны на юге, двинув свою армию на Ростов, Кавказ, Сталинград. Шолохов в эти дни был на юге, но писал и писал в газете

«Правда». 22 июня (годовщина начала войны) печатается рассказ «Наука ненависти». Он писал в начале июня о своём главном герое: «Мне вот Герасимов покоя не даёт... Однажды встретился с пленным офицером, который гнал в тыл скот. «Меня на фронт не допускают, сбежал из лагеря от немцев, из плена. А вы, наверное, на фронт?» Вот тогда ещё прорисовывался образ Соколова из «Судьбы человека». А ведь ещё 16 августа 1941 года был приказ Ставки, который приравнивал пленных к предателям. Постановление ЦК, в котором говорилось о том, чтобы отправлять пленных не в тыл, а на фронт, вышло после публикации рассказа. Случайно ли?

В июле немецкие бомбы упали на дом Шолохова, погибла мать Михаила Александровича, утрачен архив писателя. Шолохов на Сталинградском фронте. Там произошёл разгром немцев. В феврале 1943 года 6-я армия капитулировала.

В мае 1943 года «Правда» напечатала первые главы «Они сражались за Родину». Роман пишется уже всю оставшуюся жизнь, переделывается, дополняется.

В 1947 году в Вешенской он сказал корреспонденту И. Араличеву, что роман «Они сражались за Родину» пишется труднее, чем «Тихий Дон»: «Меня интересует участь простых людей в минувшей войне. Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем. О русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. Я хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну. В «Тихом Доне» я был свободен перед живыми и мёртвыми, там всё было историей, а сейчас передо мной живая жизнь... Так же, как и во времена «Тихого Дона», приходится все неоднократно переделывать, тщательно взвешивать каждую деталь. Материала обилие. Хочется роман сделать лучше, компактнее».

Не буду дальше останавливаться на судьбе этого романа, но после его гениального воплощения Сергеем Бондарчуком в кино мы все ждали третьей его части. Не могу, потому что не знаю, хотя есть и другие причины рассуждать, почему она не появилась. По болезни ли, по причине неприятия властей и отчуждения от них писателя, по другим каким-либо причинам (мистическим, возможно, причинам, как вторая книга «Мёртвых душ») не вышла она в свет, не знаю. Но некая надежда теплилась, да и не исчезла сегодня. В последний приезд с В. Осиповым в 1983 году в Вешенскую мы поднялись на второй этаж в спальню, где лежал он, а рядом книга воспоминаний маршала Жукова.

– Читаете?

– Перечитываю...

Сразу нахлынули мысли и соображения. С наивным видом поглядел на

шкафы, тумбочку и под простак спросил: «А здесь рукописи третьей книги «Они сражались за Родину» нету?» Михаил Александрович ответил серьёзно с нажимом на первом слове: «Здесь её нету». Так и ушли мы, не развеяв своих сомнений.

А то, что написал Шолохов – классика литературы о Великой Отечественной войне.

* * *

Леонид Леонов не раз бывал на фронте под Ленинградом во время наступления Волховского и Ленинградского фронтов, на Брянском. Был свидетелем боевых действий на Украине в районе Киева и западнее его. В ноябре-декабре 1943 года лёгких боёв на войне не было, все они были жестокие и кровавые, во всех них были свои герои, во всех них был зародыш будущей общей победы. Леонов находился в частях танковой армии генерала П.С. Рыбалко. В сражении в районе города Житомира немцы намеревались взять реванш за летнее отступление, перебросив туда свои танковые дивизии из Греции, Италии, Дании. Но наши войска, отступая, перемололи отборные танковые части врага и 24-го декабря перешли в наступление. Всего один день 23-го декабря и запечатлён в повести, а фактически в романе «Взятие Великошумска». Но в нём писатель спрессовал чуть и не всю войну, вернее тысячи её обликов, характеров, событий. Так появившийся в снежной кутерьме генерал танкистов Литовченко, наблюдая, как разгружаются его танки, вслух размышляет перед офицерами, сопровождающими его: «Я говорю: грозен наш народ... Красив и грозен, когда война становится для него единственным делом жизни... Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрётся о твоё плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия, что впервые у России на мир и на себя открылись удивлённые очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя её пригодность для своих высоких целей. Но офицер что-то буркнул невпопад с непривычки к отвлечённым суждениям... да, кстати, над ухом затрещал мотор...» Начинались картины танкового движения. Автор при завязке показал выгрузку танкового соединения для вхождения в бой и в его повесть. Он обнаружил ошеломляющие знания о танке, траках, левых фракционных, ленивцах, железных ползунах, всё, что окружало эту махину танка. Позднее он вскрыл и заставил работать его механическое нутро. Это профессиональное знание и проникновение в военно-технические реалии автора было отмечено позднее в Главном бронетанковом управлении, а замкомандующего сказал Леонову: «Не угодно ли Вам немедленно получить инженерно-танковое звание?» Но не о железе танка была эта повесть. Она о

железе и хрупкости человека, об изломах души и её стойкости. Да, конечно, в центре экипаж Т-34 под номером 203. Каждый из бойцов: командир, лейтенант Соболюков, молодой водитель Вася Литовченко, башенный Обрядин, Андрей Дыбок выписаны автором с тщательностью словом и его действием, размышлениями о нём и обращениями к нему. Вот командир говорит проштрафившемуся Литовченко: «Только помни, Вася... Судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет». Леонов органично соединяет судьбы танкистов, фронта и тыла, армии и отдельных бойцов. Он сумел запечатлеть всенародный характер войны, природу героизма, характер судьбоносного для каждого сражения. «То была мускулистая, могучая жизнь ... смерть, подобно собаке, тыкалась в ноги у бессмертных, чтобы ухватить крохи с их великолепного пиршества. И всё это, как живая вода, нужно было нам, гордой, яркой нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиным взглядом».

Известны его размышления: «герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера.

И вот этот кинжальный рейд тридцатьчетвёрки и показывает этакий обыденный и невиданный героизм. О забвении они не думали. Об этом рейде «лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке подобных ему. Поколениями танкистов он мог бы служить примером, что может сделать одна, хотя и одинокая тридцатьчетвёрка, когда её люди не помышляют о цене победы!» Один из зарубежных исследователей творчества Леонова назвал повесть «Взятие Великошумска» лучшим романом периода второй мировой войны.

Когда я в детстве прочитал «Взятие Великошумска», то, затаив дыхание, следил за военными приключениями и остросюжетным рейдом тридцатьчетвёрки в тыл врага. В молодости ощутил глубину авторских размышлений и взглядов на природу войны и героизма, на место Родины в жизни солдата. Прочитав сегодня, поражён волшебным умением художника, мастерством писателя, живописными образами военной схватки, увиденным и воспроизведённым сверхнапряжением, невиданным и точным количеством деталей машины, каждая из которых играла свою роль в художественном полотне. Умением передать медленный, спокойный ритм подготовки боя, ускорившийся в развернувшемся движении и стремительный, огнестрельный в бою.

Я вспомнил, как в 80-х годах привёл в Переделкино к Леонову молодых тогда писателей С. Алексеева и Ю. Сергеева. Леонид Максимович завёл речь

о сюжете, его увязке с ритмом повествования, с набором деталей, о его выстраивании, о прочёркивании «хотя бы в голове» судеб героев, которые надо воспроизвести в романе. Наверное, у Леонида Максимовича не было времени, чтобы заняться прочерчиванием судьбы всех персонажей героической тридцатьчетвёрки и общего плана военной операции, ибо написал свою повесть-эпопею буквально за несколько месяцев. В одном из исследований о повести Леонова верно было сказано, что «это произведение больших обобщений, широкого романтического размаха, смело сочетающее здесь приёмы романтического искусства, углублённого аналитического исследования современности с традиционной народно-героической символикой» (Е. Старикова. Взятие Великошумска. 1962)

В общем, книга-эпос, книга дыхания и пульса Великой войны, книга-учебник Великого писателя. Умные читатели, почитайте ещё раз «Взятие Великошумска».

* * *

Ну и, конечно, «Василий Тёркин», народная книга, книга про бойца, близкая и дорогая, согревающая, утешающая, бодрящая, живительная, как та вода, с которой символически начинается повествование автор:

На войне в пыли походной,
В летний зной, иль в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, —
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода...

Живоносной, целебной, глубинно народной была поэзия Твардовского. Его давний знакомый по финской войне Василий Тёркин выходил, как написали позднее, «на пьедестал бессмертия». Он стал образом бойца Великой Отечественной, побывавшим во всех её бурях, пробирался из окружения с мучительным вопросом: «Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя?» Возможно, и сегодня многие из нас задаются этим вопросом. А Тёркин, отступая, вырвался к своим, а там – сплошные сражения, преодоление переправ, фронтовые дороги, ранения, оживающая в его пальцах трёхрядка и пропавший кисет, воспоминания и мечты о родине, о смоленской стороне, о подбитом самолёте, о медали, о любви и о боях, боях больших и малых, о которых с великой печалью, скорбью и надеждой «на

вечную память павшим», – сказал Твардовский. Многие отрывки, строфы – это поэтические меты войны. Вот «Бои в болоте», безвестный бой, где вода была «пехоте по колено, грязь – по грудь...»

Много дней прошло суровых,
Горьких, списанных в расход.
– Но позвольте, – скажут снова, —
Так о чём тут речь идёт?
Речь идёт о том болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше.
безответно – в счёт, не в счёт —
Шли, ползли, лежали наши
Днём и ночью напролёт;
Где подарком из подарков,
Как труды не велики,
Не Ростов был им, не Харьков, —
Населённый пункт Борки.
И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
смертью праведной и честной
Пали многие из них.
Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придёт – ещё повстанут
Люди в памяти живой.
И в одной бесстрашной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Что за гордую твердыню.
Что у Волги, у реки,
Кто за тот забытый ныне.
Населённый пункт Борки.
И Россия – мать родная —
Почеть всем отдаст сполна,
Бой иной, пора иная
Жизнь одна и смерть одна.

Василий Тёркин стал бессмертным поэтическим образом. «Он был

духовной опорой и подмогой в самую страшную годину испытаний – в Великую Отечественную войну, – писал Ф. Абрамов. – Не было за всю историю русской литературы столь популярного героя, как Василий Тёркин», – продолжил он.

И Бунин, чувствуя величие победы и величие литературы, которая её воспевала, писал: «Я восхищён его (Твардовского) талантом – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т.е. литературно-пошлого слова».

Всем бойцам войны воздал должное Александр Трифонович Твардовский. Это был его творческий, великий, военный подвиг. Это был подвиг поэта России, поэта её народа.

Прошлым летом на берегу лимана у Очакова я читал юным ушаковцам, что проводили там свой слёт, не что-нибудь, а «Василия Тёркина». Были там волгоградцы, николаевцы, москвичи, первоклассники и девятиклассники. Слушали, затаив дыхание, все понимая и сочувствуя, радуясь и грустя, улыбаясь и задумываясь – близок, близок им Василий Тёркин, а ведь семьдесят лет прошло. Читайте, дорогие родители и учителя, детям «Василия Тёркина».

* * *

Уважаемый читатель, ещё раз хочу подчеркнуть, что это не исследование (подобное замечательным книгам профессоров П. Выходцева, Б. Леонова). Это как бы личное впечатление и обращение за поддержкой в наши нелёгкие, не знаю, «коканные» или просто драматические дни. Каждый раз, когда жизнь становится просто неважною, думаешь: «А тогда ведь было совсем смертельно, совсем губительно». Но ведь выжили, победили, и наша литература была тогда рядом с бойцом, вместе с ним на передовой. Она вдохновляла, оживляла, сберегала нашего человека. Давайте и мы будем пить и укрепляться из её источника.

И надо добиваться, чтобы литературу Отечественной войны знало молодое поколение, в соответствии с программами или без них. Это зависит от вас, наши родители и учителя, от вашей совести.

P.S. Конечно, это лишь маленькая частица в заметках о литературе Отечественной, будет подготовлена и глава о дружбе, где рядом с русскими писателями в строю были наши друзья из Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Прибалтики, соратники из Европы. Но это будет уже потом.

Конечно, большая правда о войне была сказана и позднее о её истинном лице, о её крови, о жертвах, о мужестве. И тут ряд великих авторов тоже принадлежит к бесценному достоянию отечественной литературы. Назову

только нескольких тех, кого знал и издавал: Ю. Бондарев, М. Алексеев, И. Стаднюк, М. Годенко, С. Смирнов, Е. Исаев, К. Симонов, Г. Бакланов, В. Быков, В. Богомолов, О. Кожухова, М. Курочкин и другие.

Сейчас же хочется воскликнуть, когда мы отмечаем семьдесят лет с начала самой страшной войны, оплаченной миллионами жертв: «Вот с кем были мастера культуры, наши писатели! Вот кто был главным вдохновителем их творчества! Народ! Отечество! Воин! Труженик в тылу!

- Русский, советский народ!
- Россия! Советский Союз! Держава!
- Солдат и командир! Партизаны и подпольщики!
- Рабочий и колхозница! Матери, дети, старики!

Вот кому служил писатель Великой Отечественной. Вот для кого писал он, кому подчинил свой талант!

Александр РОМАНОВСКИЙ

САМОРОДОК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

19 ноября 2011 года – знаменательная дата в истории литературы и науки – 300-летие великого российского учёного и просветителя, поэта (ему принадлежат произведения самых различных жанров: оды, трагедии, лирические и сатирические стихотворения, басни, эпиграммы), человека, заложившего основы современного русского литературного языка, художника, историка, поборника развития отечественного просвещения, науки и экономики – Михаила Васильевича Ломоносова.

Испытывая потребность к познанию и науке, девятнадцати лет от роду Михаил Ломоносов пешком отправился в Москву. Его биография – это биография «молодой науки и литературы России», а его судьба тесно связана с наиболее известными научными открытиями и творческими деяниями того периода.

Родился В. М. Ломоносов в 1711 году в деревне Денисовка в семье государственного крестьянина, который занимался земледелием и рыбным промыслом. В детстве и юности Михаил помогал отцу по дому и выходил с ним на небольшом судне в океан. Уже в детские годы Михаил выучился грамоте, мог читать и писать.

Годы, прожитые Ломоносовым в Поморье, сыграли большую роль в формировании его мировоззрения, наложили свой отпечаток на интересы и стремления юноши. Условия Русского Севера, где и в помине не было монголо-татарского ига, не укоренилось помещичье землевладение, оказали значительное влияние на становление свободлюбивого характера будущего великого учёного, его железной воли, веры в себя и в возможность достижения цели и в значительной степени определили направление его дальнейшего творчества. Именно эти качества предопределили будущий выдающийся жизненный подвиг М. В. Ломоносова.

В молодые годы Михаил обучался в Московской славяно-греко-латинской академии, Петербургской Российской Императорской Академии Наук, Марбургском университете. Под руководством Й. Ф. Генкеля изучал минералогию и металлургию.

На становление молодого Ломоносова большое влияние оказала и украинская земля. Так, в 1734 году он отправляется в Киев, где на протяжении нескольких месяцев обучается в Киево-Могилянской академии (хотя некоторые исследователи отрицают этот факт).

Неистребимая целеустремлённость, упорство и серьёзное отношение М.

В. Ломоносова к занятиям всегда выделяли его из общей массы студентов. Именно эти качества позволили ему стать тем, кем он стал. В то время, как многие его товарищи проводили свободное от занятий время беззаботно, Михаил читал летописи, патристику и другие книги в библиотеке Заиконоспасского монастыря. В Академии наук любознательный и трудолюбивый помор, приобщаясь к науке, знакомится с современными подходами к исследованиям, сильно отличавшимся от дисциплин средневекового схоластического образца.

Об энциклопедизме М. В. Ломоносова с определённостью говорит и перечень его трудов, включающий работы как по естественным наукам, так и по гуманитарным. Это признавали учёные его века, а сейчас факт многогранности его таланта очевиден.

В 1745 году М. В. Ломоносов становится профессором химии. Научные открытия следуют одно за другим. Диапазон исследований ученого необычайно широк: химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, история, филология. Нет, пожалуй, такой области знания, куда бы не проник светлый ум Ломоносова. И именно по его инициативе в 1755 году был открыт Московский университет. «Ломоносов был великий человек, – указывал Пушкин. – Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Изучение естественных наук Ломоносов успешно сочетал с литературными занятиями. В Марбурге он познакомился с новейшей немецкой литературой. А современные исследователи отмечают глубокое знание Ломоносовым различных жанров древнерусской литературы.

Во время пребывания за границей молодой ученый начал собирать свою первую библиотеку, потратив на книги значительную часть выдававшихся ему денег, и в итоге имел весьма внушительное собрание художественной литературы, в котором были и античные, и современные авторы: Анакреон, Сафо, Вергилий, Сенека, Овидий, Марциал, Цицерон, Плиний Младший, Помей, Эразм Роттердамский, Фенелон, Свифт, Гюнтер.

Смысл жизни Ломоносова до самого последнего дня было «утверждение наук в отечестве», которое он считал залогом процветания своей родины. Он был уверен, что положение народа можно улучшить посредством распространения культуры и просвещения, и выступал за бессловесную систему образования вплоть до университета. Отстаивал идею светскости образования и получения молодыми поколениями основ научных знаний. До Ломоносова российская наука была вотчиной иноземцев. Иностранцы безраздельно господствовали в Петербургской академии наук и ревниво охраняли свои позиции от русских «невежд». Своим же примером он доказал:

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

Тем же пафосом просвещения проникнута его филологическая и

поэтическая деятельность. Многостороннее дарование Ломоносова проявилось в этих областях с исключительной силой и подлинным новаторством. Ученый стремился проникнуть и в тайны языка, и в загадки стихотворства. Еще в 1736 году он приобрел трактат теоретика русского стиха В. К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», который его чрезвычайно заинтересовал.

В 1758 году Ломоносов пишет предисловие к собранию сочинений «О пользе книг церковных в российском языке», в котором излагает знаменитую теорию «трех штилей». В основу реформы литературного языка Ломоносов положил общенациональный язык.

В русском языке, согласно его мнению, слова по стилистической окраске могут быть разделены на несколько родов. К первому он отнес лексику церковнославянского и русского языков, ко второму – знакомые по книгам и понятные церковнославянские слова, но редкие в разговорном языке, к третьему – чисто русские слова, которых нет в церковных книгах. Отдельную группу составили слова простонародные, которые только ограниченно могли употребляться в сочинениях. Совсем почти исключает Ломоносов из литературной письменной речи устаревшие церковнославянские слова и вульгаризмы. В зависимости от количественного смешения слов трех родов создается тот или иной стиль: «высокий» – церковнославянские слова и русские, «средний» – русские слова с небольшой примесью церковнославянских, «низкий» – русские слова разговорного языка с добавлением простонародных и малого числа церковнославянских.

Каждому «штилю» соответствуют свои жанры: «высокому» – героические поэмы, оды, трагедии; «среднему» – драмы, сатиры, эклоги, дружеские письма, элегии; «низкому» – комедии, эпиграммы, песни, басни.

Реформы Ломоносова в сферах литературного языка и стихосложения отвечали культурным потребностям нации. Для выражения значительного общественного содержания были необходимы новые литературные жанры, и Ломоносов сумел открыть перед поэзией широкие художественные горизонты. Вместе с тем филологическая деятельность ученого имела и более широкий смысл: в ней отразился дух преобразования, характерный для послепетровской эпохи, в которую развернулось научное и поэтическое творчество Ломоносова.

Главной преобразовательной силой Михаил Васильевич считал человеческий разум, которому все подвластно. Самому Ломоносову, несомненно, были присущи высокие чувства патриотизма и гражданская позиция. Поэт, в его представлении, не может ограничиться воспеванием одних лишь интимных движений человеческого сердца, его должны волновать и одушевлять события, имеющие важное значение для всего государства, всей страны.

Тема могущества и величия России, патриотический пафос «пользы обществу» сочетались в поэзии Ломоносова с прославлением Петра I как

просвещенного государя. Основным лирическим тон его произведений – торжественный. Наиболее достойным жанром для громкого, публичного выражения чувства национальной гордости «сынов российских», отстаивавших независимость родины от внешних врагов и в наступившем «покое» устремленных к просвещению, стала торжественная ода. Хотя Ломоносов писал и трагедии («Тамира и Селим», «Демофонт»), и героические поэмы («Петр Великий»), и идиллии («Полидор»), именно ода – похвальная и духовная – была главным лирическим жанром в его творчестве. Близки к ней короткие похвальные надписи.

Похвальные оды Михаил Васильевич слагал на торжественные случаи придворной жизни. Однако традиционная форма похвалы монархам не мешала поэту развивать свои любимые темы. Он не искал монарших милостей, чинов и наград. Лесть была ему чужда. Похвала в его одах наполнялась новым содержанием и не столько утверждала идиллическую картину благоденствия русской нации, сколько звала к новым преобразованиям в духе Петровых дел. Прогресс страны, развитие наук, распространение просвещения, рост промышленности, по мнению поэта, сделают Россию могущественной и счастливой. Именно поэтому похвальная ода под пером Ломоносова не стала «должностным жанром».

Мысль поэта, вовлекающая в свой поток разнообразные исторические имена, античные и библейские ассоциации, полна стремительного движения, не знающего временных и пространственных преград. Она как бы «парит» надо всем миром и легко выхватывает из мировой истории все, что способно в данную минуту убедить, взволновать, восхитить яркостью события.

Поскольку основной тон оды – восторг, а выразителем его является автор, то он же выступает и объединяющим эмоциональным началом, придающим торжественность, монументальность, пышность, страстность своему произведению. Это «парение мысли» и эмоциональность составляют одну из характернейших особенностей ломоносовской хвалебной оды.

Духовные оды Ломоносов создавал как философские произведения. Поэт не наполнял их религиозным содержанием, а использовал сюжеты псалмов для выражения философских размышлений, чувств общественного и даже личного характера. В жизни ему приходилось отстаивать свои взгляды в жестокой борьбе с псевдоучеными, с религиозными фанатиками (это стало содержанием, например, сатирического «Гимна Бороде»). Поэтому в духовных одах он развивает две основные темы: несовершенство человеческого общества, одиночество самого поэта и человека вообще во враждебном ему мире и величие природы, которым поэт не только восхищен, но перед которым испытывает «священный ужас».

В своих произведениях Ломоносов в духе века Просвещения изображает человека не бессильным созерцателем, подавленным и сникшим, а разумным, мыслящим существом, способным проникнуть в тайны природы.

Могущество светлого разума несомненно для Ломоносова и в будущем, и

в живой современности. До конца своих дней (умер он в Петербурге в 1765 году) поэт не уставал ратовать за идеи просвещения. Ученый посвящал вдохновенные поэтические произведения успехам отечественной и мировой науки. Неподдельная радость и гордость искрится в «Письме о пользе Стекла», в котором гений человека является свидетельством победы науки над невежеством и темнотой. Не сухой трактат о свойствах стекла, а волнение поэта-ученого воплощают строки этого произведения. Ломоносов передает пафос научных открытий и восхищение их практическими результатами. Его интересует не только изложение научных теорий, но и поэтическая сторона науки – вдохновенное творчество и полет фантазии.

Подлинным мастером Ломоносов предстаёт и в других – «средних» и «низших» – жанрах. Его перу принадлежат анакреонтические стихотворения, басни. Ломоносову-поэту были доступны формы «легкой» поэзии, ее стиль, пластика и неподдельная искренность чувства. В программном стихотворении «Разговор с Анакреоном» он выступает оригинальным, тонким лириком, достигает подлинности выражения личных переживаний, хотя анакреонические мотивы не стали ведущими в его творчестве.

Поэзия Ломоносова, как и его научная, в том числе филологическая, деятельность, стала продолжением национальной политики Петра I, направившего страну по пути просвещения и прогресса. Пафос строительства запечатлелся в громозвучных песнопениях Ломоносова, «лира» которого, по словам П. А. Вяземского, «была отголоском полтавских пушек». Убежденный и «самобытный сподвижник просвещения», как назвал Ломоносова А. С. Пушкин, автор восторженных од пропел хвалу человеческому разуму и сам явился живым воплощением его дерзновенной мощи.

Справедливости ради нужно сказать, что современники по-разному оценивали литературное наследие М. В. Ломоносова. Так, А. Н. Радищев упрекал его за высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие оригинальности. Его слово о Ломоносове писано слогом надутым и тяжелым. Ничего ни в химии, ни в точных науках, ни даже в поэзии не смысливший, А. Н. Радищев берёт на себя смелость сказать, что «Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы». Имея тайное намерение нанести удар славе одного из первых поэтов России, А. Н. Радищев тщательно прикрыл это стремление уловками уважения и тем не менее обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой дерзостью.

Мы констатируем и критическое мнение раннего А. С. Пушкина о Ломоносове-поэте, которое вступает в противоречие с уже известными нам восторженными оценками именно Ломоносова-гуманитария в других публикациях того же А. С. Пушкина (см. выше).

А вот ещё одно мнение А. С. Пушкина о поэзии М. В. Ломоносова: «...Науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же – иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали

бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заимлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния одного с языком простонародным».

В. Г. Белинский называл Ломоносова «Петром Великим русской литературы». По его мнению, с «Оды на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» «...по всей справедливости должно считать начало русской литературы».

«Ломоносов стоит впереди поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет», – подчеркивал его приоритет в поэзии Н. В. Гоголь.

«Ломоносов был не только большим ученым и поэтом, но также и просвещенно-верующим человеком, даже защитником веры в Бога, – писал архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской), известный поэт и критик, в книге «Беседы с русским народом». – На самом деле наука и религия – две разные и одинаково законные области человеческой жизни. Они могут одна другую пересекать, но противоречить друг другу они не могут». «Природа и вера суть две сестры родные, и никогда не могут придти в распрю с собою, – отмечал Ломоносов. Создатель дал роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложения видимого мира – физики, математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуре влияющих действий суть тоже, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учителя. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божественную волю вымерить циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по Псалтыри можно научиться астрономии или химии».

Ломоносов был для своих современников и остается для потомков образцом высоконравственного и прямого человека. От своих принципов он не отступал ни на йоту. «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве не отымет», – гневно писал он как-то покровителю и другу И. И. Шувалову.

В завершение статьи хочется сказать, что Ломоносов Михаил Васильевич и как ученый, и как поэт все свои знания и силы отдал служению народу и родине. Мы восхищаемся и гордимся своим великим предком, истинным сыном земли Русской.

Александр МИХИЛЕВ

Ф. М. Достоевский: «Хотя и неизвестен [я] русскому народу теперешнему, но буду известен будущему»

Эти слова великий писатель земли русской, прославившийся за ее пределами и поныне являющийся одним из наиболее читаемых и почитаемых авторов в мире, написал в своем «Дневнике» за 1881 год. А если вспомнить, что умер он 9 февраля этого же года, то написал он их в последний месяц своей жизни, пророчески предсказав свою посмертную судьбу, хотя и не в полной мере, ибо он стал известен не только будущему народу русскому, но и всему будущему человечеству на долгие времена.

В чем же секрет всемирного признания Ф. М. Достоевского? Почему его до сих пор читают не только в России, но и в Европе, в США, в Китае, в Индии, в Японии? Почему его влияние на свое творчество признают писатели Африки и Латинской Америки?

В определенной мере ответ на эти вопросы кроется в той же самой записи, которая начинается так: «При полном реализме найти человека в человеке. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного)» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т. – Т. 27, с. 65). Здесь же он записывает и еще одну мысль, важную для понимания природы его творчества: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».

В этих предсмертных словах глубоко больного писателя, мечтавшего прожить еще лет двадцать (письмо от 8 ноября 1880 года редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову, в котором сообщает, что только что закончил большой роман [«Братья Карамазовы»] и отсылает ему «Эпилог» этого романа), в свернутом виде заключены глубинные характеристики его творческого гения и его личность как человека.

В первую очередь это его всеохватывающий и всепроникающий гуманизм, страстная жажда «найти человека в человеке», то есть увидеть в любом, самом отверженном и забитом существе неистребимое подлинно человеческое начало – любовь, сострадание, доброту, соучастие. На эту особенность таланта Ф. М. Достоевского обратил внимание самый чуткий и

прозорливый критик XIX века В. Г. Белинский, живо откликнувшийся в небольшой рецензии на первые произведения начинающего писателя – романы «Бедные люди» и «Двойник». Уже при первом чтении этих произведений, появившихся в «Петербургском сборнике» (1846), издаваемым Н. Некрасовым, критик увидел в Достоевском писателя, которому, по его определению, суждено будет играть значительную роль в русской литературе, поскольку публикации двух подобных романов слишком достаточно для убеждения читающей публики, что «такими (выделено у В. Г. Белинского. – А. М.) произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща». Чуть позже, говоря о том новом, что появилось в последнее время в русской литературе, он говорит о Достоевском как явлении «нового необыкновенного таланта», двух произведений которого – «Бедные люди» и «Двойник» – достаточно для того, чтобы «славно и блистательно закончить свое литературное поприще; но так (выделено критиком – А. М.) начать – это, в добрый час молвить! – что-то уже слишком необыкновенное» (В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 т. – Т. 6, с. 481, 483, 484).

Затем при выходе «Бедных людей» отдельным изданием он отмечает «поразительную истину» писателя в изображении действительности, мастерство в изображении характеров и главную силу его таланта и его оригинальность, которые заключаются в «глубоком понимании и художественном, в полном смысле слова, воспроизведении трагической стороны жизни» и во множестве глубоко потрясающих душу картин, обладающих такой силой, что их никогда не забудешь.

И уже в обстоятельном разборе, посвященном «Бедным людям» Белинский, еще раз возвращаясь к общей оценке таланта Достоевского, пророчески говорит о том, что «подобный дебют ясно указывает на место, которое со временем займет г. Достоевский в русской литературе», а далее подробно говорит о достоинствах романа, обращая особое внимание на глубину и гуманность пафоса писателя, который «в лице Макара Девушкина показал нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной человеческой натуре... Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!» (В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 т. – Т. 8, с. 130, 131).

Прозорливо уловленная гениальным критиком доминантная особенность поэтического пафоса писателя – безграничное сострадание к любому человеку как к брату – открывает и объясняет еще одну грань его творчества. Это приверженность писателя к христианскому духу русского народа, к его православию, в которое Достоевский искренне верил, которое исповедовал и в котором видел отличительную черту русского народа.

Эта отличительная черта, по мысли Достоевского, заключалась «во всемирной отзывчивости», которая нашла ярчайшее воплощение в гении Пушкина. В очерке «Пушкин», который был произнесен 8 июня в заседании Общества любителей русской словесности, Достоевский писал: «Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось». Но эта уникальная способность поэта есть не что иное, как его способность, порожденная его любовью к народу, передать коренное свойство своего народа, ибо «народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все свое двухсотлетие с петровской реформы не раз».

Достоевский снова и снова утверждает, что «русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная (выделено Ф. М. Достоевским. – А. М.) черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т. – Т. 26, с. 146, 131).

Его горячая, неколебимая вера в русский народ и его великие силы, в народ, в который он «как в святыню верит» (т. 27, с. 26), заставляет его снова обращаться к своим современникам с глубокой убежденностью о всечеловечности, о всеобъемлемости русского духа, что дает ему основание пророчески говорить о будущем предназначении гения России во всем человечестве, как всеединяющего, всепримиряющего и всевозрождающего в нем начала (там же, т. 26, с. 114).

Именно это, присущее только русскому народу «всеединяющее, всепримиряющее и всевозрождающее» начало окрыляет Достоевского, наполняет его гордостью и устремляет его мысль в будущее, где он видит историческую миссию России в том, чтобы внести окончательное примирение в европейские противоречия, призвать народы «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению» (там же, т. 26, с. 148).

К этой мысли о всечеловеческой, о всебратской миссии русского народа в начале XX века обратится другой гений русской литературы – Александр Блок. В небольшой поэме «Скифы» (1918), в которой явственно слышны отголоски споров западников и славянофилов (Достоевский заявлял себя

открытым славянофилом), А. Блок, отстаивая достоинство русского народа, напрямую перекликается со своим великим предшественником, когда пишет:

Придите к нам от ужасов войны,

Придите в мирные объятья.

Пока не поздно, старый меч в ножны!

Товарищи, мы станем братья!

Достоевский, постигший и с необычайной художественной выразительностью запечатлевший все глубины души русского человека с правдивостью, от которой «проходит трепет по душе человека» (критерий художественности, который писатель использовал для оценки гомеровской «Илиады»), исторгаются слезы, действительно познал и выразил в своих произведениях – от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых» – столь мощное и обширное общечеловеческое начало, что его энергетика до сих пор заставляет трепетать сердца людей всей планеты.

В эпоху засилья постмодернизма с его холодным и цинично-равнодушным отношением к человеку, с его игрой структуры и нелинейным письмом, двойными и тройными кодами, симулякрами и т. п., творчество Достоевского является ярким примером того, что только то искусство переживает свое время и востребовано временем будущим, которое, по выражению писателя, никогда не оставляет человека и стремится стать выразителем духа своего народа.

Татьяна КРАСНОВА

МИР ХУДОЖНИКА

В настоящее время в жизни Украины наметился курс на возрождение духовных ценностей. Это выражается в открытии и реабилитации многих незаслуженно забытых имён, в пересмотре, переосмыслении исторических и культурных событий нашей истории и, пожалуй, самое главное, в выходе из гипноза и критической переоценке прошлого. Но это повальное увлечение прошлым не должно затмевать настоящего, ведь история делается и сегодня! Поэтому наша задача не проглядеть тех, кто является её истинными творцами, чтобы наша отечественная культура не зияла белыми пятнами незнания. Объективная оценка (собственно история) начинается, когда умирает последний свидетель, и для этого нужно как можно больше субъективных свидетельств не только о событиях, но и о людях, чьи идеи, мировоззрение, поступки оказывали влияние на общественное сознание. Если человек способен поднимать серьёзные темы в своих произведениях, тревожить чувства и мысли людей, заставлять их думать и сопереживать, то он настоящий творец, а если нет — он просто мастер, владеющий определенными навыками. Отделить зёрна от плевел — задача не из лёгких.

Анализируя состояние изобразительного искусства сегодня, приходишь к неутешительному выводу: оно, как и общество в целом, больно. Однако в этой больнице всегда есть люди, которые борются за выживание не только своё, но и окружающих, иначе с кем останешься, если выживешь? Одним из таких людей, не сдающихся и непокорённых, является художник Павленко Николай Николаевич. Это продемонстрировала юбилейная экспозиция художника в выставочных залах Харьковского художественного музея в 2011 году, где было представлено около ста его работ.

Мы привыкли мыслить конкретными словами, категориями, а как перевести это на ёмкий язык художественных образов и символов? Зрительные впечатления намного сильнее словесных и тем ярче, чем эмоциональнее и убедительнее переданы образы. Заставить немое от рождения произведение живописи не только заговорить, но и зазвучать во всю мощь человеческих переживаний и эмоций — вот цель творчества Николая Николаевича Павленко.

Начало жизни Н. Н. Павленко пришлось на нелегкие голодные годы. Он

родился в 1931 году в небольшом городе Будённовске, о существовании которого недавно узнал весь мир в связи с трагическими событиями чеченской войны. Родители тяжким трудом добывали кусок хлеба, чтобы прокормить семью из пяти человек. Становление личности происходило на фоне драматических событий в жизни страны. Он наблюдал, как люди, ставшие для него примером честности и неподкупности, в одночасье становились врагами, исчезали из реального мира. Голод, репрессии, война, оккупация, свои, чужие — главное не запутаться, не заблудиться в реальной жизни, которая существовала наряду с детскими представлениями и фантазиями, но они, впрочем, очень быстро сменились, вытесняясь жестокой повседневной действительностью. Первый налёт фашистов — и от родительского дома осталась одна передняя стена. В 13 лет первый заработанный кусок хлеба и начало взрослой жизни. Начиная с раннего детства, в его жизнь входит труд. Видя перед собой пример родителей, которые не знали отдыха, он сам рано начал трудиться и постигать истину, что жизнь есть труд, а труд есть познание жизни. Только целеустремленный труд позволяет глубже понять этот мир, саму жизнь, её предназначение и приблизиться к разгадке священной тайны: кто мы и какова наша миссия на этой Земле. С тех пор труд становится неотъемлемой частью его жизни. Его любимые фразы: «Отдых — это смена труда», «Гений — это 1% способностей и 99% труда». Труд не самоцель, а средство получения и переработки информации. Свою детскую любознательность впоследствии он превращает в научный поиск.

В ремесленном училище г. Ставрополя Николай Павленко овладевает профессией слесаря-инструментальщика, становится у станка и работает, как и вся страна: «Всё для фронта, всё для победы». Впервые в Ставрополе он посетил краеведческий музей и был поражен силой эмоционального воздействия искусства на всю жизнь. В нем возникло стремление достигнуть вершин живописи, овладеть её мастерством и сделать её языком духовного общения. Остановить мгновение, соединить в себе прошлое и будущее — такого не знает ни один вид искусства, кроме живописи; все остальное (музыка, литература, театр, кино) проистекает во времени.

Первыми проводниками в большой мир искусства были Паоло Веронезе, Генрих Семирадский, Арсений Мещерский, чьи работы он увидел в Ставропольском музее. Ему, 13-летнему мальчишке, средняя копия с картины Паоло Веронезе «Похищение Европы» показалась величайшим достижением живописи, она поразила его воображение, врезалась в память на всю жизнь и определила его судьбу: заставила самого взяться за кисть. Не было ни учителей, ни книг, но было большое желание и стремление учиться. Главным учителем становится окружающий мир. Он и его друг Володя Клименко стали

самостоятельно заниматься, учиться друг у друга. Карандашей и бумаги тоже не было. Огрызками карандашей на газетах и клочках бумаги они рисовали своих друзей, животных и вообще всё, что вызывало живой интерес. В этом было какое-то молчаливое соперничество, состязание.

После окончания училища в 1947 году Николая и его друга направили на учёбу в Киевское художественно-прикладное училище, но документы, которые училище должно было переслать почтой, по какой-то причине не переслали, поэтому их не смогли зачислить на учёбу. Пришлось ехать домой, заканчивать вечернюю школу рабочей молодежи, а днем работать в кузне.

В 1949 году Николай приехал в г. Харьков поступать в художественный институт. В послевоенное время для поступления именно в этот институт нужно было иметь диплом об окончании художественного училища, а его не было. Путь в заветное высшее учебное заведение был закрыт. Денег на обратную дорогу не было, а рядом – ХПИ, поэтому он решил поступить в политехнический институт. Ночью разгружал вагоны на железнодорожной станции, днем готовился и сдавал экзамены. Приняли. Познакомился со студентом художественного института Адольфом Марковичем Константинопольским, дружба с которым продолжалась до самой смерти Адольфа Марковича. Всё свободное время рисовал, делал копии.

Чтобы острее почувствовать мимику лица, художник обращается к жанру скульптуры и создает серию гротескных масок. Каждая маска — это как бы взгляд художника на модель изнутри. Он перевоплощается сам в создаваемый им образ и пытается понять, что движет человеком жадным, хитрым, тщедушным. Все эти упражнения — пролог к большому, настоящему творчеству.

Основы мастерства в основном постигнуты. Интересный факт: вернувшийся с выставки его акварельный натюрморт в одном углу сильно потёрт. На вопрос к зрителю выставочного зала «Что произошло?» последовал ответ, что приходили дети и, не веря своим глазам, (настолько убедительно были написаны предметы) пытались потрогать их руками.

Борец по натуре, правдоискатель, Н. Н. Павленко оказывается в оппозиции по отношению к своему начальству на работе, привыкшему к чиновничеству и коленопреклонению. Конфликтная ситуация разрешается по-советски — он уходит с единомышленниками, а начальник остаётся сидеть в своем непоколебимо замшелом кресле (слишком велика фигура, тяжела на подъем). Подобные ситуации не редкость, но финал у них разный.

Непокорённые, несгибаемые, фанатично преданные своей идее люди. Кто они? Не на их ли отваге держится мир? Как они ведут себя в критические минуты жизни? Склоняются ли, падают ниц, пугает ли их предстоящая гибель? Что чувствует человек в последнюю минуту жизни, сознательно идя на

смерть? Эти вопросы овладевали художником, он подсознательно чувствовал такую ситуацию, и это дало толчок к созданию первой большой картины «Непокорённые».

Работа над полотном поглотила художника. Он искал образы, делал зарисовки, многократно менял композицию, доводя ее до крайней степени выразительности, лаконичности и цельности. Все детали были найдены, но те, без которых можно обойтись, безжалостно убирались. В картине передано не только восхищение мужеством и волей людей, готовых стоять насмерть, не согнуться, не покориться, но и их внутреннее психологическое состояние. Это и портреты, и образы одновременно. Художник сознательно не делает декораций на заднем плане картины. Здесь нет врагов. Его герои стоят на краю бездны. Об их участии свидетельствуют связанные веревкой руки и край оврага. Художник не привязывается к конкретным историческим событиям. Его герои есть во все времена. Это гимн непокорённым. Одновременно Н.Н.Павленко пишет двойной портрет художников А.М.Константинопольского и В. В. Меркотана, с которыми был дружен. Эти первые серьёзные работы определили дальнейший путь его творчества.

Огромное напряжение не могло не отразиться на здоровье. Надо было менять образ жизни и Николай Николаевич переходит на работу в Харьковский художественно-промышленный институт. Здесь он в своей стихии, и, главное, есть свободное время. Художник совершенствует свое мастерство и задумывает серию картин на темы Куликовской битвы, Великой Отечественной войны, пишет портреты современников и пейзажи родного края. Его всегда мучил вопрос: где истоки немыслимого мужества и героизма славян, измученных коллективизацией, индустриализацией, советскими концлагерями, что позволило не только выстоять в годы тяжёлых испытаний, но и победить такого мощного противника, как немецкий фашизм? Что заставило закабаленных крестьян и замученную муштрой русскую армию одержать великую победу в войне с Наполеоном в 1812 году, а еще раньше истощенную постоянными набегами Русь остановить полчища татар, не пустить их в Европу, принять весь удар на себя? В многонациональной России всегда было беспокойно, внутренние противоречия раздирали её постоянно. Но беда сплывала все народы, и вместе они — сила. Истоки этой силы надо искать в духовности, в истории становления Руси. Сколько загадок и тайн хранит она? Одна из них — победа над Золотой Ордой на Куликовом поле.

С методичной последовательностью Николай Николаевич берется за работу над картиной «Куликовская битва». Она должна с исторической точностью представить те далекие события и ответить на многие вопросы. Скрупулезно изучает летописи, этнографические материалы, военное дело

раннего средневековья, ищет композицию, зарисовывает типажи. Итог — битва: две мощные волны схлестнулись. За ними стоит до мелочей продуманная тактика боя, а так же героизм и мужество русских воинов, руководимых Московским князем Дмитрием.

В разгар боя князь Дмитрий был ранен. Сокрушительный удар татарскому войску нанес засадный полк Дмитрия Боброка Волынского. Об этом событии повествует картина «Удар засадного полка Дмитрия Боброка». Следующая картина «Реквием». Вечер 8 сентября 1380 года. Битва закончена. Враг побеждён. Друзья по оружию выносят раненого князя Дмитрия с поля боя. Отныне он войдёт в историю как Дмитрий Донской. Как пишет летопись, девять дней река Непрядва текла кровью. Картина «Реквием» посвящена погибшим безымянным воинам, а символом их победы станет раненый, но непобеждённый Дмитрий Донской. Его фигура в картине занимает центральное место. Монументальность и выразительность композиции достигается лаконичностью изобразительных средств, а кроваво-сизый колорит картины наполняет её торжественным и героическим звучанием.

В настоящее время историческая картина, как жанр, умирает. Николай Николаевич отводит ей центральное место в своем творчестве, так как этот эпический жанр как нельзя глубже помогает творцу выразить всю полноту своих знаний, мыслей и чувств.

«Князь Дмитрий на курултае у Мамаю», «Рассеялся туман на поле Куликовом», «Прощание славянки», «Произвол», «Возвращение с поля Куликова», «Рязанская княжна», «Сон Тамерлана» — вот серия исторических картин, посвященная освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Интересен сюжет картины о рязанской княжне, которая, узнав о приближении войска Мамаю к стенам родного города и желании хана сделать её своей наложницей, выбрасывается вместе с малолетним сыном из окна своей светлицы и погибает. Хан в недоумении: если на такой отчаянный поступок способны женщины, то на что способны мужчины в этом непонятном русском государстве? Что ими движет?

Интересно композиционное решение картины. В ней нет ничего лишнего — только три фигуры на фоне пылающей Рязани. Сраженный непокорностью княжны, хан стоит над телом распластанной на снегу женщины, крепко прижавшей к себе ребенка. Кто победитель, а кто побеждённый? Исторический эпизод полон драматизма. Из множества таких эпизодов складывается и формируется дух народа, его история и культура. Не осознав этого, нельзя понять менталитет нации, загадочную русскую душу. Философское осмысление прошлого возможно только благодаря наличию огромного количества мелких и незначительных на первый взгляд фактов и событий, которые складываются в определённую систему, называемую

историей. Задача художника изучить её, найти в событиях прошлого такие яркие эпизоды, в которых сконцентрирована и, как в зеркале, отражена душа народа, преломить через себя, через шкалу своих ценностей, обобщить и сделать их символами определённой эпохи. Чем выше эта шкала, богаче духовный и эмоциональный мир, шире кругозор и профессиональное мастерство, чем честнее художник, тем он ближе к желаемой цели и доступнее для понимания зрителей.

Параллельно художник работает над картинами о Великой Отечественной войне. Это «Беженцы», «Партизаны на Харьковщине», «Сквозь мглу», «Батарея просит огня», «На Курской дуге». Величайшее танковое сражение — даже вода ушла из колодцев. Как смогли выдержать такое люди? На холсте нет людей. Это пейзаж, но какой! По рассказам очевидцев был солнечный день, но солнца не было видно из-за густого облака дыма и пыли. Земля смешалась с небом, а солнце, пробиваясь сквозь месиво из огня и дыма, окрашивало поле зловещим красным цветом. Это состояние природы поразительно передано художником.

Какая большая разница в изображении двух великих битв — Курской и Куликовской. В первом случае — это пейзаж философского звучания, а в другом — полномасштабная картина боевых действий, полная экспрессии и жизни. Художник максимально объективен в оценке исторических событий.

Медленная размеренная жизнь эпохи развитого социализма не терпела правды о себе. Это могло стоить жизни говоруну. Как сказать, если нет сил молчать? Эзоп нашел свой язык. Нашел его и Николай Павленко.

Богатую пищу уму дает мифология. Миф — это концентрация духовной мудрости человечества вне зависимости от того, античная это мифология, языческая, христианская или другая — это первая ступень философии, выраженная в доступных человеку образах. Она близка своей жизненностью, понятна и немного сказочная — фантазия в ней переплетается с реальностью. В ней есть всё: мораль, глубокие человеческие раздумья, чувства и мечты. Если смотреть глубже — в ней сама жизнь во всём многообразии её проявлений. Она отражает уровень духовных ценностей и представлений общества, порождающих её.

Философия, облаченная в доступную мифологическую форму, — это еще одна яркая страничка творчества Николая Николаевича. Прочитав «Розу мира» Даниила Андреева, он задумывает картину «Человеческая комедия». Перед зрителем огромный цветок — прекрасное творение природы, к вершине которого, как муравьи, стремятся другие не менее прекрасные творения — люди. Но, в отличие от муравьёв, они ведут себя чисто по-человечески, расталкивая, унижая и попирая достоинство себе подобных, рвутся к власти, богатству, вершить судьбы и править миром. Кто не

выдерживает этой гонки, срывается и летит вниз, в ад. Огонь очистит их неправедные души. Здесь всё обнажено: и душа, и тело. На переднем плане картины стоящая в раздумье девушка и Моисей, сидящий перед разбитыми и попранными людьми скрижалями с десятью библейскими заповедями, на которых записано всё, что нужно человеку, чтобы жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Девушка чиста, полна сомнений. Не каждый из нас может устоять перед искушением. Какой путь выберет она в этом жестоком мире?

Одна за другой на свет появляются картины, в основу которых положены сюжеты греческой мифологии: «Аполлон и Дафна», «Отдых Дианы», «Сирены», «Орфей и Эвридика», «Прометей», «Яблоко раздора», «Восставшая из пепла»; христианские темы — «Покаяние», «Нахождение Моисея», «Бегство в Египет», «Суд Соломона», темы славянских былин — «Вольга и Микула», «Меч Святогора», «Битва со змеем Горынычем», «Победа над змеем Горынычем», а так же другие.

Ещё одна веха творчества — это картины-иллюстрации: «Вещий Олег», «Мария и Зарема», «Демон — ты моя», «Первая сказка Шахерезады», «Восточный танец», и картины-аллегии: времена года («Весна», «Лето», «Осень», «Зима») и «Вера», «Надежда», «Любовь» и мать их «София».

Портреты современников — людей, с которыми бок о бок проходит жизнь в бурных спорах и тихих душевных беседах, в горе и радости, составляют целую портретную галерею. Здесь есть место и участникам войны, и деятелям науки и искусства, друзьям, знакомым, и, конечно же, близким и любимым людям. Для каждого портрета своя цветовая гамма, пластика, композиция, максимально отражающая не только среду обитания человека, но и его тонкую душевную организацию. Такой дифференцированный подход к каждому портретируемому породил новый жанр: портрет-картина. Перед зрителем открывается целая галерея замечательных образов не только современников, но и людей, оставивших значительный след в мировой культуре: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, Нино Чавчавадзе, Н. Паганини. Например, А. С. Пушкина художник поселил среди своих сказочных героев, а Н. В. Гоголь на своих героев смотрит с высоты небес.

Художник глубоко чувствует и понимает природу, её постоянно меняющееся состояние и поэтому в его творчестве важное место занимает пейзаж. С большой любовью им написаны чудесные уголки Харьковщины, Подмосковья, Крыма, Кавказа и морские пейзажи. В них очень точно передано настроение и состояние природы. Все они разные, и в этом их очарование. Не обходит стороной художник и неживые предметы, цветы, фрукты. Его натюрморты — это живое дыхание природы.

Жизнь постоянно меняется. На смену размеренному застоюному ходу

времени пришла перестройка. Оголённые нервы художника жгуче почувствовали все «прелести» новой жизни. Вместе с гласностью в страну ворвалась и крепко цементировала умы свободная от морали и совести западная идеология и культура, а своя — выстраданная и выпестованная — оказалась на задворках. Свобода стала синонимом вседозволенности. Кому это надо и кто стоит за этим? Кто набивается к нам в друзья, и кто протянет руку в тяжкую минуту? Сытый и бездушный дядюшка Сэм или вчерашний заклятый враг, облеченный в фашистский мундир и свастику, мечтающий о реванше? Почему для молодого поколения славян они становятся идолами? Почему в мирное время в независимой Украине царит хаос и беззаконие, остановлены и разграблены тысячи предприятий, появились миллионы безработных и нищих тружеников, а горстка новоявленных нуворишей никак не может демократическим путём поделить власть. Художник ищет и находит ответы.

Николай Николаевич понял эту неразбериху как управляемый хаос, иницируемый и поддерживаемый международным капиталом. Всё идёт по сценарию А. Далесса*. Своей основной задачей художник считает донести до соотечественников истину, помочь разобраться: «Кто есть кто?», ответить на извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?», повернуть их лицом к нашей великой культуре, которая прошла сквозь горнило истории и впитала в себя культуры многих народов. Для него судьба славянских народов неразделима — это и его судьба, не взирая на искусственные барьеры и раздуваемую вражду, создаваемые искусными властителями человеческих судеб.

Современность волнует художника и дает ему пищу для новых сюжетов: «Майдан», «Украина», «Россия», «Русь поднимается», «Любовь земная и небесная».

Сюжет картины «Россия» перекликается с песней Игоря Талькова, но это не иллюстрация к ней:

Тебя связали кумачом
И опустили на колени.
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь, великий... Гений.....

Цена навязываемой славянским народам свободы явно прочитывается в композиции картины. На переднем плане — библейский фарисей в одежде масона. Он с иезуитской улыбкой предлагает связанной России «свободный выбор»: петля или пистолет. На заднем плане — пирамида со всевидящим оком, символом мирового господства. Она так же изображена на однодолларовой купюре США. Вот кому и чему заставляют нас кланяться.

Это даже не тридцать сребренников.

Но Русь не продаётся, хотя для многих велико искушение. Лейтмотивом картины «Русь поднимается» является могучая сила народа, который мобилизуется для подъёма с колен, чтобы встать во весь свой рост.

Сюжет «Майдана» довольно убедителен и не требует особых комментариев. В картине портреты действующих политических лидеров Украины. Герои помещены в привычную для них обстановку — майдан. А в противовес «майдану» написана картина-аллегория «Украина».

Мировоззрение художника нашло отклик в писательских кругах «Слобожанщины» — та же боль за свой поруганный народ и мужественное отстаивание его чести.

Разнообразна не только тематическая, но и творческая палитра выразительных средств художника. В его арсенале графика, акварель, скульптура, чеканка, витраж. Художник многогранен, лаконичен и выразителен, и это всегда привлекает в его работах. На выставках зритель не может равнодушно пройти мимо его произведений, будь то огромное полотно или небольшой пейзаж. А выставок у него было немало и в Москве, и в Харькове, и в небольших провинциальных городках, таких как, например, Змеёв.

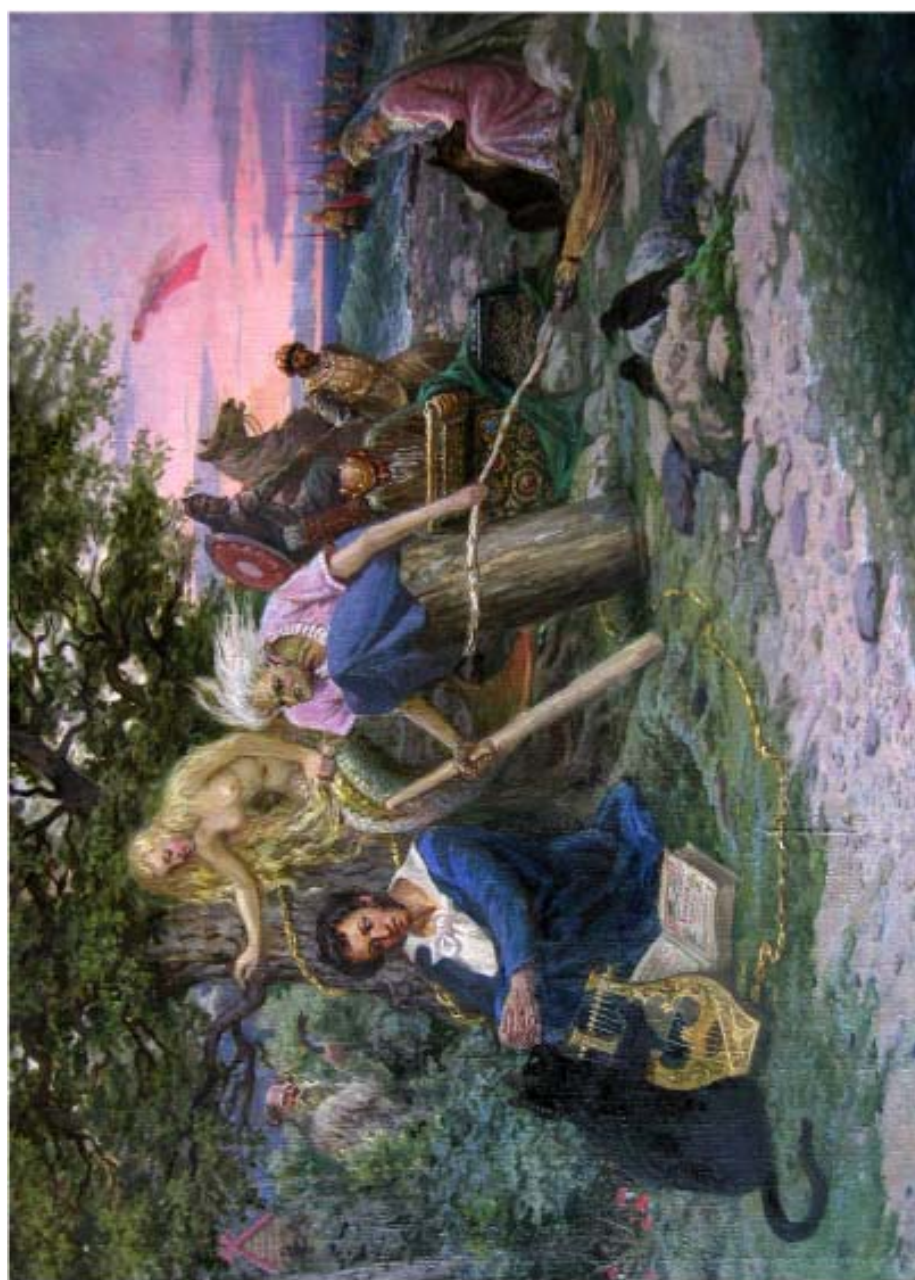
Неоценимый подарок получил от художника Харьковский художественный музей. Это цикл из семь картин на тему Куликовской битвы, портрет художника, ректора художественного института М. А. Шапошникова и картина «Беженцы». Барвенковский музей получил портрет художника А. М. Константинопольского и портрет дочери Татьяны, а Змеевской краеведческий музей — картину «Непокорённые».

Многие его работы украшают и частные коллекции по всему миру. Они доступны и для любого желающего, так как неоднократно публиковались в нашем отечестве и за его пределами. **

Николай Николаевич Павленко является членом Союза художников России и Международной федерации художников.

В этом году Николаю Николаевичу Павленко исполнилось 80 лет. Он полон творческих замыслов. Его девиз «Ни дня без работы». Огромный жизненный опыт и знания, колоссальная целеустремленность и творческая энергия, желание передать все накопленное людям, является движущей силой художника. Он должен многое успеть, и он успеет!

У ЛУКОМОРЬЯ
2006 Г. Х.М. 87Х110





ФЛОТ САДКО.
2006 г. х.м. 80X56

ВОЛЬГА И МИКУЛА.
2006 г. х.м. 79X90





УДАР ЗАСАДНОГО ПОЛКА ДМИТРИЯ БОБРОКА. 1987 г. х.м. 87X110



ПРОИЗВОЛ. 1985 г. х.м. 130X107

АВТОРЫ НОМЕРА

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич родился 3 августа 1933 г. в Пестово. До Великой Отечественной войны жил в Омской области. В 1956 году закончил исторический факультет Киевского университета. Работал в Николаеве. С 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой (заместитель главного редактора журнала «Молодая гвардия») в Москве. С 1968 по 1978 год — директор издательства «Молодая гвардия». С 1978 по 1980 год — главный редактор газеты «Комсомольская правда». С 1981 г. — главный редактор журнала «Роман-газета». С 1998 года является главным редактором журнала «Роман-журнал. XXI век». С 1994 г. — Председатель Правления Союза писателей России. Прозаик, доктор исторических наук. Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии. Живёт в Москве.

ГОЛУБЕВ Александр Александрович родился в 1943 г. на Дону в хуторе Краснояровском Вёшенского района Ростовской области. Окончил Воронежский педагогический институт и Литературный институт имени А.М. Горького. Поэт и эссеист. С 1980 года — сотрудник журнала «Подъём». Работал в должности главного редактора, директора-главного редактора. В настоящее время — заместитель главного редактора. Публиковался в журналах — «Огонёк», «Смена», «Наш современник», «Дон», «Подъём», «Воин России», альманахе «Поэзия», «Литературной газете», еженедельнике «Литературная Россия», газете «Советская Россия» и др. Является автором шестнадцати поэтических сборников. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени М.А. Шолохова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в городе Воронеже.

ДОЛГАРЕВ Анатолий Васильевич родился 17 июля 1946 г. в селе Ломное Грайворонского района Белгородской области. Доцент кафедры педагогики и психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ». Закончил электроэнергетический факультет ХПИ в 1971 г. Семь лет руководил Дворцом студентов ХПИ. С 1981 по 1991 гг. — на партийной работе. Помощник народного депутата Верховной Рады (1991-1998). Живёт в Харькове.

ЗИНОВЬЕВ Николай Александрович родился в 1960 году в станице Кореновской (ныне г. Кореновск) на Кубани. Учился в ПТУ, станкостроительном техникуме, в университете. Работал грузчиком, бетонщиком, сварщиком. Первую книгу стихотворений издал в 1987 году. Член Союза писателей России. Лауреат международного конкурса «Поэзия третьего тысячелетия». Лауреат Большой литературной премии России (2005). Живёт в Краснодарском крае.

КОРОТКОВА Екатерина Вальевна родилась в Киеве. Окончила Харьковский институт иностранных языков (англ. отд.). Профессиональный писатель и переводчик. Переводит английскую классическую прозу XIX и XX веков. Живет в Москве.

КРАСНОВА Татьяна Николаевна родилась в 1958 г. в г. Харькове. В 1984 г. окончила Харьковский художественно-промышленный институт. Работала художником-реставратором в Харьковском филиале научно-исследовательского реставрационного Центра Украины, доцентом в художественно-промышленном институте, директором Научно-методического Центра охраны культурного наследия. Автор более 60 статей посвященных охране культурного наследия, опубликованных в научных отечественных и зарубежных изданиях. Живет в Харькове.

МЕЛЬНИЦКАЯ Инна Владимировна (Гаврильченко, урождённая Оскнер) родилась 18 июня 1925 г. в Харькове в семье педагогов. Окончила Харьковский институт иностранных языков (1949) и аспирантуру при нём (1952). Была воспитательницей в детских яслях в Татарии (1943-45), преподавала в Харьковском культпросветтехникуме (1949-50), в Харьковском институте иностранных языков (1959-60), в Харьковском университете (1960-82). Воспитала целую группу профессиональных переводчиков иноязычной поэзии и прозы. Переводы её печатались в журналах «Прапор» (Харьков), «Радуга» (Киев), «Крокодил» (Москва), выходили отдельными изданиями в «Огоньке» (Москва), ЭКСМО (Москва) и др. Проза её переводилась на украинский, белорусский, молдавский, мордовский и итальянский языки, перепечатывалась в журнале «22» (Израиль). Первая книга вышла в 1988 г. Награждена итальянской юбилейной медалью Ass.Naz.Alpini (1943-1993). Лауреат международной премии им. Долгорукова, премии им. Б.Слуцкого, юбилейной премии журнала «Радуга». Член НСПУ (1997), СП России (2007). Живёт в Харькове.

МИХИЛЁВ Александр Дмитриевич, академик АНВО Украины, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории зарубежной литературы и классической филологии, автор около 200 публикаций, в том числе 3 монографий («Пафос утверждения и отрицания» (1979), «Французская сатира второй половины XX века: социально-идеологический аспект и поэтика» (1989), «Курт Воннегут: специфика художественного мира» (2003, в соавторстве). Живёт в Харькове.

ПАНИН Анатолий Семёнович родился в селе Куркино Тульской области 14 января 1920 г. Закончил Новгородский учительский институт, факультет русского языка и литературы. В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил в бомбардировочном авиаполку. Участвовал в войне с белофиннами. Великую Отечественную войну Анатолий Семёнович встретил в составе авиаполка на Украине, а закончил на Дальнем Востоке, в Монголии. Удостоен ордена Красной Звезды, награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За победу над Японией» и др. После демобилизации приехал в Харьков. Работал в многотиражках, 17 лет руководил газетой «Южная магистраль». Член НСЖУ, СП России. Автор книг и очерков о войне, в т.ч. художественно-документальной повести «Власть высоты» о В.С. Гризодубовой. Живёт в Харькове.

ПОПОВ Василий Николаевич родился в 1983 году в городе Ангарске, Иркутской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (Москва, 2010). Член Союза писателей России. Автор двух поэтических сборников стихотворений. Публиковался в журналах: «Наш Современник», «Роман-журнал XXI век», «Братина» (Москва), «Сибирь» (Иркутск), «Русское эхо» (Самара), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), «Дон» (Ростов-на-Дону), а также в еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета» и многих других изданиях России. Лауреат Всероссийской поэтической премии «Соколки русской земли» (2009). Дипломант Международной Всероссийской премии им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (2010). Победитель Международного песенно-поэтического конкурса «Журавли над Россией» (2011) и др. Живёт в Москве.

РОМАНОВСКИЙ Александр Георгиевич родился 26 января 1953 г. в с. Занадворовка в Приморском крае на Дальнем Востоке в семье офицера. С 2002 г. почетный член Харьковской областной организации Национального союза писателей Украины. Член Союза писателей России (2003). Председатель Харьковского отделения СП России (с 2006). Секретарь Союза писателей России. Награжден орденом «Почётный Крест Украинской Православной Церкви» (2003). Лауреат международной литературной премии «Слобожанщина» (2006) и «Имперская культура» (2009). Автор 11 поэтических сборников, изданных в Украине, России и Польше. Живёт в Харькове.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ. Серебряная роза 14

ПОЭЗИЯ

Александр ГОЛУБЕВ. когда молчит над миром слово 3

Николай ЗИНОВЬЕВ. «Суд начиная над собой» 27

Василий ПОПОВ. «Знаю, где-то домик старый...» 131

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ПАНИН. Торговать землёй –
всё равно что торговать Родиной 116

Анатолий ДОЛГАРЕВ. Божья благодать 121

КРИТИКА, ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ

Валерий ГАНИЧЕВ. Русская, советская литература
в годы Великой Отечественной войны 136

Александр РОМАНОВСКИЙ. Ломоносов и славянство..... 198

Александр МИХИЛЕВ. Ф. М. Достоевский: «Хотя и неизвестен [я]
русскому народу теперешнему, но буду известен будущему» 204

МЕМОАРЫ

Екатерина КОРОТКОВА. Внучка Рузвельта и другие 30

РУСЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Татьяна КРАСНОВА. Мир художника 208

АВТОРЫ НОМЕРА

Биографические справки 221

ISSN 2221-9331

Литературно-художественное издание

СЛАВЯНИН

Том 6-7

Главный редактор *Л.И. Мачулин*

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 25.10.2011. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура OffisinaSansCTT.
Изд. №5. Зак. № 31. Тир. 200 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес для писем:

а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.

61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.